



ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ



---

АЛЕКСЕЙ  
ЧЕРКАСОВ  
ПОЛИНА  
МОСКВИТИНА

---

✦ Сказания о людях тайги ✦  
Хмель • Конь Рыжий • Черный тополь  
В ОДНОМ ТОМЕ



2023  
МОСКВА

---

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ч-48

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В коллаже на обложке использованы фрагменты работ художников  
*Станислава Выспяньского, Станислава Гурского и Теодора Аксентовича*

Фото на корешке из семейного архива *А. Черкасова и П. Москвитиной*

**Черкасов, Алексей Тимофеевич.**

Ч-48 Сказания о людях тайги : Хмель. Конь Рыжий. Черный тополь / Алексей Черкасов, Полина Москвитина. — Москва : Эксмо, 2023. — 1328 с.

ISBN 978-5-04-178078-4

В книгу входит трилогия Алексея Черкасова и Полины Москвитиной «Сказания о людях тайги». «Хмель» — роман об истории Сибирского края, воссоздает события от восстания декабристов до потрясений начала XX века. «Конь рыжий» повествует о событиях Гражданской войны в Красноярске и Енисейской губернии. В заключительной части «Черный тополь» рассказывается о сибирской деревне двадцатых годов, о периоде Великой Отечественной войны и первых послевоенных годах.

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-178078-4

© Черкасов А.Т., Москвитина П.Д., наследники, 2023  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

# ХМЕЛЬ

*Полине Москвитиной*

Без твоего мужества в трудные годы, без твоего истинно творческого участия, когда мы вместе создавали замысел Сказаний, вместе работали, переживали горечи неудач и счастливые минуты восторга, без такого творческого союза, друг мой, я никогда бы не смог написать Сказаний о людях тайги.

*Алексей Черкасов*

## НАПУТНОЕ СЛОВО

**Б**ЫЛО так... 1941 год, канун Октября. Напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного, что должно произойти не сегодня-завтра. Белые и красные флажки на географической карте столпились возле Москвы и вокруг Ленинграда. Каждое утро, после того как с телеграфа приносили в редакцию сводку Совинформбюро, мы собирались у карты, молчали и угрюмо расходились по своим углам; шли напряженные бои за Москву...

В один из таких дней в редакцию пришло довольно странное письмо из деревушки Подсиной, что близ Минусинска. Письмо попало ко мне. Я читал его и перечитывал и все не мог уразуметь: о ком и о чем в нем речь? И что за старуха пишет в таком древнем стиле:

«Вижу, яко зима хоцет быти лютой, сердце иззябло и ноги задрожали. Всю Предтечину седмицу тайно молюся, и слышу глас Господний. Время не приспе: и анчихрист Наполеон у град Москвы белокаменной на той Поклонной горе, где повстречалась с ним малою горлинкою несмышленной, и разуместь не могла, что Москве гореть и сатане погибели быть. Да пожнет тя огонь, аще не зазришь спасения. Погибель, погибель будет. И лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом...»

Вот и пойми: «Лик Гитлеров распадется, яко тлен иль туман ползучий, и станет анчихрист Наполеон прахом и дымом...» И что за малая горлинка, которая виделась с Наполеоном? После нашествия Наполеона минуло сто двадцать девять лет!..

Письмо было большое, написанное с буквой ять, с фитой, ижицей, прямым, окаменелым почерком. Мы его называли «письмом с того света». Под письмом стояла подпись: «Ефимия, дочь Аввакума из Юсковых, проживающая в деревне Подсиной у Алевтины Крушининой».

Интереса ради, да и к тому же попутно по дороге в Минусинск, заехал я в деревушку Подсиною и отыскал бревенчатую избенку Крушининой, наполовину вросшую в землю. Три подслеповатых окошка, завалинка до окна, ограда в три жердины, копна сена в огороде, корова у копны и снег, снег до берега Енисея.

В избе на деревянной кровати на лохмотьях жались ребятенки — похожий на одуванчик мальчишка лет трех и две девочки-погодки — лет семи

и шести. Я поздоровался, но мне никто не ответил. Ребятишки еще теснее сплелись в клубок.

— Мамы нету. Она на ферме, — предупредительно сообщила девочка по-старше.

— Ну а бабушка Ефимия у вас проживает? — спросил я.

— Вон она, на печке дрыхнет, — выпалила старшая.

В избе было довольно прохладно. Я спросил: где же их отец? Мальчонка скороговоркой сообщил:

— Папку убили фашисты на войне.

Разговор с ребятами потревожил бабу Ефимию, и она, откинув занавеску, поглядела с печи...

Голова ее была совершенно белая. Ястребиный нос пригнулся чуть не до верхней губы. Лицо было до того перепаяно морщинами, что никто бы не мог угадать, какой была старуха в молодости. На мой вопрос, не она ли написала письмо в редакцию газеты, старуха охотно подтвердила:

— Кто же за меня напишет? Сама. Сама. Анчихрист, анчихрист Наполеон. Детей вот осиротил и горем землю заполнил. Сгинет он в пожаре, сгинет.

Я сказал, что Наполеона давным-давно в помине нет и что война идет с Гитлером, с фашистской Германией. Старуха проворчала что-то, поворочалась на печке и медленно слезла, кутаясь в рваную шаленку. Сказала:

— Не сообщно глаголать то, чего не ведаешь, раб Божий. Сказано: сатанинское — в сатану вменяется; Саулова — в Саула, Исавова — в Исаву. Рече про Гитлера, а он — сатано Наполеон. Видала я его, треклятого. Ноги толстые, обтянутые белыми штанинами, и ляжками дрыгает. И губы, яко скаредные, продолжные. Не брыластый. Нет! Брыластые добрые.

Старуха пояснила: «брыластый» — толстогубый, значит. Так говаривали, дескать, в старину.

Я все-таки не верил, что старуха виделась с Наполеоном, и она еще раз подтвердила:

— Как же, как же. Как вот с тобой теперь. Ближе даже.

— После Наполеона, бабушка, много воды утекло!

— Много, много. И воды, и грязи. И морозы были. И тепло было, и люди были, и звери были. Молодые гибли, как солома на огне. А я живу, муцаюсь и не зрю века. Ох-хо-хо!

Я невольно поинтересовался, сколько же ей лет.

— Да вот с предтечи сто тридцать шестой годок миновал. Год-то ноне от сотворения... Зажилась, должно. Аще не днешь, умрем же всяко. И рече Господь: ходяй во тьме, невесть камо грядет. Не сделай беды, да и не сгинешь во зле.

— И паспорт у вас есть, бабушка?

— Лежит, лежит пачпорт. Не мне — на ветер дан. На пришлых да встречаемых. Покажу ужо. Покажу. Глянь. Глянь...

Паспорт советский, самый настоящий, и выдан был в городе Артемовске в 1934 году. Год рождения — 1805-й!

Спустя много лет Ефимия заговорила у меня в Сказании «Крепость», и я услышал ее голос, увидел ее живые черные глаза, глубокие и живые в девичестве, но она ли это? Та ли Ефимия, с которой встретился я тогда в избушке?

«Я так вижу», — сказал один большой художник.

Много, очень много было встреч с людьми сибирской тайги и особенно с крепчайшими раскольниками-старообрядцами — не с волжскими, описанными Мельниковым-Печерским, а с непримиримыми, которых при всех царях гнали этапами в Сибирь.

Особенно памятной для меня была была, рассказанная делом, Зиновием Андреевичем Черкасовым, о декабристе, нечаянно встретившемся с общиной

поморских раскольников где-то на берегах Ишима в бывшей Тобольской губернии. Этот декабрист был моим прапрадедом.

Так по крупинке из года в год собирались впечатления, раздумья, поука не вылились в романах Сказаний.

Да, я их такими вижу, больших и маленьких героев Сказаний! Увидит ли их такими же взыскательный читатель?

## СКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ

### КРЕПОСТЬ

Сторона-то ты, сторонушка  
 Далекая, сибирская!  
 Лесами ты богатая,  
 Зверями непочатая,  
 Народ в тебе, сторонушка,  
 Со всей России-матушки:  
 С Волги, с Дона тихого  
 Шли люди, духом смелые,  
 Удалью богатые!..

### ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

#### I

Чуждо и дико гремело железо в ковыльном безмолвии. «Тринь-трак, тринь-трак», — слышались кандалные звуки.

Степь и степь...

Как моря синь, как неоглядная голубень июльского неба, равнинная степь. Хоть бы лесная опушка, кустик ли — кругом голым-голо. Хоть бы капля дождя упала на отвердевшую, как камень, местами лысую землю с выступающими островками солонцов.

Человек, закованный в кандалы, брел степью неведомо куда, не чая, выйдет ли к чему живому или упадет и никогда уже не подыметься.

Каторжанские коты на деревянных подошвах, негнущиеся, тяжелые, затрудняли движения колодника, и он часто останавливался, вытирая рукавом серой арестантской куртки пот с лица.

Следом за колодником прыгала гривастая, низкорослая гнедая кобылица с таким же гнеденьким жеребенком-сосунком. У кобылицы была повреждена левая передняя нога — и она скакала на трех. Жеребенок то забегал вперед, то плелся сзади, то уносился по степи в сторону, и тогда кобылица печально и призывно ржала.

Третьи сутки тащила лошадь за колодником. Она подошла к нему ночью при полной луне и, когда колодник попробовал поймать ее, дико фыркнула и ускакала прочь. Потом снова вернулась и шла за ним на некотором расстоянии. Откуда она появилась в безводной степи и что ее тянуло к человеку, которому она не хотела даваться в руки, — так и осталось загадкой для колодника. Холка и шея у нее были избиты и затянулись коростой. Может, кто-то из обоза, что шел по Московскому тракту, бросил изувеченную кобылицу вместе с жеребенком, и она, плутая по степи, набрела на такого же

одинокого человека и шла теперь за ним, томясь, как и человек, желанием скорее добраться до пресной воды — к речке ли, к озеру, хотя бы к лужице.

Если колодник, изнемогая от цепей, падал на землю, кобылица ждала, когда он встанет, жеребенок тем временем тыкался мордой в вымя матери, где, наверное, не было ни капли молока.

Кудрявым маревом иссыхала налитая зноем пустынность, и не было ей конца-краю. Куда ни кинь взор — всюду синее, смыкающееся с небом, равнинное безмолвие; никлый, устоявшийся ковыль, распустив сизые усы, переливался от шалого ветра лиловыми барашками. Иногда по степи проносился вихрь, трепал космы ковыля, и опять все утихло, томилось в жарких лучах солнца, накаляющих воздух и землю. В такую пору над истомленной степью не парит даже птица, не встретишь ни зверя, ни косяка диких коз и лошадей, каких немало водится в степном приволье. И все-таки степь жила какой-то особенной, неторопливой и трудной жизнью. Где-то пролегал Московский тракт, проезжали государевы почтовые кибитки; скакали на четверках фельдъегеря с форейторами; плелись груженные товарами купеческие телеги на железном ходу; тархтели надменные подводы с пассажирами, а временами по тракту гнали арестантов, закованных в цепи, и колодник, выйдя на тракт, вряд ли обрадовался бы встрече с партией каторжан, угоняемых на рудники в Сибирь.

Степь и степь!..

«Тринь-трак, тринь-трак», — вызванивали цепи.

Голубая суконная куртка с двумя желтыми бубновыми тузами на спине — знак государственного политического преступника — покрывала широкие плечи колодника. Он был высок, хотя и сильно сутулился. Его светло-синие глаза ввалились и казались большими, округлыми; на щеках, опаленных солнцем, шелушилась кожа; кудрявая борода золотой подковкой обрамляла прямоносое исхудалое лицо. Арестантский колпак он разорвал на лоскутья и подложил под железные браслеты на ногах. Сыромятный ремень, который поддерживал кандальную цепь на ногах, соединенный с цепью на руках, служил поводком, за который он держался одной рукой, а другой тащил суковатую палку. Кандальные кольца были наглухо заклепаны.

Озираясь, колодник испуганно пробормотал:

— Курган! Опять тот же самый курган... О, Господи, в пятый раз выхожу на это же место!..

Действительно, впереди возвышался курган. Но тот ли самый?.. Колодник подошел ближе и увидел помятую траву и несколько свежих лунок.

Некоторое время он тупо созерцал место, куда вышел в пятый раз, потом ударил палкой по комку земли и вдруг услышал за спиной голос: «Мичман Лопарев».

Он вздрогнул, выронив палку и мгновенно обернувшись: никого не было, кроме кобылицы с жеребенком. «Но я же слышал, слышал... Клянусь девятью мужами славы, то был он! — вспомнил хриловатый, лающий голос коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина. Фамилия генерала была под стать его должности. — Или опять показалось? Ночью голос Рылсева слышал, а сейчас — Сукина...»

Он упал на примятую траву и долго лежал так, к чему-то напряженно прислушиваясь и бормоча:

Царь наш — немец русский,  
Носит мундир прусский...  
Ай да царь, ай да царь!  
Православный государь!  
Трусит он законов,  
Трусит он масонов...



Ай да царь, ай да царь!  
 Православный государь!  
 Только за парады  
 Раздает награды...  
 Ай да царь, ай да царь!  
 Православный государь!  
 А за правду-матку  
 Прямо шлет в Камчатку...  
 Ай да царь, ай да царь!  
 Православный государь!

«А за комплименты — голубые ленты», — вспомнил еще и, подняв голову, похолодел: будто совсем рядом, рукой подать, в струистом мареве — Санкт-Петербург, Сенатская площадь... Та самая! И Медный всадник, придавив копытными чугунно-черную гадоку, простирал руку к реке, указывая колоднику на золотой шпиль Петропавловского собора и на крепость, стену которой омывали прохладные воды Невы.

— Боже, Боже... — простонал он, привстав на колени и неотрывно глядя на причудливый мираж. — Я вижу, вижу!.. Неву вижу! Шпиль вижу! Крепость!..

Вот она — Нева, северная жемчужина славян, счастье водное. Вот она, совсем рядом. Иди же, колодник, и утоли жажду. Забудь, что ты затерялся в пустынной равнине за Каменным поясом — Уралом. Нева, Нева!.. Ты слышишь, колодник, как плещутся ее благодатные воды?..

Мираж постепенно отдалялся и таял в жарком полуденном мареве.

— Я же видел, видел! — воскликнул он, с ужасом глядя на необозримую степь: уж не лишился ли ума от жажды? Он знает: в степи нередко можно увидеть мираж, но почему именно примерещились Сенатская площадь, Медный всадник, золотые купола Петропавловского собора и сама Нева?..

Колодник заплакал и снова уткнулся лицом в скрипучий ковыль.

В больном воображении пронеслась одна картина за другой — и так явственно, точно все происходило вчера.

Улица города Ревеля... Он спешит к прохладе и пьет, пьет и никак не может напиться. Он один среди прохожих, совершенно незнакомых. Море где-то далеко-далеко, за тридцать долин. И есть ли вообще море, прохладные реки, утоляющие жажду?.. Страх сковывает его: он боится поднять голову — опознают... И тут, на людной улице, чья-то тяжелая рука в перчатке ложится ему на плечо:

— Мичман Лопарев!

Он не успевает ответить: перед ним жандарм.

— Вы арестованы.

— Пить... пить. — Он облизывает губы.

Жандарм сухо отвечает:

— Нет для вас воды, нет для вас моря, а есть вечная безводная степь в Сибири, за Уралом, и вы умрете от жажды, государственный преступник Лопарев! Следуйте за мною!

«Если бы я тогда не задержался на сутки в Ревеле, я мог добраться до Варшавы, а там — к Юлиану Сабинскому, к Ядвига, — подумал Лопарев, переживая минувшее в своей нелегкой судьбе. — Нет, я их не выдал. Ни Ядвигу, ни Юлиана, ни Мстислава со Станиславом. Венценосец не вымотал из меня признания, нет! Ты слышишь, Ядвига?..»

Черные, ищущие глаза Ядвиги придвинулись к его лицу. Она все такая же — чуточку насмешливая, капризная полячка, но самоотверженная и бесстрашная, как и ее двоюродный брат Юлиан... Лопарев и Ядвига в полутем-

ной гостиного дома Сабинских пьют старое вино; на улицах Варшавы гроза и дождь.

Он пьет вино и говорит стихами Кондратия Рылеева:

Ревела буря, дождь шумел;  
 Во мраке молнии блистали,  
 И непрерывно гром гремел  
 И ветры в дебрях бушевали...  
 Ко славе страстно дыша,  
 В стране суровой и угрюмой,  
 На диком бреге Иртыша  
 Сидел Ермак, объятый думой...

Ядвига спросила:

— Кто такой Ермак?

Он ответил.

Ядвига печально промолвила:

— О matka боска! Только бы не в Сибирь. Мне страшно за всех вас. Только бы не в Сибирь!

— Ядвига! Ядвига! Где ты? — зовет он в испуге.

...Безмолвие и полуденный зной, от которого нигде не укрыться...

— О, Боже! Конец мне, конец... — стонет колодник, прижимая лицом ковыль.

Где теперь Ядвига Менцовская? Юлиан Сабинский? Где они все, варшавские друзья? Он никого не предал, никого не назвал...

— Ты спишь в тринадцатой камере, жалкий мичманишка! — рычит генерал Сукин.

Тринадцатая камера в Секретном Доме...

Камера с голосами призраков...

Колодник слышит пронзительный крик:

— Назови сообщников в Варшаве! Назови сообщников в Варшаве!

— Не было, не было сообщников... — стонет он. Но... чу! В уши бьет материнский голос:

— Сашенька! Сашенька! — Не голос, а мученическая мольба израненного сердца. — Что ты наделал, Сашенька! Как ты мог скрыть от меня и от отца крамольную тайну? Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив — простит. И я буду молиться. Закружили тебя бесы...

«И я закружился в проклятой степи, — с горечью подумал колодник. — Бесы закружили, видно: в пятый раз я вышел на этот курган. Может, и в жизни так — кружимся, кружимся, а выбиться на дорогу не можем?..»

Руки матери теплые, желанные.

— Сашенька...

И сразу же, как в пекло головой: лицом к лицу с генерал-адъютантом Чернышевым.

Генерал-адъютант вкрадчиво допытывается:

— Смело спросить: кого же вы прочили в Буонапарты России? Пестеля? Рылеева? Или Муравьева-Апостола? Кого же? Я, смею заверить, пожил на белом свете и кое-что повидал, не исключая самозваного императора Франции. И вот — Конституция вашего тайного общества, кою вы собирались огласить народу, если бы вам удалось... Кого же вы готовили в Буонапарты?

«Нет, нет, нет! — стонет колодник, выдирая руками ковыль. — Мы не готовили Бонапарта для России. Нет, не готовили...»

«Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька! Царь милостив — простит...»

— О, Боже!..

Он вскочил, гремя цепью. Перекрестился. Перед ним — все тот же курган, изнывающая в зное ковыльная степь.

## II

Бывший мичман гвардейского экипажа, участник декабрьского восстания Александр Лопарев, 1803 года рождения, государственный преступник, осужденный по третьему разряду известного царского алфавита к двадцати годам каторжных работ и к вечному поселению в Сибири, три года отсидевший милостью царя в Секретном Доме Петропавловской крепости, бежал с этапа...

Седьмого июля 1830 года этап остановился на привале у гнилого озера. Вода была вонючая, мерзкая. Берега поросли камышом: войдешь, — и потеешься, как в лесу. Уголовники, какие шли в Сибирь вместе с Лопаревым, собирали на берегу сухой камыш и жгли его возле багажных кибиток.

Ночью разыгралась гроза с проливным дождем, и Лопареву не спалось. Жандарм Ивашинин храпел рядом. «Бежать!» — будто услышал Лопарев чей-то голос.

Бежать... Берегом озера, подальше в степь от своей злосчастной судьбины! Думалось: верст десять-пятнадцать пройти степью, а там...

И Лопарев ушел.

Всю ночь брел под дождем, неведомо куда; с рассветом передохнул и поплелся степью дальше. Трижды встречались ему озера — солоноватые, горькие, но Лопарев не брезговал, утолял жажду, и все шел, шел...

На вторые сутки повернул на запад, к тракту, как думал, но степь так и не разомкнула своих жарких объятий.

После грозы и дождя наступила иссушающая зной.

Знает ли кто, что такое степь безводная? Есть ли другое место на земле, где все так чуждо человеку, где земля бела от соли, а от необоримой жары сохнут даже глаза?

Под вечер пятых суток, когда солнце ткнулось в горизонт, у ног Лопарева мелькнула тень.глянула кверху — орел! На сажень в размахе крыльев. Лопарев даже слышал, как шумели они, когда птица кружила над степью. Кобылица и жеребенок жались к нему, как бы моля о защите. Лопарев судорожно сжал палку, и в тот же миг орел камнем упал жеребенку на спину. Лопарев ударил орла, тот неустово забил крылом, словно подгоняя свою жертву. Лопарев, задохнувшись, ударил еще и еще уже из последних сил, и потом, когда окровавленная птица рухнула наземь, долго топтал ногами ее бесформенную тушу. Надрывный и тонкий крик жеребенка влетался в тревожное ржание кобылицы. Так и стояли они вместе с человеком, будто судьба связала их одной веревкой...

В ночь на шестые сутки Лопарева одолевали видения: то мерещилась ему тринадцатая камера Секретного Дома; то кидала его соленая морская волна, и тогда еще сильнее томил жажду; то чудился ему двуглавый серебряный Эльбрус...

О, Ядвига, Ядвига!..

Лопарев повстречался с пани Менцовской на водах, где она была вместе с Юлианом Сабинским, своим двоюродным братом. Сабинский слыл за ученого, говорил свободно на многих языках и держался с большим достоинством. Но Ядвига, Ядвига... Она будто никого не замечала, и никто не решался приблизиться к ней, кроме молодого князя Темирова, гвардейского поручика. Внезапно они рассорились. Как и что произошло, Лопарев не знал.

Возвращаясь с прогулки, уже после размовки с гвардейцем, Ядвига под-

вернула ногу. У самой тропки, которой начинался подъем на Бештау, Лопарев услышал зов о помощи.

«Я бежал на этот голос, словно олень, — восстанавливал он в памяти и вновь переживал ту встречу. — Я бежал бы вечность. Я узнал ее тотчас, и мне почему-то стало страшно. Ползком Ядвига пыталась достигнуть дороги, ведущей в город. С ужасом глядела я на ее маленькую ножку, еле прикрытую изодранным платьем. Потом я увидел лицо Ядвиги: в слезах оно было прекрасным! Ее локоны ниспадали к плечам, а белая шляпка, перехваченная у шеи резинкой, была откинута за спину. Я стоял, не зная, что делать, и, вероятно, выглядел глупо, без конца бормоча сладостное сердцу имя.

«Нога... О, matka боска!.. — со стоном проговорила Ядвига и что-то добавила по-польски, но я не понял. — Помогите ж мне!»

Осмотрев ногу в тонком чулке, я сказал, еле ворочая языком, что перелома нет, а только опухоль у щиколотки. Ядвига смотрела на меня, смитывая слезы. Я и теперь их вижу. Потом она спросила, знаком ли мне поручик Темиров. Да, я знал князя, отчаянного дуэлянта и скандалиста. «Он обидел вас, пани?» — спросил я. Губы ее дрогнули. «Нет такого поганого русского князя, который что-либо мог сделать з мною!» — со злостью выговорила Ядвига, и я догадался, что между ними что-то произошло на Бештау. Затем она сказала, что больше никогда не поедет на кавказские воды, и пусть будут прокляты поганые москвиты, пусть будет проклята Россия, погубившая ее отца, который бежал во Францию и умер там в изгнании. Я отвечал: «Россия не виновата, пани. Цари — еще не Россия. Разве, говорил я, презренный Наполеон был вся Франция? Он был изгнан с позором, а прекрасная Франция осталась, и французы остались французами... Так и у нас в России будет: настанет время, и презренных царей уничтожат, а Россия жить будет, и народы жить будут...»

Что я еще говорил?.. Ах да, — о ней, о ее красоте... Говорил о своей матери: она ведь тоже из Кракова, полячка, о друзьях моих рассказывал, особенно о тех, кто побывал во Франции, в Париже. О, с какими мыслями многие из них вернулись оттуда: о свободе народной они говорили, о революции, о конституции... Правда, я и словом Ядвиге не обмолвился ни о Северном, ни о Южном обществе, но дал ей знать, что в России есть люди, способные покончить с самодержавием.

Как удивилась и обрадовалась Ядвига. «О, matka боска! — воскликнула она, сжимая мои руки. — Увижу ли свободную Польшу?» И я почему-то уверенно сказал, что настанет день, когда ее мечты сбудутся.

А теперь... Так много времени прошло! Но я не забыл ни Ядвиги, ни наших разговоров. Стремления, мечты мои и Ядвига — все это слилось в одно целое.

Даже в стенах Секретного Дома, с глухонемыми надзирателями, ее образ не покидал меня. Ядвига была утренней и вечерней моей звездой. Не было во мне большего желания, чем видеть и видеть ее, но мечтам этим не суждено было сбыться. И вот в горький час жизни моей, в этой безводной сибирской степи, я с нею и будто ощущаю ее теплые руки и вижу грустные ее глаза. Мне неотступно слышится грудной тембр ее голоса: «Я буду любить тебя. Ты хочешь этого? Я буду любить тебя, видит Бог, говорю правду...»

— Ядвига, я перенес все пытки, но не предал нашу мечту... Ты слышишь, Ядвига, меня не сломили... И снова готов идти той же тернистой дорогой. Слышишь?

Безмолвие и тяжкая, тяжкая ночь...

Ты помнишь, как я нес тебя на руках в город? Твои руки были теплы и пахучи, а вся ты — невесомая, жаркая... О, как хотелось бы, чтобы это повторилось...

И все-таки ты не могла понять меня до конца: я не мог стать католиком,

как ты хотела. И не потому, что я православный, — совсем нет: наша религия одна — на плаху венценосцев, свободу народам! Польскому, русскому, всем народам, населяющим империю под двуглавым орлом. Понимаешь ли ты меня?..»

Но кругом то же безмолвие и тяжкая ночь...

После знойного дня земля отдает свое тепло. Колоднику худо в степной духоте, и бредовые видения снова кидают его с волны на волну, как щепку в море.

Он опять с Ядвигою — там, на Бештау. И знойно, и душно, и нет ни глотка воды. Но он, колодник, несет на руках Ядвигу не в сторону Пятигорска, а к себе на Орловщину, в деревню Боровиково, в отцовское имение. Там у них парк с прохладною, такой чудесный пруд и вода, вода, кругом вода!

Но куда же за ними скачет хромая кобылица с жеребенком? Или она так и будет за ними скакать вечно? «Не гони ее, Александр, — шепчет Ядвига. — Пусть она будет с нами. Но куда же мы? Куда идем?» И глаза Ядвиги насыщены тревогою, какими он запомнил их в последний час расставания.

«Мы будем идти дальше, дальше, дальше! — бормочет колодник, вцепившись руками в хрустящий ковыль. — Ядвига, ты слышишь? Мы должны идти дальше!..»

Колодник очнулся от призывного ржания кобылицы. Над степью все выше поднималось синее небо, а ему, колоднику, хотелось бы еще вернуть себе Ядвигу и движение, движение по каменистой тропе... Он, колодник Лопарев, должен встать и идти... «Но что теперь в том... Настал конец. Мой конец, Ядвига! И если я погибну здесь, помни: тебе завещаю жизнь и счастье.

Жизнь и счастье...»

### III

Уже занялась над степью предутренняя голубень, когда Лопарев увидел зарево. Будто и близко стояло оно, но не верил глазам: может, снова видение?

Какая сила подняла его с земли, он и сам не знал. Он шел и шел, а зарево было все так же далеко. Когда показалось солнце, оно исчезло совсем, и тут, в утренней свежести, почувдилось, будто лают собаки.

Лопарев упал и пополз на четвереньках. Он не мог вспомнить, куда девалась кобылица с жеребенком...

И вдруг, словно чудо, какое-то поселение открылось взору, и силы покинули Лопарева. Он позвал: «Люди!» Но было тихо. Темнел лес, — не мираж ли? Нет, зримость! Воды, воды, воды! — это было единственное, чего он жаждал, и чувствовал, что внутри у него все стореало и обуглилось.

Воды, воды, воды!..

Накинулись лохматые псы. Лопарев уткнулся головой в землю и так лежал до тех пор, пока не склонились над ним трое бородачей — один другого старше; двое тощих и длинных, — в посконных рубахах до колен, в войлочных котелках, — сивобородые, угрюмые; третий — согбенный, кривоносыый, с реденькой белой бородкой и босой; к правой ноге его была прикована пудовая гиря на железной цепи.

Отогнали собак, молча переглянулись и перекрестились ладонями.

— Эко! Человече Бог послал, — сказал длинный старик.

— По ногам и руками закованный. Беглый, должно, — дополнил другой, длинный. — Каторга!

Кривоносыый же фыркнул:

— Откель те ведомо, праведник Тимофей, што зришь человеचे, а не сатано в рубище кандалника?

— Спаси и сохрани! — перекрестились двое.

Лопарев поднял голову: сивобородые мужики кружились перед глазами, и вся земля тоже качалась.

— Воды, воды, воды!..

— Сатано и в багрянице является, — продолжал кривоносый, пристально разглядывая колодника.

— Также, праведник Елисей! — поддакнул один из старцев.

— Ноне судному молению быть, — напомнил названный Елисеем с гирей у ноги. — Может, в яму к нечестивке ползет нечистый дух? А? Спаси и сохрани, Господи!..

Все трое истово осенили себя ладонями, отплеываясь от нечистого духа.

— Пить, пить...

— Ишь как вопиет! Воды просит, чтобы порчу навести на всех и в геенну огненную свергнуть праведников. Беда будет! Беда!

— Спаси Христос! — поддакнули двое.

— Аз же хвалу Богу воздав, вопрошаю нечистого: хто такой будешь? — оставил Елисей. — Сказывай! Крест наложи на чело свое. Ну-ка же?

Лопарев перекрестился тремя перстами.

— Сатанинским кукишем осенил себя!

— Нечистый дух!

— Святейшего батюшку позвать надо...

— Да, чтоб никто из правверцев не зрил нечистого, — напомнил Елисей. — Грех будет.

— Грех! Грех!

— Осподи помилуй!

— Пить... ради Бога! — Лопарев уперся локтями в землю.

— Изыди вон! Изыди, изыди!

— Нету для ты воды, нечистый дух! — затрясся Елисей. — Смолу кипучу хлебай, хоть от пуза, и сам варись в той смоле. Правверцев не совратить тебе, нечистый! Изыди! В геенну кипучу! Вон, вон!

— Батогами гнать надо, праведник Елисей! — подсказал кто-то.

— Пусть благодный батюшка Филарет гянет — тогда погоним, ужо. Тоигтать будем, ужо. Пинать будем, ужо. Также славно будет Иисусе многомилостивому, Иисусе пресладкому, Иисусе многострадному! Аллилуйю воспоем на всеночном моленье.

— Воспоем, воспоем!..

Кандальник решительно ничего не разумел из всего этого.

— Благодный батюшка Филарет идет со старцами, — сообщила Елисей и опустил на колени; двое других сделали то же.

— Люди! Или вы глухи? Помогите же! — тцетно молил Лопарев, пытаясь встать на ноги.

Сутулый, тцедушный Елисей торжественно затянул:

— Батюшка Филарет наш многомилостивый, многоправедный, яко сам Спаситель, благодный и пресладкий, спаси нас от погибели!

Двое, бородами касаясь земли, разом подхватили:

— Спаси нас! Спаси нас!

Елисей воздел руки к небу:

— Духовник наш многомилостивый, отец родной наш, покровитель наш и яко Спаситель, оборони от нечистого! Сатано припоаз к становищу! Рога зрил; хвост зрил; огонь из горла исторгался и смрадный дым шел. Аминь!..

Лопарев окончательно сбился с толку. О каком сатане пал старикашка? И что они за люди? Будто мужики, и на мужиков не похожи. И кто этот их многомилостивый покровитель? Собрав все силы, он стал подыматься с земли и тут увидел, как двигался к нему некий старец, вид которого поверг Лопарева в трепет.

Старец был необыкновенно высок, с царя Петра, костлявый, прямой; на

белой рубахе до колен искрилась такая же белая аршинная борода; поверх нее лежала толстая золотая цепь — увесистый осьмиконечный золотой крест. Холщовая рубаха была перетянута широким ремнем по чреслам; длинные белые космы, ни разу, видать, не стриженные, спускались ниже плеч. Старец был бос и шел величаво, опираясь на толстый посох с золотым набалдашником и железным наконечником, — точь-в-точь Иван Грозный со старинной иконы. И такой же горбоносый.

— Кого Бог послал? — подойдя, спросил он. — Подымитесь, праведники. Спаси вас Христос.

— Спаси Христос, батюшка Филарет! — поднялись праведники, крестясь. Старец грозно огляделся.

— Где зрите Филарета? Али у алтаря, на моленье? Из памяти вышибло, должно? Не вижу Филарета, старца. И где он?

Старики испуганно переглянулись.

— Нету, нету! — подтвердил догадливый Елисей. — Бог даст, увидим. На моленье увидим, яко Спасителя. Воспоем аллилуйю, праведники, батюшке Филарету.

— Аллилуйя, аллилуйя! — воспели бородачи.

Старец стукнул посохом, сердито напомнил:

— Когда явитесь к нам батюшка Филарет, тогда и аллилуйю петь будем. Кого Бог послал — сказывайте! — кивнул на Лопарева.

Подобострастный Елисей сообщил, что вот, мол, явился нечистый дух в облике кандальника, чтобы порчу навести на древних христиан, и что он, Елисей, на какой-то миг собственными глазами увидел на сатанинском лбу рога, и огонь с дымом из пасти шел.

— Также. Также, — поддакнули старики.

— Православный я! Православный! — не выдержал Лопарев и перекрестился щепотью. — Я православный, русский...

Старец с посохом ворчливо ответил:

— А мы — люди Божьи. Не русские и не православные, а праведные христиане.

— Куда ж я, люди? Шестые сутки без крошки хлеба. Люди!.. — путаясь в словах от слабости, бормотал Лопарев.

— Никонovou щепотью молишься? — уставился на него старец. — Стал быть анчихристу молиться. Иуда брал соль щепотью, а никониане, собакины дети, купель Божью щепотью осеняют. Спасители Иисуса Иисусом зовут, как нечестивцы. За семнадцать праведных поклонов — четыре бьют; усердие Богу во мзду обратили. Аллилуйю во храме Божьем поют три раза, а не два, как по старой вере. Оттого и погибель будет.

Он тронул посохом кандалы:

— За какой грех закован? Правду глаголь. Срамные уста лживостью сами себя губят. А Бог, он все видит и слышит.

— Воды! Хоть глоток воды!..

Подумав, старец оглянулся на мужиков:

— Скажите там Ефимии, пусть принесет для болящего, пришло с ветра. Живо мне!

Один из мужиков побежал. Старец опустил на колени и осмотрел, как заклепаны железные кольца на ногах.

— Эко! Крепко привязал тебя царь своей милостью-радостью. Ну да цепи люди сымут. Вольным будешь, ежели скажешь, пошто закован.

— За восстание закован. Царю Николаю не присягнул.

— Царю-анчихристу?! Дивно! За восстание, говоришь?

Лопарев полагал: вся Русь знает про то, что свершилось четырнадцатого декабря. Но старец про восстание ничего не слышал.

— В самом Петербурге? Тихо, Божьи люди!

Лопарев сказал, что часть войска в столице во главе с офицерами отказалась присягнуть Николаю, царь жестоко подавил восстание, а потом учинил суд и расправу. Солдат прогнали сквозь строй и били шпицрутенами. Тех, кто выжил, заковали в кандалы и отправили на каторжные работы и на вечное поселение в Сибирь. Офицеров не били шпицрутенами, но пятерых повесили в Петропавловской крепости, остальных приговорили к разным срокам каторги, к вечному поселению в Сибири, разжаловали в рядовые. И что он, колодник, успел бежать в Ревель, но вскоре был опознан и пойман, доставлен в Петропавловскую крепость, а потом по личному приказу царя заточен в Секретный Дом, и что он бежал с этапа, плутал по степи и вот вышел к ним...

— Много ли солдат забили палками? — спросил старец.

Лопарев числа назвать не мог. Должно, много.

— Праведный ты человек, кандальник, коль на царя-анчихриста топор поднял. На плаху бы царя-то, на плаху! — одобрительно гудел старец, пощипывая бороду. — А мы-то ни слухом ни духом не ведали про восстание!.. Помогите, мужики, человеке и отведите к Мокеевой телеге. Живо мне! Не дам тебя в обиду, раб Божий. Хоть и не нашей веры-правды, но на праведном деле мучение принял. Вот и привел тебя Господь к становищу древних христиан. Не принимаем мы власть царя-анчихриста, оттого и ушли с Поморья в Сибирь студеную. Не раз подымался народ на анчихриста, но не одолел. Слышал, может, про осударя Петра Федоровича? Царствие небесное осударю-батюшке! — Старец перекрестился и, завидев женщину в черном платке, позвал:

— Подь сюда, Ефимия.

Женщина подошла. Старец принял из ее рук берестяную посуду, спросил: кипячена ли вода?

— Нет, батюшка. Речная.

Старец вылил воду. Лопарев вскрикнул.

— Погоди, сын Божий. Нельзя сырую пить-то, коль ты обгорел изнутри.

#### IV

Долгим показался колоднику путь до того места, где находилась телега.

И вдруг сразу промеж двух рябиновых прибрежных кустов увидел он спокойную синь речной воды. Рванулся, но мужики удержали.

Над степью, за рекой, вставало солнце вполкруга, и тени от берез отпечатались длинные, пронизанные багрянцем. И небо розовело, и степь, и птицы, перелетающие с дерева на дерево. Певучая звонкость как бы призывала к движению и радости. В поределой роще виднелся пригон для скота, оттуда шли женщины с подойниками, повязанные платками до самых бровей, украдкой взглядывая на небывалого человека в кандалах.

Отроки в длинных холщовых рубахах и без штанов шли следом за Лопаревым, покуда не оглянулся один из бородачей и не погрозил батоном.

Замычали коровы. За Ишимом кочевники в малахаях, рассеившись на берегу, курили трубки.

Лопарева подвели к телеге и усадили на сухое, шуршащее сено под холщовым пологом.

Старец сам подал кружку с кипяченой водой, Лопарев выпил ее одним махом.

— Еще!

— Погоди ужо, раб Божий. Который день без воды-то?

— Четвертые сутки. Кружил по степи, пять раз выходил на один и тот же курган.

— Ишь ты! Нутро перегорело, значит. Сушь, жарница. Не тебя ли анчих-



ристовы слуги искали третьеводни? При пашках, конные. Насхали на наше становище. Допытывались: не прячется ли государев преступник. Разумей потому, как экую напасть обойти. И мы поможем. Как твоё имя-прозвание от Бога и родителя?

— Александр, Михайлов сын, Лопарев по фамилии.

— Из барского сословия?

— Из дворян. Мичманом служил, по суду разжалован и лишен всех званий...

Старец что-то припоминал, поглаживая бороду.

— Слыхивал Лопаревых. Когда еще парнем ходил, на барщине хрип гнул у помещика Лопарева в Орловской губернии. Не из Орловщины?

Лопарев будто испугался.

— Токуй правду, человек! Когда я проживал на Орловщине, тебя на свете не было. Может, дед твой. При военном звании состоял.

Лопарев признался, что дед его, Василием Александровичем звали, действительно «при военном звании состоял»: служил полковником у Суворова. Умер в своем имении на Орловщине.

— Имение-то Боровиковским прозывалось?

— Боровиковским.

— И деревня там — Боровикова?

— Боровикова...

Старец покачал головой.

— С той деревни и я. Там, почитай, все из Боровиковых состоят. Слыхивал, может, от деда, как он выиграл в карты именье и три деревни в придачу? Семьсот душ на карту взял! Эх-хе-хе! Житие барское да дворянское. Родитель мой, Наум Мефодьев, тоже по прозванию Боровиков, старостой был, когда помещик проиграл крепостных твоему деду. Слово такое сказал — два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно за слово и тут же смерть принял. Несмышленищем был тогда, а помню, как кровью изошел батюшка мой.

— Помилуй, Господи! — разом перекрестились бородачи.

— Господь милует, да зверь год от году лютеет, — проговорил старец. — Стал-быть, земляки мы с тобой, Александра, Михайлов сын. Ишь ты! Земля-то велика, да люди текучие.

Обращаясь к бородачам, наказал:

— Погрозите чадам своим, женам своим и всей общине, чтобы никто не подходил к телеге. Никто из вас не видывал кандалника и слыхом не слыхивал. Где Микула-то?

— Микула-а-а! — гаркнули в три глотки.

— ...ку-ла, ку-ла-а, — отозвались кочевники с того берега.

Старец плюнул в их сторону.

— Ипеть зыряты, нехристи, собакины дети!.. Мы тут с осени. Травой запаслись для скота, в землю зарылись. Ходоков послали на Енисей-реку. Сказывают: места там как вроде наши, Поморские, лесные. Сын мой на Енисей-реку ушел со товарищами. Вот возвратятся к страде, должно, и мы поедем.

Подошел рыжебородый кряжистый богатырь с кузнечным инструментом в руках.

— Звал, отче? — поклонился старцу.

— Звал, Микула. Сподобил тебя Господь разбить анчихристовы поковки да в реку Ишим закинуть и плюнуть им вослед трижды. Аминь!

— Нашей ли он веры, отче? — уставился Микула на кандалника.

— Сказывал на моленьях: кто подымет топор на царя-анчихриста и на поганое войско, тот нашей веры-правды.

— Благослови, отче, струмент, — склонил богатырь голову.

Старец благословил.

Микула встал на колени, осмотрел цепи, заклепки.

— Как навек закован.

Старец подал еще кружку воды Лопареву и наказал Ефимии, чтобы она сготовила взвар из курицы.

— Оно хопа и пост ноне, да человеке подымать надо. А ты, Ларивон, заруби курицу.

— Неможно, батюшка... — попятился Ларивон, в сажень ростом. — Грех будет.

— Сымаю грех тот перед небом чистым. Молебствие будет — замолим. Ступай с Богом. Руби!

Ларивон поплелся рубить курицу.

Покуда Микула орудовал напильником и зубилом, старец толковал про вольную волюшку, про справедливого «осударя Петра Федоровича», ни разу не обмолвившись, что под тем именем скрывался беглый донской казак Пугачев.

— Не одолели мы царское войско втапоры, — гудел старец. — Ну да срок не ушел. Полыхнет по земле пламя горячее, и тогда не спастись от погибели сатанинскому престолу и кабале, в какой мается народ на святой Руси. Грядет день, грядет!

Микула одолел последнюю заклепку.

Старец принял от него кандалы:

— Эка тяжесть...

Кандалные цепи кинули в Ишим и трижды плонули. Микула дальше всех.

Тем временем черноглазая молодка Ефимия готовила куриный взвар. Старец наказал ей, чтобы она не перепутала посуду, из которой попотчет кандалника.

— Грех будет.

На что Ефимия ответила:

— Ведаю, батюшка.

— Да чтоб он про то не ведал. Да, слышь: кандалником не зови. И чтоб никто слово такое не ронял всуе. Нету кандалника, был человеке с ветра и ушел на ветер.

Ефимия не уразумела, что хотел сказать старец.

— Говорю: ушел на ветер, и все должны то знать. А покель поживет под твоей телегой втайности. Ты будешь кормить его, выхаживать, чтоб хворь к нему не пристала. Мучение великое принял он, потому и помощь окажем. Да гляди, язык держи на привязи. Расспросов не учиняй, слышишь? Вера у него никонианская, поганая.

— Как же мне быть, батюшка? Можно ли никонианина видеть? Срамника?

— И на нечистого с крестом да с молитвой идут. И Бог обороняет от погибели. Аминь.

— Аминь, — в пояс поклонилась Ефимия.

К полудню, когда Лопарев крепко спал под телегой, сын старца Ларивона наметал наверх полкошны ковыльного сена, обставил вокруг хворостом так, что не узнаешь, что под копною запрятана телега, а под телегой — беглый государев преступник, которого ищут сейчас от Камы до Оби.

## V

...Все тот же жуткий сон: каменный пол, железная дверь и — тишина. Гробовая тишина.

Тринадцатая камера в Секретном Доме...

Он опять здесь, мичман Лопарев. Хоть бы раз увидеть солнце над головою, услышать человеческий голос!

Лопарев мечется по камере, зовет, стучит кулаками в железную дверь — но тщетно! Ни голоса в ответ. Может, он заживо погребен в каменном склепе, и никто не узнает, что он не погнул спины перед тираном.

Но что это? Стены тюрьмы наполнились кровью. Кровь капает с потолка. Лопарев хочет крикнуть, но голос пропал, и он чувствует, как цепенеют руки и ноги...

Лопарев очнулся и не сразу сообразил, где он и что с ним.

Душно и жарко. Ноют плечи и спина. И сушь, сушь во рту. Пить, пить... Когда же он напьется? Где-то он видел реку. Когда и где?

Пахучее, шуршащее сено. Как он сюда попал? Ах да! Бежал с этапа. Плутал по безводью. Неделя, две, месяц? Целую вечность! С ним плелась хромая кобылица с жеребенком. Куда они делись? Он не помнит. Может, и не было ни кобылицы, ни жажды, ни побега с этапа, ни кандалов...

Он схватил себя за руку:

— Боже! Кандалов нету! — И сразу вспомнил встречу с угрюмыми бородачами и старца с белой бородой ниже пояса и как неподатливо скрипело железо, а кузнец Микла молча и деловито пилил заклепки...

«Дзззз-дзз-дззз», — пел нашильник.

— Царь милостив! Покайся!

Лопарев заскрипел зубами.

Покаяться? Перед царем-вешателем?

И он вспомнил вытаращенные глаза Николая, когда видел его совсем бланком на Сенатской площади в тот морозный день четырнадцатого декабря, и корнет кавалергардского полка Муравьев-младший сказал:

— Гляди, Лопарев: вот он, престолонаследник! Жалкая скотина. Видишь, как он озирается? В такую скотину не выстрелят пистолеет.

И — не выстрелил. Может, именно потому, что все видели, каким был трусоватым и жалким претендент на престол?..

Потом — картечь. Комья утоптанного снега, крики, и стон, и свист пуль.

Он беспорядочно отступил. Кто куда.

«Как это могло случиться? Кто виноват? Пестель? Муравьев? Кто виноват, что восстание провалилось?» — спрашивал себя Лопарев тот раз, когда бежал в Ревель.

Не минуло трех недель, как его схватили и доставили в Петропавловскую крепость. Он не знал, кто взят, кто сидит в соседней камере, кто и какие давал показания. Он ничего не знал и все отрицал. Генерал-адъютант Чернышев грозился:

— Ты сгниешь в крепости, жалкий мичманишка!

Еще была одна ночь. Непогодная, мартовская. Лопарева вывели из дворика тюрьмы, усадили в черную карету, бок о бок с комендантом крепости генералом Сукиным, и повезли в Зимний дворец, где он во второй раз свиделся с Николаем.

Царь возвышался над столом.

Генерал-адъютант Чернышев занимал место слева, граф Бенкендорф — справа.

Генерал Сукин представил арестованного.

Лопарев не упал на колени, как это сделали некоторые участники заговора и восстания. Твердо и спокойно ответил на пронзительно-голубой взгляд царя.

— Сын подполковника лейб-гвардии Михайлы Васильевича? — спросил и, не дожидаясь ответа, дополнил: — Достоин сожаления, что у почтенных отцов, верных престолу и Отечеству, преступные дети.

— Достоин сожаления, ваше императорское величество, — отозвался генерал-адъютант Чернышев. — Еще более нетерпимо, когда избалованные преступники упорствуют в своих показаниях, ведут себя крайне дерзко, стараются утаить от следствия крамольные связи с сообщниками...

В предварительном следствии мичман Лопарев проходил по восьмому разряду: его могли разжаловать, сослать на Кавказ под пули чеченцев или приговорить к каторге и поселению в Сибири.

Была одна малая зацепка: в июне 1825 года мичман Лопарев, пользуясь месячным увольнением по причине тяжелой болезни матери, вдруг уехал не к родителям в имение, а в Варшаву, где пробыл пять суток у невесты Ядвиги Менцовской, с которой будто бы поссорился. Менцовская заявила, что ничего не знала о принадлежности жениха к тайному обществу. Никаких документов, изобличающих мичмана, у следственной комиссии не было. Так бы и остался вопрос открытым, если бы сам царь не усомнился: подумать только — ездил в Варшаву! Это же все равно, что к дьяволу в пекло. Не проходило ни одной тайной молитвы, когда бы царь не оглядывался на Варшаву. Это же Варшава!

Вот почему у него сорвался голос, когда он потребовал:

— Назови сообщников в Варшаве! По чьему поручению ездил? С кем ты встречался? Отвечай! — Он ко всем обращался на «ты».

Лопарев молчал.

Командант крепости генерал Сукин, тараща глаза, прошипел сквозь зубы:

— Отвечайте!

Лопарев передернул плечами и, глядя в упор на царя, проговорил:

— Я ездил в Варшаву повидаться с невестой. Более ничего не могу сообщить.

— На колени! — ткнул царь кулаком в стол.

— На колени! На колени! — подтолкнул в спину Сукин.

Лопарев вытянулся, как на параде.

— Я отвечаю, ваше императорское величество, только за свои деяния и поступки. За других отвечать не могу и никого не назову. В Варшаве я виделся только с невестой, Ядвигой Менцовской.

Царь хлопнул ладонью по столу:

— Жешь! Даю тебе три минуты. Только три. Назови заговорщиков в Варшаве! Фамилии!

Лопарев не назвал ни одной и даже отказался сообщить, какие разговоры вел с Пестелем в доме Никиты Муравьева на Фонтанке, где собирался штаб тайного общества.

Николай посмотрел на часы.

— Ну что же, вижу, тебе мало трех минут. Очень жаль. — И шевельнул плечом в сторону Сукина, ожидавшего приказа. — Я думаю, место сыщется в Секретном Доме?

— Так точно, ваше императорское величество! Можно в тринадцатую.

— Водворите. — И, глянув на Лопарева, царь неожиданно улыбнулся: — Жалея вас, вашу молодость, Лопарев, я предоставляю последнюю возможность подумать. Я терпелив. Прощаю дерзость, но не могу простить упорствования в сокрытии преступников. Сожалею. Очень сожалею!..

Голос его дрогнул, и Лопареву почудилось, будто царевы глаза увлажнились: он не знал того, что эти мнимые слезы венценосца побудили Каховского составить покаянное письмо, в котором он принес царю полное признание, а самому себе — висельнику..

Нет, не напрасно Николай брал в ту пору уроки у актера Каратыгина...

## VI

Было за полночь, когда Сукин доставил Лопарева в Секретный Дом.

— Тринадцатый номер. В тринадцатую камеру. — Слова генерала означали, что с этой минуты узник утратил имя и звание и стал тринадцатым номером.

Никто, ни единая душа не могла проведать о человеке, упрятанном в Секретный Дом. Тот, кто попадал сюда, как бы живьем уходил в могилу...

На столике — кружка, Евангелие и несколько листов бумаги из канцелярии генерал-адъютанта Чернышева.

Каждое утро в четверг, когда вместе с пищей Лопареву подавали три листика бумаги с типографским заголовком, он метался по камере, повторяя одно и то же: «Не было сообщников, не было сообщников!» — и писал рапорт в канцелярию Чернышева.

Надзиратели в Секретном Доме не отзывались на вопросы, и Лопарев уверился, что все они были глухонемые. Позднее он узнал, что из Секретного Дома за все существование не сбежал ни один узник!

Время тянулось мучительно однообразно. В соседней камере беспрестанно орал сумасшедший. Лопарев потерял счет дням и одичал до того, что и разговаривать разучился...

Тринадцатого июля 1826 года его вывели из камеры, молча кинули парадный мундир, и он оделся.

Над Петербургом зачиналась заря. Лопарев не знал, какое было число и какой месяц. Жандарм принял его от надзирателя Секретного Дома и провел в крепость, а потом на гласис, где находились участники неудавшегося восстания 14 декабря, размещенные по категориям.

— Лопарев! Ты ли это, Александр?!

Лопарев узнал братьев Беляевых — мичманов гвардейского экипажа, хотел кинуться к ним, но жандарм схватил за руку.

Александр Муравьев, корнет кавалергардского полка, помахал ему: прощай, мол, брат!

Никита Муравьев, капитан гвардейского генерального штаба, составитель Конституции, в доме которого на Фонтанке часто бывал Лопарев, стоял в окружении жандармов, безучастный ко всему.

Друзья-товарищи... Но ни поговорить, ни пожать друг другу руки!

Перед глазами маячила виселица с пятью веревками на одной перекладине...

Предутренняя зорька румянила небо. Дымилась костры, Лопарев не понимал, к чему это.

Чуть в стороне, поближе к плац-кронверку крепости, в плотном кольце жандармов, стояли пятеро: Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев, Каховский и поэт Рылев. Неужели?..

Страпась своей мысли, Лопарев поглядел на перекладину с пятью веревками. Не может быть!..

Генерал-адъютант Чернышев, гарцуя на коне, подал знак, и началась церемония разжалования и чтение приговоров.

Лопарев увидел, как заслуженный герой Отечественной войны, тридцативосьмилетний генерал-майор Сергей Волконский снял с себя сюртук, увешанный боевыми регалиями, и кинул в костер — не хотел, чтобы жандармы сорвали его. Лопарев намеревался сделать то же, что и Волконский, но не успел: жандарм вцепился в воротник, стащил с плеч мундир, швырнул в огонь.

Весь гласис заволокло чадом сжигаемого сукна.

Затем над головами осужденных стали ломать пшпаги.

Чадно и тяжело, тяжело!..

«По высочайшему повелению...»

Зачинался рассвет, но Лопареву казалось, будто над гласисом крепости, над плац-кронверком, где мрачно вырисовывалась виселица, над всем Петербургом с прохладной Невою опускалась долгая ночь, которой никому из них не пережить.

Вечная ночь.

Солдаты били в барабаны. Розовело небо. На золотом шпиле собора вспыхнули золотые лучи...

Не узнавали друг друга в арестантских одеждах.

Желтели на спинах бубновые тузы...

Пятерых построили под перекладной. Над каждым спускалась пеньковая петля. Тех самых, пятерых...

Лопареву хотелось крикнуть, но он не мог вызвать из окаменевшей груди ни малейшего звука.

Когда трое сорвались — Муравьев-Апостол, Рылеев, Каховский, — среди осужденных на каторгу послышались стоны.

Кто-то крикнул:

— Дважды не вешают!

И звонкий голос Рылеева:

— Я счастлив, что дважды за Отечество умираю!

Генерал-адъютант Чернышев гарцевал на коне...

Лопарев не помнил, как отводил его жандарм в Секретный Дом.

Двери тринадцатой камеры захлопнулись, как крышка гроба...

И опять потянулись дни и ночи... Теперь узнику не подавали в окошечко бумагу с гербом и заголовком и голоса призраков не поднимали с постели.

Позднее, когда погнали этапом в Сибирь на каторгу, Лопарев подсчитал, что провел в Секретном Доме после объявления приговора девятьсот девяносто один день!..

Тяжкая, тяжкая ночь легла над Россией. Неужели на веки вечные?

## VII

Лопарев выполз из-под телеги. Вечерело. Солнце закатилось, но было еще светло.

Возле старой изогнувшейся березы, у тлеющего костра, сидела на пне Ефимия, невестка старца, в длинной льняной юбке, закрывающей ноги, в бордовой кофте, с рукавами до запястья, в неизменном черном платке, повязанном до бровей. На коленях у нее лежала раскрытая Библия. У костра возился мальчонка лет пяти, белоголовый, щекастый, в холщовой рубахе до пят. На тагане висел прокоптелый котелок. В трех шагах от костра темно-ло еще одно пепелище, с печуркой, чугунами и глиняными кринками. Поодаль — еще одна телега с поднятыми оглоблями, со сбруей.

Ефимия до того углубилась в чтение Библии, что не слышала, как выполз из своего убежища Лопарев.

Мальчонка вытарашил глаза на незнакомого дядю и заревел, ухватившись за подол матери.

— Барин! — ахнула Ефимия, закрыв Библию и схватив сына на руки.

Лопарев удивился:

— Чего так испугались? Я не зверь.

— Нельзя вам выходить, барин, — промолвила Ефимия, поднимаясь и пятясь к толстой березе. — Батюшка Филарет наказал, чтоб вы таились под телегой.

— Батюшка Филарет? — Лопарев не знал такого.

— Старец общины.

— Тот старик, с которым я разговаривал?

— Если что надо, барин, подайте голос. Я буду всегда тут, поблизости. Вода вон в берестяной посуде возле телеги. Проклещенная и остуженная. Ужин сготовила вам, только... спрячьтесь под телегу.

— От кого мне прятаться? Здесь же нет жандармов или казаков?

— Упаси Бог.

— Чего же мне прятаться?

— Так повелел батюшка Филарет. Чтоб никто из общины не смел зрить вас, разговор вести.

— Почему?

— Верование ваше чуждо. Анчихристово.

— Да ведь вся Русь православная!

— Не вся, не вся! — поспешно открылась Ефимия, прижимая сына лицом к груди. — Есть на святой Руси праведники. Есть! Хоть малым числом, да блюдут святость старой веры.

— Старой веры?

— Аль вы не слыхивали, как нечестивый патриарх Никон совратил церковь с пути истинного? Как он Святое писание извратил да опоганил? Как на Вселенском соборе попрал ногами праведников и самого Аввакума-великомученика да возвел в чин и благолешие еретиков поганых да мздоимцев жадных?

Нет, Лопарев ничего подобного не слышал.

— От него великий грех вышел, от того Никона. Проклят он на веки вечные.

Ефимия тревожно оглянулась. Крутом — ни души. Тихо лопотала старая береза. Поблизости мычала корова — призывно и долго. Где-то в березняке фыркали лошади. Рядом синела тиховодная река.

Лопарев спросил, что за река.

— Ишимом прозывается, — ответила Ефимия.

— И рыбу можно ловить?

— Ловят мужики. Да нету такой рыбы, как в нашем Студеном море. Мы оттуда вышли, с Поморья.

— Это же очень далеко!

— Для сохранения старой веры нету близкой дороги. И в Поморье дошли анчихристовы слуги со своим крестом да с ружьями. Вот и убежали мы общиной в Сибирь.

Лопарев хотел взглянуть на Ишим.

— Нельзя, барин! Нельзя! — перепугалась Ефимия. — Старец разгневется и прогонит. Не гневайте старца! Набирайтесь тела, силы, а потом сами обдумаете, куда уходить. Да и нехристи могут увидеть с того берега.

— Нехристи?

— Дикие киргизы или татары сибирские, не ведаю, — ответила Ефимия. — Они могут и стрелу пустить.

Лопарев спросил, где же люди, старец.

— Вся община на всеобщем моленье, — сообщила Ефимия. — Малые дети спят. Старухи доглядывают за ними. А так все на моленье за лесом. Там у нас часовня поставлена. Люди захоронены, которые померли за зиму и весну. Спрячьтесь, барин! Нельзя так стоять-то. Худо будет. И мне, и вам...

— Что у вас за община такая строгая?

— Филаретовская община, — вздохнула Ефимия. — Погодите, барин, я парнишку отнесу к старухе. Возьмите котелок, ужинайте. Хлеб там лежит. Я скоро вернусь. Не выходите на берег! Упаси Бог.

Лопарев поглядел Ефимии вслед, горько усмехнулся. Вот так вольная волюшка. Что же это за община, если сами себя на каторгу гонят?..

## VIII

Смеркалось. Покатое небо за Ишимом играло зарницей. Поляхнет пламенем и тут же потухнет. Такую же зарницу Лопарев видел в Кронштадте, когда вышел в мичманы гвардейского экипажа и радовался. Чему? Мичманской солености? И вот другая зарница, сибирская, а Лопареву тошно.

Беглый каторжник!..

Велика Русь, а деться некуда. По трактовым дороженькам гремят оковы, а чуть в сторону — темень людская, хоть глаз выколи.

Муторно!..

Ефимии все еще нет. Может, не явится? Лопарев так и не успел разглядеть, какая она. Видел черные молодые глаза, настороженные и цепкие. Чем-то она похожа на его невесту, Ядвигу Менцовскую, только в ином наряде.

Лопарев успел поужинать, но не полез под телегу. Духота. Ночью, должно, разыграется гроза.

Послышались шаги. Мягкие, шуршащие.

— Не спите, барин? — Голос тихий, как шелест листьев на старой березе. — Ужинали?

— Спасибо, Ефимия. Ужинал.

— Тсс! По имени не зови. Если кто услышит — беда мне.

— Как же звать?

— Никак. Нельзя мне вступать в разговор с вами, а... вот пришла. Ну, мой грех, мне и ответ держать. — И, помолчав, сообщила: — Да ночь-то сегодня такая — все на судное моление ушли.

— Судное моление?

— Тсс! Говорите тише, барин. — Ефимия оглянувшись, приглядываясь к лесу: совсем близко фыркнула лошадь. — А мне-то померещилось, будто кто крадется. — И, взглянув на Лопарева, опустила на землю. — Видите, не боюсь, барин. Только если кому скажете, что я говорила с вами, тогда опустят меня в яму.

— В яму?!

— И огнем сожгут, яко еретичку нечестивую.

В сумерках лицо Ефимии казалось белым, особенно зубы, сверкающие, как серебряные подковки. Голос у нее был тихий, но задушевный и тягучий, как смола на пихтах в июле. Ее что-то беспокоило, она хотела что-то сказать и боялась, как бы кто не подслушал. Ее волнение передалось Лопареву.

— Что у вас за община такая страшная? — вполголоса спросил он.

— Ой, страшная, барин! Страшная!

— Не зови меня барином. Какой я барин — колодник.

— Про колодника батюшка Филарет наказал, чтоб я и во сне не обмолвилась.

И, вздрогнув, спросила:

— А какое ваше званье?

— Из дворян. Но лишен судом всех сословных званий и состояния.

— Правда, что сам Филарет из ваших крепостных? Беглый будто?

— Этого я не знаю.

— Он говорил, что из Боровиковой деревни, а деревня ваша. И что ваш дед насмерть прибил отца Филаретова. Правда ли?

— Не слышал. Я мало жил в имении родителей. С детства в Петербурге.

— А в Москве бывали?

— Бывал.

— Ой! А Преображенский монастырь видели?

Нет, Лопарев ничего не знает про такой монастырь.

— А я в том монастыре родилась, — тихо промолвила Ефимия, потупив голову. — Из монастыря того на встречу Наполеона ходила.

— Наполеона?!

— Тсс! Потом скажу. Ой, кабы не крепость Филаретова, поговорили бы мы, побеседовали! Сколь годков не встречалась с человеком с воли!

— Да что же это за крепость, если даже говорить запрещено! Какая же это вера?

— Крепость наша Филаретовская. Как Филипповская. Едный толк был.

И вдруг предупредила:



— Глядите, барин, не назовите «осударя Петра Федоровича» Пугачевым. Батюшка Филарет разгневался!

— Да разве он был государем, Пугачев?

— Был, нет ли, про то не ведаю. Под именем «осударя Петра Федоровича» шел на Москву, чтоб взять престол.

Лопарев слышал в Петербурге, что до казни сам Пугачев заточен был в Кексгольмскую крепость, в отдельную башню, вместе с женою, двумя дочерьми, сыном и еще одной женщиной, которую он именовал «императрицей Екатериной Алексеевной»... В той же «пугачевской» башне много лет спустя заточены были трое из декабристов, которых знал Лопарев: Горбачевский, Бяратинский и Спиридонов.

Пугачева казнили в Москве в 1775 году, а в 1834 году умерла в крепости его сестра, последняя из Пугачевых, про которую потом говорил Пушкину царь Николай Первый...

Из Кексгольмской крепости было только две дороги: либо на виселицу или лобное место, либо на каторгу...

Декабристам вышла каторга.

## IX

Лопарев спросил, что же такое «Филаретовский толк».

— Тсс! Послушать надо. — Ефимия поднялась и обошла вокруг становища, вернулась.

— Толк-то?.. Самый лютый, — начала она. — Выговский Церковный собор порешил, чтоб совершать моления во здравие царя Николая и подать платить, вот и ушел с того собора батюшка Филарет, духовник того собора, а с ним Филипп-строжайший. Филипповцы сожгли себя в избах, на кострах, а Филарет надумал увести общину в Сибирь, в потайное место, чтобы царские слуги рукой не достали.

Ефимия вздохнула.

— Батюшка Филарет — наш старец, духовник. Как он скажет, так и будет. Он всю власть вершит. Казнит и милует. Вся община под его рукой ходит. И стар, и млад.

Ефимия рассказала про обычаи в общине. Без слова старца никто не смеет заговорить с посторонними, никто не смеет назвать старца по имени. Нельзя отлучаться из общины — великий грех. Женщина не смеет подать голос, если мужчина стоит рядом. Нельзя открыть голову, даже в постель ложатся в платках. На духовника женщина не смеет поднять глаз — грех будет. Каждый имеет свою посуду: кружку, ложку, вилку, хлебальную чашку, котелок, черпак, винную посуду и к чужой не смеет прикасаться — тяжкий грех, осквернение. Женщине нельзя садиться за стол с мужчиною. Молитву начинает мужчина. Молитва и крест — на каждом шагу. «Без Бога ни до порога». Если кто увидит, что мужчина целуется с женщиной, немедленно совершается молебствие очищения плоти и духа от нечистой силы, виновников подвергают наказанию. Белица выходит замуж только по указанию старца, духовника.

— На Волге, слышь, приключилась беда, — продолжала Ефимия. — Белица из нашей общины хотела убежать замуж за тамошнего парня из Даниловского толка. Поймали ее и на суд привели. Белица не отреклась. Тогда ее сожгли на костре.

— Это же, это же... преступление! — возмутился Лопарев.

— Тсс, барин! Сама ведаю, да молчу. Куда денешься? Кабы вы знали, как я попала в Филаретовский толк...

— Уйти можно!

— Ой, барин. Куда от петли уйдешь, коль она на шее? Я-то из Федосеевского толка. Московского...

По словам Ефимии, Федосеевский толк возник в 1771 году в Москве во время повальной чумы.

Основатели толка — Федосей Васильев и купец Ковылин — выпросили у правительства землю возле Преображенской заставы и устроили там карантин. Всех, кто бежал из Москвы, задерживали, поясняя беженцам, что чума послана в Москву в наказание за никонианство. Чаны с водою, специально приготовленные, служили для крещения в новую веру. В Москве в ту пору опустело много домов. Федосеевцы подбирали мертвых, а заодно свозили к себе все ценности из опустевших домов: старинные иконы рублевского письма, бархат, парчу, персидские шелка, деньги. Вскоре касса Федосея оказалась настолько богатой, что денег хватило поставить несколько каменных домов со всеми хозяйственными пристройками. При каждом корпусе была сооружена моленная часовня. Городок обнесли высокой стеной и назвали Федосеевским монастырем. Все живущие в монастыре получали особую одежду: мужчины — кафтаны, отороченные черными шкурками, с тремя складками на лифе, застегивающимися на восемь пуговиц, и сапоги на высоких каблуках, женщины — черные плисовые повязки, черные платки и синие сарафаны с золотыми прошивами.

Когда Наполеон подошел к Москве, федосеевцы успели все ценное имущество вывезти во Владимирскую губернию; туда же отправили жителей Преображенского монастыря. Остались только белицы и часть мужчин. Когда Наполеон задержался на Поклонной горе, ожидая представителей первопрестольной градостроительницы, к нему явилась депутация федосеевцев.

— Тогда-то я, барин, и свиделась с Наполеоном, — говорила Ефимия. — В то утро батюшка сказал, чтоб я нарядилась в батистовое платье. Матушка хворала и не могла пойти на встречу. Батюшка мой, Аввакум Данилов, со старцами сотворил подарок Наполеону: быка красного; да еще золото несли на фарфоровом блюде. Мне-то было семь годов, а я все помню.

— Но зачем же быка? — удивился Лопарев.

— Старцы порешили так: бык красный — это будто сама Русь христианская. Вот и повели ее на поклон Наполеону.

Ефимия тихо усмехнулась:

— Утро стояло морозное, ненастное, а мы все шли в нарядах, с песнопениями. Впереди батюшка со старцами, а за ними — большущий красный бык — рога вилами. Того быка я гнала ракитовой веткой. Сама в батистовом платье, с красными лентами в волосах. Нарядная! Так и вижу себя в том платье. Брат мой, Елизар, толковал по-французски. Икону Преображения нес, чтоб передать самому императору.

Встретили нас офицеры. Брат Елизар толкует им: так вот и так, к императору идем, к Наполеону...

Небо прояснилось, солнце показалось. Батюшка мой остановился и молитву сотворил: «Божье дело, говорит, коль само солнышко проглянуло!»

А какое тут «Божье дело», если мы к басурману на поклон шли?

Наполеон встретил нас возле пушек своих на Поклонной горе. И маршалы стояли рядом с ним. Наполеон спросил: «Что за депутация явилась из град Москвы?»

Брат Елизар ответил: «Мы — древние христиане, утесняемые царем и никонианской церковью. Пришли заявить вам, государь император, свою верноподданническую преданность и покорность».

Тут и пали все наши старцы на колени. И меня поставили на колени возле пушки. И страх такой: «А вдруг пальнет пушка и смерть будет?»

Наполеон разгневался, что мало людей пришло, и не от самого царя, не от Кутузова депутация. Слышу: «Кутузов, Кутузов!» А брат Елизар толкует, что Кутузова с нами нету, а вот красного быка привели, мол, возьмите.

Стоим мы на коленях перед пушками, а Наполеон совет держит со своими маршалами и офицерами: как быть? Гнать ли нас аль, может, перебить всех?

Потом опять призвали брата Елизара для разговора. Не ведаю, что за разговор был, только Наполеон смилостивился и принял золото на фарфоровом блюде, и быка того взял.

Внук, как теперь. Наполеона-то. Как он подошел ко мне и в глаза заглянул. Ноги такие толстые у него, как две чурки, и туто обтянутые белыми штанами. Взял меня рукой за подбородок и глядит мне в глаза, что-то спрашивает.

Брат Елизар толкует:

«Привечай, сестрица, императора. Да поясной поклон отбей». А я стою, как деревянная. Чудно! Наполеон-то совсем не страшный. И ногами дрыгает, как юродивый.

Похлопал меня по щеке, а рука у него духмяная.

Брат Елизар потом сказал, будто Наполеон хотел, чтоб я осталась при его свите, да батюшка через Елизара упросил не брать меня, как хворую. Хоть я и не была хвора.

В тот же день войско Наполеона в Москву вошло, а мы вернулись в свой монастырь. И беда пришла: матушка померла!

В монастырь к нам пришли французы. Машины привезли такие, чтоб делать русские деньги. Старцы устроили французам богатое угощенье, и батюшка опять повелел нарядить меня в батистовое платье, хоть в келье лежала матушка покойная.

Где же вера-правда, барин? — вдруг спросила Ефимия, и слезы покатились у нее по щекам. — Зачем старцы шли к басурману Наполеону? Што искали? Зачем приняли французов в монастырь да угощенье им устроили? Кошунство одно, а не верованье!.. Потом я думала: негу веры-правды у федосеевцев, хоть родилась в ихнем монастыре и матушка там захоронена!.. Какая же это вера, коль сами старцы блуд Богом покрывают? Не раз слышала, как на молениях старцы настаивали: «Пусть белицы и бабы балуются и родят младенцев, а потом их убивают. Утонят аль удашат. Младенец будет мучеником и сразу попадет в царствие Божие». Так и делали срамные белицы и бабы. Сколь младенцев утопили в Москве-реке!.. Где же та вера, страх Божий?!

Лопарев не знал того. Спросил, что же было потом с федосеевцами, когда Наполеона прогнали из Москвы.

— Горе было. Стол был, — ответила Ефимия. — Старцев, которые шли на поклон Наполеону, и брата мово Елизара Кутузовы солдаты схватили как изменщиков. Што с ними поделали — не ведаю. Батюшка мой со своими тремя братьями да с братьями Юсковыми в побег ударился, в Поморье, к древним христианам. И меня взял с собой. Долго мы ехали до Поморья. Рухлядь везли всякую и золото... Разбойники напали на нас, дядю Гаврилу убили...

В Поморье, на реке Лексе, встретили нас чуждо и хотели батогами бить да батюшка с братьями Юсковыми откупились подарками. И золотом, и парчой, и бархатом. И меня отец отдал в ихний монастырь.

Тут и началась беда. Новая вера, новые строгости, а я того не ведаю. Что к чему? Понять не умею. Била меня игуменья да приговаривала: «Изыди, сатано, из тела белаго, из сердца несмышленного, из крови ретивой!» А какая может быть кровь ретивая у девчонки по девятому году?

Потом игуменья проведала про мою матушку, што она из княгинь была, рода Дашковых. Возила меня в Москву, чтоб князя Дашковы выкуп богатый дали и меня взяли к себе. Да не вышло так. Князь Дашков глядеть не стал. «Не нашего рода-племени, — сказал, — коль на свет произошла от блудницы!» С тем и выгнал из двора свою.

Помолчав, Ефимия пояснила:

— Это он мою матушку, дочь свою, блудницей величал. Она сама себя

упрятала в монастырь к федосеевцам. Преступила волю родителя — позналась с купеческим сыном Аввакумом Даниловым, моим отцом, и ушла в монастырь к нему. Родитель наложил на нее тяжкое проклятье в церкви, с тем и померла матушка в монастыре. У меня и теперь есть ее иконка, которую она вынесла из родительского дома.

Так было, барин.

Игуменья разгневалась, что не выкупили меня Дапковы. Всю обратную дорогу помыкала, как черничку какую. И ноги мять заставляла, и ночью не спать, пока она спит да нежится. Батюшка мой к той поре помер, я осталась одна на белом свете. Хоть так, хоть эдак, а все иголка без нитки.

Жила я в том монастыре до зрелого девичества. Не знала, какая великая беда грянет!..

От малой беды до большой далеко ли? Рукой подать!..

Так и случилось. Тяжко вспоминать...

Игуменья готовила меня в лекариши-монашки, да налетел черный ястреб — и не стало белицы! — загадочно проговорила Ефимия, к чему-то прислушиваясь.

## Х

Небо перемигивалось звездами. Тишина. Истома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «А-а-а-а! Ма-а-а-гуш-ка-а-а!»

Лопарев поднялся.

— Прячьтесь, барин! Прячьтесь! — прошептала Ефимия. — Это Акулину с младенцем из ямы вытаскивают. На суд поведут.

— На суд? Акулину?

— Тсс, барин! Погубите меня и себя. Спрячьтесь к телеге, Христом-Богом прошу!

Лопарев попятился к телеге и сел. Что еще за Акулина из ямы? Из какой ямы?

Ефимия постояла немного, потом обошла вокруг и только тогда вернулась к Лопареву.

— Страх-то какой, Господи! Всю трясет, — проговорила она, зябко скрепив на груди руки. — Это ее когда из ямы вытаскивали, она успела крикнуть. Потом рот зажали, должно. Помогите ей, Господи, смерть принять легкую! — перекрестилась Ефимия.

Лопарев спросил, кто такая Акулина и за что ей будет смерть.

— Беда приключилась, барин. Младенец у Акулины родился шестипалый. На обеих руках по шесть пальцев.

Лопарев не понимал: при чем же тут Акулина?

— По верованию Филарета, шестипалый от нечистого, — пояснила Ефимия. — Акулина хотела скрыть грех и долго не показывала младенца духовнику, чтоб окрестить. Потом надумала убежать, да поймали и к старцу привели. Тут и грех открылся. Сама-то она красивая, приглядная. Как вышли из Поморья, стала женой Юоскова парня. И вот беда пришла.

— Какая же беда? — не унимался Лопарев. — Мало ли рождается на свет шестипалых.

— Ах, барин! Крепость-то наша какая?! Сказал старец: шестипалый от нечистого, и все уверовали в то. Жалко Акулину-то, да своих рук не подставишь, — горестно молвила Ефимия, глядя в сторону леса. — На свете не успела пожить, первого ребенка народила, и вот — смерть пришла. Еще вчера сготовили место. За лесом, на прогалине, одна береза растет. Вокруг березы наметали большую копну сена да хворостом обложили, чтоб сразу большой огонь занялся.

— Это же, это же... убийство!

Ефимия испуганно откачнулась:

— Не глаголь так! Иисусе, спаси мя!

Лопарев не унимался. Ругал Филаретовский толк и самого Филарета:

— Сам говорил, что от барской крепости бежал! А в какой крепости людей держит!

— Боже мой, Боже мой! Пощадите, барин! Сынок у меня! — взмолилась Ефимия.

— Потому тиран и топчет ногами всех, что каждый думает только о себе, — кипел Лопарев.

— Не так, барин! Не так! От веры, а не от тиранства. Люди-то верят старцу Филарету, что он таинство откроет, спасет от погибели.

— Какое же это спасение? Где? В чем? За шестипалого ребенка на огонь мать ведут!

— Ой, Боже мой! Што я наделала? Зачем сказала?! — опомнилась Ефимия. — Знать, и мне гореть... Аль на тайный спрос поволокут.

Лопарев стиснул голову ладонями, примолк.

И опять в ночи раздался истошный вопль: «Ма-а-ату-у-шка-а-а!» И эхо покатилося по лесу, отдалось по реке и тихо замерло.

Лопарев поднялся, намереваясь пойти на тайное моление общины, чтоб защитить Акулину с младенцем.

Ефимия решительно загородила ему дорогу.

— Али вам жизнь надоела, барин?

— Жизнь каторжника не дорого ценится, Ефимия. Надо спасти Акулину с младенцем.

— Четырем гореть, значит, — скорбно промолвила Ефимия.

— Почему четырем?

— А как же, барин! Одно слово старца — и тебя скрутят и к той березе веревками привяжут. Спина спиной к Акулине с младенцем. Потом старец учинит мне спрос: не вела ли я греховных речений со шепотником с ветра? И я скажу: глаголила, отче. И шестипалый младенец, скажу, не от нечистого народился, а от уродства. И верованье наше лютое, не Божеское, скажу. Тогда старец подымет два перста в небо и завопит: «Еретичка промеж нас, братия!» И тут схватят меня и к той березе веревками притянут.

Ефимия воздела руки к небу:

— Гореть тогда! Четырем гореть!

У Лопарева опустились плечи и ноги будто чутунными стали, с места не сдвинуть. Одному гореть — одна беда. Но четырем!..

— Кабы видели, как жгли себя филипповцы, которые отошли от общины Филаретовой, — продолжала Ефимия. — В срубках сосновых со младенцами, с беллицами, мужики и бабы жгли себя огнем да еще песни пели радостные. И никто не остановил того огня! Никто не остановил смерть! В три ночи погорело более тысячи душ. Гарью обволокло все Поморье.

— О, тьма-тьмущая!..

— Тьма, тьма! — эхом отозвалась Ефимия.

— Такая крепость хуже тюрьмы.

— Хуже, Александра, хуже! — Ефимия тревожно оглянулась и прислушалась. — Прости мою душу грешную. И я так думаю: не от Бога крепость! Сомненья мучают, а исхода не вижу. Сколь верований знала, а все в душе пустошь. Про то никто не ведает. Один Бог да небо ясное. Кабы знал старец, какая смута на душе моей, давно бы не жить мне!

Далеко за Ишимом скрестились белые молнии, и громыгнула гроза глухо, ворчливо.

— Хоть бы дождь пошел да залил бы всю степь, чтоб судный огонь не занялся!

Судный огонь!..

И Лопарев будто вьявь увидел перекладину с пятью веревками на плац-кронверке Петропавловской крепости. Никто не остановил казни в то прозрачное, погожее утро! Ни небо, ни народ, ни царь!..

— Не убивайтесь так-то. Жить надо.

Жить? В такой вот крепости или где-то в Нерчинской каторге, а потом на вечном поселении? Да что же это за жизнь?! Во имя чего такая жизнь?!

Ефимия толковала свое:

— Утре, когда старец заговорит с вами, прикиньтесь хворым да безголовым. Польза будет. Старец скажет мне, чтоб я лечила вас от хвори. Я одна лекариша на всю общину! И травы целебные знаю, и снадобья готовлю. Только бы не возвернулся скоро Мокей, муж мой постылый. Крепость моя горькая и тяжкая!

Лопарев отошел к телеге и сел, беспомощно сторбившись...

Грозовая туча пологом нависла над Ишимом. Сверкали молнии, но дождя не было.

Лопарев вспомнил стихи Кондратия Рылеева:

И беспрерывно гром гремел,  
И ветры в дебрях буживали...

И вот в третий раз над лесом и темной степью пронесся нутряной вопль:

— Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Спа-а-а-си-те-е-е!.. Спа-а-а-си-те-е-е!..

Тревожно заржали лошади и залаяли собаки.

Ефимия отскочила к старой березе и там спряталась.

Лопарев сжался, скрючился в три погибели. Зубы у него мелко и противно постукивали.

Из края в край плескалось:

— Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Ба-а-а-туш-ка-а-а... Спа-а-а-си-те-е-е!..

Судная ночь!..

Лопарев зажал уши ладонями и уполз под телегу.

Под утро он и без притворства захворал.

## XI

...Неделю Акулина с шестипалым младенцем сидела в глубокой яме под строжайшей охраною старцев-пустынников, помощников Филарета.

Раз в сутки в яму подавали кружку воды и ломтик черного хлеба.

Старцы караулили: не явится ли в яму нечистый, чтоб повидать блудницу?

Нечистый так и не явился. Должно, убоаяся праведников-старцев, посвятивших всю свою долгую жизнь Господу Богу и ни разу не осквернивших себя близостью с женщинами.

Акулина знала: ее ждет судное моленье...

День и ночь молилась святым угодникам...

Одному из старцев, Елисею, будто бы привиделось, как среди ночи к яме подполз дым. Откуда бы? Неведомо. Знать, дымом объявился нечистый дух да сиганул в яму к Акулине-блуднице. И она приняла его в тайности, миловалась с ним, окаянная, а узреть тот грех нельзя было: нечистый напустил сон на старцев.

Вся община потом ахнула:

— Гореть, гореть блуднице!

Ларивон, сын Филарета, и кузнец Микула вытащили Акулину из ямы. Ноги у нее до того отекли, что она не могла стоять. Младенец пищал возле ее груди.

Ларивон подтолкнул Акулину:

— Намиловалась с нечистым в яме-то! Ноги не держат, срамница!

— Не было нечистого! Не было! И старцы караулили, — начала было Акулина, но Ларивон прищипнул:

— Молчай! Гореть тебе ноне, ведьма!

И Акулина завопила...

Ларивон зажал ей рот и при помощи Микулы поволок на судное место.

Моленье продолжалось несколько часов. Мужчины стояли на коленях отдаленно от женщин.

Безбородые юнцы и отроки перепугались насмерть, неистово крестясь.

Женщины, особенно старухи, одетые в старинные монашеские платья, какие носили до патриарха Никона, чинно молились, не оглядываясь друг на друга и по сторонам, чтоб нечистый молитву не попутал.

Более шестисот человек старых и малых сомкнулись тесным кольцом вокруг березы.

На самодельном алтаре горели восковые свечи, и старец Филарет читал Писание.

Потом Филаретовы апостолы-пустынники затянули псалмы.

Акулину с младенцем поставили на колени возле березы, и она так же, как и все, истово крестясь, молила Бога о спасении своей грешной души, хотя и сама не ведала, когда и в чем согрешила.

Закончив чтение псалмов, старец Филарет приступил к судному спросу:

— Кайся, грешница! Перед миром древних христиан, какие за веру на смерть идут, на каторгу идут, в Сибирь идут, кайся, — как согрешила со нечистым? В какую ночь явился он к тебе в постель и тело взял твое, поганое, непотребное? Кайся!

Акулина воздела руки к алтарю:

— Не было того, отче! Христом-Богом молюсь — не было! Помыслами чиста, как и душой своей. Михайла, скажи же! Скажи! — просила она мужа Михайлу Юскова, но тот молчал, со страхом глядя на молодую жену: ведьма ведь!

Тогда старец Филарет предупредил:

— Не покаешься во грехе, не будет тебе спасения на том свете! Геенна огненная поглотит тя, яко тварь ползучую!

— Не было нечистого, отче! Не было!

— Нечистый дух у тебя на руках, блудница! О шести пальцах, и рога потом вырастут, и хвост!

Община глухо проворчала: «Грех-то! Грех-то!» И одним духом:

— На огонь блудницу со нечистым духом!

— На огонь!

— В геенну огненную!

Старец Филарет поднял золотой осьмиконечный крест:

— От нечистых помыслов твоих, блудница, на свет народился шестипалый нечистый! Вяжите блудницу! Аминь.

И как ни вошла Акулина, Ларивон с кузнецом Микулой притянули ее веревками к березе.

Шестипалый младенец исходил визгом на руках матери, да никто того визга не слушал: нечистый вопит. Пусть вопит!

С Акулины сорвали платок и одежду. Теперь она предстала перед всеми голая — срамота-то какая! Длинную русую косу обкрутили вокруг березы.

— Ма-а-а-туш-ка-а-а!.. Ба-пош-ка-а!

Ни матушка, ни батюшка не отозвались на вопль. Нет пощады тому, кто согрешил с нечистым и пограл праведную веру.

— Ма-а-а-туш-ка-а-а-а!..

Старец затянул длинный псалом «очищения духа от нечистой силы», и все подхватили пение, часто повторяя:

— Аллилуйя! Аллилуйя!

После слов старца: «Да сгинет нечистая сила!» — Акулина завопила во весь голос, обезумев от страха.

Многие попадали с колен — лишились сил.

Ларивон с Микулой поспешно обложили Акулину с младенцем сеном и хворостом.

Старец поджег сено от свечи.

Сухое сено и хворост моментально вспыхнули. Над темным лесом поднялся столб пламени.

— Ма-а-а-туш-ка-а-а-а!..

Перекрывая вопль Акулины, вся община гаркнула:

— Аллилуйя! Аллилуйя!..

Судное моленье свершилось.

## ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

### I

Белая борода — не снег, а прожитое лихолетье.

Когда-то Филарет Боровиков был таким же молодым, как и беглый каторжник Александр Лопарев. То и разницы: Филарет возрос в барской неволе, а Лопарев — из барского сословия, жил в холе и довольстве.

Филарет перебивался с куска на кусок. Пять дней в неделю гнул хрип на барщине, а барин Лопарев не ведал нужды из-за куска хлеба насущного, ел, что душе нравилось. Службу нес царскую, в море плавал, тешился.

Когда стало невмоготу Филарету Боровикову везти упряжь помещика, он бежал в Оренбургские степи, нашел там пристанище у раскольников-скрытников, куда судьба не свела с Емельяном Пугачевым, который назвал себя «осударем Петром Федоровичем». Помнит Филарет последние слова Пугачева:

— Спи ну я, брат мой во Христе, да не отойду весь на тот свет. И может, Бог даст, из кровушки моей и моих братьев вырастут новые люди, и тогда порубят мечом и выжгут огнем всех царских слуг и насильников! И настанет на святой Руси вольная волюшка!..

Может, далеко еще до вольной волюшки, но вот поднялись же на царя-кровопивца сами дворяне-офицеры. Если бы они кинули народу призывное слово, не устоять бы царю. Рухнул бы трон, а вместе с ним крепостная неволя, и настала бы хорошая жизнь.

Как же поступить с беглым каторжником Лопаревым?

Можно ли приобщить холеного барина к верованию Филаретову? Не поручит ли он крепость?

«Белую кость, как ни прислоняй к мужичьим мослам, а все не выйдет единой кости. Две будет: белая и черная».

Задумался старец Филарет. И так кидал неводом мысли и эдак.

Ночь минула тяжкая, судная. Блудница Акулина сторела, не раскаявшись в грехе. Ладно ли?

«Экая крепость у нечистого, — думал старец. — И огнем не отторгли бабу от него. Как бы худа не было!»

На солнцевсходе старец учинил спрос невестке Ефимии:

— Слыхала вопль блудницы Акулины?

— Слыхала, батюшка.

— И барин слышал?

— Не ведаю, батюшка.

— Где же была? Доглядывала за барином аль нет?

— Барин захворал, должно. Я не посмела спросить. Да и самой страшно было.



Старец недоверчиво покосился на невестку: из веры давно вышла.

У Ефимии что ни погляд, то огонь. Истая искусительница! Глаз черный, скрытный, и душа в туман укутана. Разберись, что у нее прячется за словами и за черными глазами!

Как ни укрошал Ефимию Мокей, сын Филаретов, ничего не достиг. Схватит, бывало, Мокей Ефимию за черную косу, пригнет к земле и лушит как сидорову козу. Ефимия хоть бы раз покорилась. «Убей, ирод, а все равно горлица ястребу не пара».

Горлица ли? Еретичка!

Приметил Филарет: после отъезда Мокея ходоком на Енисей Ефимия будто совращать стала несмышлениша Семена Юскова — безбородого парня. Пустынник Елисей пожаловался: парень испортился, радуется перед образами не от души. Ефимия ходила с ним по степи собирать травы целебные, а может, искушала?

«Ох-хо-хо! Ведьма, ведьма! — кричал старец. — Прогнать бы из общины аль на судное моление выставить».

Но как же быть с барином? Хоть в оковах заявился, а все не мужик, не праведник.

Старец долго стоял возле телеги, под которой скрывался Лопарев, потом позвал:

— Человече! Бог послал утро!

Лопарев выполз из-под телеги, поздоровался со старцем, а сам руки прячет в рукава. Бледный, и глаза впали.

— Али хворь привязалась?

Лопарев пожаловался: и в жар кидает, и в озноб. И голова болит — глаз не поднять, и всего ломит, и в горле сухо — туес воды выпил за ночь, и все мало.

— Бог милостив, — ответил старец. — Лекарша у нас есть. Хоть баба, а толк в знахарстве знает. Бог даст, подымет на ноги. Аминь.

## II

Ефимия только того и ждала: позволения лечить барина, встречаться с ним, изливать душу. Но чтобы старец не заподозрил в дурных помыслах, Ефимия сперва отказалась лечить щепотника: грех ведь, не из нашей веры.

Деверь Ларивон поддержал сноху.

— Праведное слово говорит благостная, — прогудел он себе в рыжую бородицу. — Блудницу огнем сожгли, а щепотника выхаживаем, паки зверя лютого. Отчего так?

Старец стукнул батоном-посохом:

— Молчай, срамное брюхо! Хаживал ли ты, праведник, в цепи закованным по рукам и ногам? Шел ли ты на царя с ружьем? Сиживал ли в каменной крепости? Барин тот попрал барство да дворянство, чтоб свергнуть сатанинский престол со барщиной и крепостной неволей. Слыхивал ли экое? На зуб клал али мимо бороды прошло? Может, тот барин примет нашу веру древних христиан и, как Аввакум-великомученик, пойдет с нами к Беловодьюшку сибирскому. Тогда, Бог даст, отдам ему посох и крест золотой...

Содрогнулась община от подобных намерений духовника, почитаемого не менее самого Иисуса Христа.

Пустынники-верижники толковали и так и сяк. Особенно старался в том пустынник-апостол Елисей.

— Грядет, грядет великая напасть! — вещал Елисей по землянкам, хаживая к верижникам. — Сам духовник в отступ пошел от древней веры — погибель будет. Сам зрил того нечистого, упрятого под Мокеевой телегой. Курищу жрал, и масло по бороде текло. Откель масло? Еретичка Ефимия оскоромилась!

И — пошло, понеслось среди верижников:

— Не зреть нам Беловодьошка!

— Нечистый барин, чай, в церковь поповскую поведет, кукишем креститься заставит.

— Ой, худо! Ой, худо!..

Дошел вопль и до старца Филарета. Сзвал он на тайное моление в свою избу избранных Богом и самими верижниками верных апостолов, и в том числе неистового кривоносого Елисея с гирею на ноге.

Зажгли двенадцать свечей у древних икон, помолились по уставу, расселись вокруг стола духовника, а потом начали разговор.

— Сказывайте волю Исуса, — потребовал старец. — Глаголь, святой Елисей!..

Елисей вышел на середину избы, опустил на колени и, воздев руки к иконам, возопил:

— Сатано округ рыщет — погибели нашей ищет, святейший наш батюшка Филарет! От барина того погибель будет.

— Также. Также. — Филарет помолился. — Глаголь далее.

— Слыхивали: посох духовника обещал щепотнику? — намекнул Елисей и замер, ожидая слов духовника.

Духовник ничего не ответил. Обратился к апостолу Тимофею:

— Сказывай, преблагостный Тимофей. Кто рек при щепотнике Филаретово имя? На чью ладонь положили тайну святого Церковного собора? Чьему имени при щепотнике хваду воздали? Сказывайте!

— Елисей, батюшка Филарет! Он рек имя! Он! — ответил длиннющий апостол Тимофей.

— Бес попутал. Каюсь, батюшка!.. — бухнулся лбом о земляной пол апостол Елисей.

— Тайна на чужой ладони — чья тайна? Сказывайте!

— Июдина, батюшка Филарет.

— Как быть таперича? Гнать ли щепотника со тайною во поле, в сатанинский мир, али у себя оставить да под надзором покедь держать?

Порешили: держать пока под надзором, тем более барин тяжело захворал и, Бог даст... сам преставится на суд всевышнего. Ну а если выживет...

— Не вводи нас в искушение, Господи! — помолился батюшка Филарет со своими апостолами. — Бог послал искушение — Бог даст прозрение. А тебе, святейший апостол Елисей, сказываю: многими скорбьми подобает войти во царство небесное! Если Господь призовет меня — тебе носить посох духовника. Аминь.

Апостол Елисей от такого обещания лишился речи и до того обессилел, что еле выволок ноги из моленной судной избы старца.

Каждый из апостолов невольно подумал: «Настал час для Елисея. Теперь ему надо торопиться аминь отдать. Господи, помилуй раба Божьего!..»

Сам раб Божий едва дополз до своей землянки: хворь будто пристала к старым костям.

Духовник меж тем долго еще после тайного моления со своими апостолами отбивал земные поклоны.

«Смута, смута зреет в общине нашей, Господи! — стонал Филарет, вздрившись на иконы. — От Юсковского становища смута идет; от ехидны Ефимины смрадом тянет! Повергнут, июды, веру древних христиан и распознзутся все по сатанинскому миру, яко поганые крысы по земле. Как единую крепость держать, Господи? Огнем ли жечь еретиков али в реке живьем топить? Еретичку сожгли — во грехе не покаялась. Апостола Митрофана на огонь волокли — глаголае святотатство! Как жить, Господи? Силы нету. Разуменья нету. Праведники во червей обратятся, спаси, Исусе!.. Дай мне силу и просветления Господнего!..»

Ответа не было. Мерцали восковые свечи; тянуло запахом горящего ладана. Старец тяжело поднялся и вышел из моленной избы. Сказал сыну Ларивону, чтоб позвал Ефимию.

— Пусть Марфа во сто глаз зрит за ней да чтоб к Веденейке на дух не пукала. Глядите! — погрозил посохом Ларивону и вышел на берег Ишима, где и дождался невестки, давно подозреваемой в тайном еретичестве и в сговоре со становивцем Юсковых.

Ефимия подошла, и глаза в землю: не ей говорить первое слово. Старец долго молчал, глядел на другой берег Ишима. Вскинул глаза на невестку. Ух, до чего же чернущие глаза у искусительницы! Дна не увидишь, сокровенной тайны на крючок слова не выудишь; хитрость на хитрость метать надо.

— Што барин? — спросил. — Полегчало?

— Худо барину, батюшка, — скорбно ответила Ефимия, глядя себе под ноги. — Огнем-пламенем пышет; реченье бредовое. Взваром травы пою, а более ничего в рот не берет.

Филарет подумал.

— Реченье, глаголешь? Слова слышала?

— Слышала, батюшка. Про восстанье говорит, про расправу царскую. Кровавым венценосцем царя называет.

— Глаголь правду! — насторожился старец. — Что узрлась в землю? Не в ногах правда, на небеси.

Ефимия вскинула глаза на старца — черные-черные и ясные, без единой тучи.

Старец сдался:

— Оно так: царь — кровавый венценосец. Праведное слово барин глаголет. Вразумит Господь — с нами будет. Нашу веру примет. Али не примет?

— Не ведаю, батюшка.

— И то! — хмыкнул старец. — Какая болесть у барина? Не ведаешь?

— По всем приметам тиф или черная холера. При тифе в такой жар кидает болящего...

— Осподи помилуй! — испугался старик и будто ростом стал ниже. — Ежли хворь на общину перекинется — сколь людей сгинет!

— Я сказала Ларивону...

— Ларивону!.. Мне ведать надо, не Ларивону. Господи помилуй, беда грядет! Беда! — Минуту помолчав, собравшись с думами, наказал: — Покель барин хворый — с ним будь неотступно.

— Со щепотником-то! Помилосердствуйте, батюшка!

— Молчай, когда я глагол держу! Не со щепотником, а с болящим без памяти. Неотступно будь с ним. Во общину не хаживай — хворь по праведникам не носи, слышь? Батогами бить буду. И к Марфе глаз не кажи, и к моленной близко не подходи. Ежли барин подымется — моленье будет; грех съем с тебя, и ты очистишься. Еду какую надо — Юсковы подносить будут в твою избу.

У Ефимии будто потемнели глаза.

— Али жалкуешь Юсково становище?

— У меня есть свое становище, батюшка.

— Также. Да в глазах у те узрил сейчас два становища, а понять не могу, которое тебе дороже.

— Всех людей жалею, батюшка...

— Ладно! Сполий мой волю, — отпустил старец невестку и сам подался проведать многочисленных пустынников-верижников с ружьями, без которых немислмо было бы удержать подобную крепость, какую учредили когда-то давно в доброславном Поморье на реках Лексе и Выге.

## III

Щепотник Лопарев седьмые сутки не подымался, то огнем горел и беспрестанно просил воды, то закрывался с голового овчинным тулупом, чтоб согреть зябнущее тело.

Ефимия призвала на помощь все свое знахарство, какое познала белицею в Лексинском монастыре. И настоем трилистника поила, и взваром болотной полыни потчевала, и резун-травою, и корнями вилорога, и горячими бутылками обкладывала бариново тело, чтоб из костей ушла ошуда. А более всего лечила собственным сердцем, неистраченной любовью, обрызганной с девичества горем горьким да вязким.

Ефимия перехитрила-таки дотошливого и никому не верящего старца: не черная холера, не тиф у барина, а просто лихорадка. После голодного и безводного плутания под солнцем по степи, да еще судную ночь слушал, — из памяти камень вышибет, не то что человека.

Знала: и от лихорадки умереть можно, потому и помогала целебными травами, и верила: одолеет худую немочь, подымет мученика на ноги.

Вокруг стана, сооруженного Ларивоном под телегою, — ни единой души ни днем, ни ночью. До того перепугал всех духовник. Ефимии то и надо — побить хоть неделю-две с человеком, не ведавшим тягчайшей крепости духа...

Настала восьмая ночь. Пасмурь навалилась на Приишимскую степь; тучи сплывались на обнимку, и ветер пошумливал шапкою старой березы.

Ефимия долго сидела возле березы у потухшего костра с прокоптелыми котелками. Вечером она потчевала болящего и рада была, что съел кусок пшеничного хлеба из просеянной муки и выпил полкринки молока: для болящего пост — не закон.

«Ноне он в памяти, — подумала Ефимия, зябко кутаясь в теплую шаль с кистями, вывезенную дядей Третьяком из Голландии. — Как спать-то мне рядом с ним под телегой? Али сказать старцу, что болесть уходит?»

Нет, не скажет старцу. Пусть хоть три дня таких же, без крепости духа.

Вынула маленькую иконку из-за пазухи, опустила на колени тут же возле березы и, глядя на восток, помолчилась.

«Спаси меня, Богородица пречистая, — шептала собственную молитву. — Не греховная плоть мучает мя, а сердце тепла ищет; человека ищет; свободы духа ищет. Ведала ли ты, мать Божья, как тяжело жить на белом свете без свободы духа? Знала ли ты оковы без железа, которыми выжившие из ума старцы пеленают души людские? Помоги, мать Божья, скинуть те оковы, от которых дух каменеет и руки на дело не поднимаются! Молю тебя, Господи! Услышь мой вопль и слезы мои высуши в глазах моих. Аминь!»

Такая молитва словно вдохнула в сердце Ефимии решимость и бесстрашие. Спокойно спрятала иконку за пазуху и, оглянувшись, прислушалась. Тихо... Слышно фыркание лошадей, сопение коров в пригоне, да изредка собака взлает.

Тихо...

Облака в обнимку сплываются, а слез-дождя не выжмут, сухие, значит. К погодью.

Опустилась на колени и полезла под телегу, где можно троим спать. Шурша луговым сеном, подползла к болящему, прислушалась к дыханию: неровное, нездоровое. На ощупь дотронулась головы и тогда уже ладонь приложила ко лбу: жар.

Лопарев застонал, переворачиваясь на спину и сбрасывая с себя тулуп.

— Горит, горит... — бормотал он. — Кругом все горит. Ядвига! Именце горит... Воеводство горит...

— Опять Ядвига! — вздохнула Ефимия.

— Вся Россия гореть будет. Будет. Будет. Слышишь, Ядвига?

— Слышу, — ответила Ефимия, приваливаясь на локоть возле него.

Лопарев будто услышал подлинный голос Ядвиги и быстро переспросил:

— Ты слышишь? Да? Слышишь?

— Слышу.

— Ядвига?

— Я здесь...

— О, Господи! — облегченно и радостно заговорил он. Ефимия не успела отпрянуть, как он схватил ее за руки. — Ядвига? Твои руки! Твои! О, Господи! Надо бежать, бежать...

— Лежи, лежи, Александра! Нельзя бежать: жандармы кругом.

— Жандармы?

— Кругом, кругом жандармы, — заторопилась Ефимия, удерживая Лопарева за плечи. — Схватят и в цепи закуют. Душу в цепи закуют, и тогда погибнем.

— Душу?.. — соображал он.

— Самое страшное — душу. Руки и ноги давно закованы, Александра. Цепи на руках и ногах легко носить — ох, как тяжело носить цепи на душе!..

— Понимаю. Понимаю... О, Господи! Как душно... Где мы, Ядвига?

Ефимия не сразу нашлась что ответить.

— Где мы? Где? — требовал Лопарев.

— Мы далеко-далеко, в девятом царстве, — проговорила она, а у самой сердце слезами умылось: как быть, если барин пришел в сознание?

— Не понимаю. Ничего не понимаю. Такая боль в голове!.. О, Господи! Мама!.. Что стало с мамой?.. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Она мне сказала: «Бесы закружили, видно». Нет, не закружили, мама! Не вышло восстание: плечо к плечу не держали. Будет другое время — не устоять престолу. Иначе жить нельзя. Нельзя, нельзя!

— Нельзя, Александра, — подтвердила Ефимия.

— Ты меня звала Сашей, Ядвига. Зови Сашей... Как ты меня нашла?

— Нашла, нашла, — отозвалась со вздохом Ефимия. — Ложись. Нельзя говорить громко... Саша. Нельзя.

Он нашел ее руки и порывисто притянул к себе. Ефимино в жар бросило, когда барин стал целовать их, бормоча что-то, а потом сказал стихами:

Вчера был день разлуки шумной,  
Вчера был Вакха буйный пир,  
При кликах юности безумной,  
При громе чаш, при звуке лир...

Ефимия со слезами слушала его голос и не знала, что же ей делать.

— Клянусь девятью мужами славы, мы еще доживем до славных дней России. Доживем, Ядвига!

— Дай Бог! — тихо промолвила Ефимия.

— Бог? Нет, нет, Ядвига! Ни католический, ни православный не помогут нам. Не помогут. Свободу надо брать своими руками. Да, своими!

Ефимия промолчала.

— Голова... голова... О, Господи!.. — опять застонал Лопарев и опустился на сенное ложе; притих.

Ефимия подождала, пока он уснул, и, не в силах удержать горечь, подступившую к горлу, выбралась на ветер. Хоронясь возле березы, долго-долго плакала. Это была ее последняя ночь «без крепости духа»...

На другой день Ефимия сказала Ларивону, что барину полегчало и он в полной памяти, а потому быть с ним нельзя правоверке. Старец Филарет

вскоре позвал ее в Ларивонову избу, выслушал и тогда разрешил навдываться к барину только днем, с приношением пищи.

На десятый день Лопарев покинул свое убежище, грелся на солнышке и слушал бль старца про поморских праведников.

— Кабы анчихрист не плутал по царствам-государствам, давно бы люд праведный жил во счастье, со Господом Богом, — гудел старец. — Вот мы спасаемся от греховности одной общиной. А крутом как? Соблазн. Испушения. Погань всякая.

Лопарев не сдержался, заметил:

— Спасение для людей — свобода. Без свободы нет жизни человеку, а есть каторга, в цепях или без цепей — какая разница!

— Свобода с блудом бывает, — возразил Филарет. — Дай свободу слабым да не твердым — и в блуде погрязнут, со червями земляными заодно будут.

— Без свободы человек окаменеет, думаю. Нищий духом станет.

Старец поднялся и ушел восвоися...

Ефимия радовалась. Она так и светилась вся, глядя на Лопарева. Это она спасла его от смерти!

И Лопарев сказал:

— Если бы не ты, не жить бы мне.

На что Ефимия тихо ответила:

— Тогда и мне, может, не жить бы, — и тут же ушла — стройная, еще совсем молодая женщина, такая же загадочная и неопределенная, как завтрашний день.

Минуло еще четыре дня, и старец сообщил, что позовет на совет крепчайших пустынников и тогда решат, как поступить с баринном: оставить ли в общине, как пришлого, или прогнать, как цепотника.

«Если прогонят, куда идти? — думал Лопарев. — В городе опознают, схватят, закуют и отправят на каторгу. А в деревню пойти — примут ли? Не лучше ли остаться в общине Филарета? Хоть тьма-тьмушая, но люди надежные, кремневые...

Русь! Какая же ты дремучая и непроглядная! А я-то знал Россию петербургскую, невскую, с выходом в Балтийское море, в Европу просвещенную.

И все-таки надо жить, как сказала Ефимия. Кто знает, может, настанут перемы?»

#### IV

Августовская ночь прояснилась звездами. Играла, нежила. С берегов Ишима тянуло теплой испариной.

Лопарев лежал возле телеги, думал.

Послышался шорох, будто кто полз. Лопарев оглянулся и встретился с черными глазами — Ефимия!

— Тсс! — Ефимия погрозила пальцем: молчи, мол, — явилась тайно от старца. Подползла к телеге и протянула Лопареву бутылку. — Вино возьми.

— Вино?

Угольные глаза приблизились и заискрились, как две падушие звездочки.

— Што глядишь так, Александра? — И голос тихий, мягкий, как безветренная августовская ночь, и такой же таинственный, обещающий.

— Разве у вас пьют вино? — Лопарев взял бутылку из черного стекла, нагретую руками Ефимии.

Пухлые губы усмехнулись.

— Наше вино — не зелье. На ягодах и меде настоящее. Такое вино все пьют, силу набирают. Зелье сатанинское, аль чай кигайский, аль табак бусурманский — того на дух не принимаем. — И, лукаво шурясь, Ефимия поясни-

ла: — Кто пьет чай — спасения не чай; кто табак курит — тот Бога из себя турит; а кто зелье пьет — тот с сатаной беседу ведет. Аль не так?

— Не думал про то, — ответил Лопарев. — Я и чай пил, и трубку курил, и вино пил крымское и заморское. И водку пил.

— Ой, ой, Александра! — пожурила Ефимия, но беззлобно. — А про спасение души думал?

— Думал, когда сидел в Секретном Доме. Вот, думаю, сгноит меня царь-батюшка в камнях, и куда душа моя денется, коль из каменного мешка и щели нет на волю?

— Грешно так глаголеть, — построжела Ефимия. — Потому: душа — не тело. Затворы да стены не удержат.

— Куда же она денется, коль и щели на волю нет? Пробьет камни?

— И камни, и земаю пробьет, если душа живая.

— Может быть. Не думал про то, — уклонился Лопарев.

— А думай, думай, Александра Михайлович! Нонешнюю ночь судьба твоя решается. Жить тебе с общиной аль гнатым быть. Куда уйдешь, скажи? В оковы? Али ждешь милости от царя-сатаны?

Нет, Лопарев не ждет от царя милости. Он его знает. Говорил с ним с глазу на глаз...

— И духовник так сказал пустынноикам: барину от царя милости не будет, а потому спасти надо. Да вот пустынноики...

— Что пустынноики?

— Лютая крепость у них. Ой, лютая! Жен не ведают, потому, говорят, как Ева совратила Адама и со змеем-сатаной позналась, значит, и все жены сатану в себе носят. Они бы всех женщин огнем сожгли.

— Ну а матерей своих тоже пожгли бы?

— Дай волю — пожгли бы. Лютые, лютые старцы! В общине проживают, как истые праведники. Есть которые с веригами и во власяницах.

— Это еще что такое?

— Вериги? Тяжесть на теле. Которые таскают ружья и спят с ружьями или железо с шпашами, чтоб тело кололо. А один раб Божий пудовые чурки повешал на себя и таскает их, мучает плоть, чтоб искусу не поддаться.

Власяницы вьжут из конского волоса. Рубаха такая. Надевают на голое тело. Один тут старец есть, Елисей, самый злоющий; он двадцать лет носит власяницу и ни разу, говорят, не сымал. Тело у него все в стружьях и рубцах. А на правую ногу чугунную гирию привязал, чтоб сатана не утащил к соблазну, когда глаза спят.

— Разве у него только глаза спят?

— Глаголет так. Телу во власянице не уснуть. Я спытала. Ой, не дай Бог повторя!..

— Зачем же тогда надела?

Ефимия оглянулась, взяла Лопарева за руку:

— А ты сам себя заковал в кандалы?

— Со мною разговор был малый: каторжник...

— И то! А меня возведи в еретички. Потом скажу, Александра, только не уходи из общины. Гнать будут — не уходи. Скажи, что примешь веру Филаретову. И я помогу тебе. Пустынноики-апостолы, слышь, собрались у старца на тайную вечерю и в один голос трубят, чтоб прогнать тебя, яко нечестивца. Боятся, как бы старец не отдал потом тебе пастырский посох и крест золотой.

— К чему мне посох и крест? — удивился Лопарев.

— Ой, ой! Сила в них великая, Александра. Тогда бы ты стал духовником общины, как теперь Филарет. И тьма-тьмуцающая спила бы в тартарары.

Черные глаза смотрели в упор, настойчиво, призывно, трепетно.

Лопарев смутился и опустил голову: не выдержал натиска.

— Красивый ты, Александра Михайлович, — чуть в нос промолвила

Ефимия и опять взяла за руку. — Когда ты в беспамятстве лежал под телегой в лихорадке, я, грешница, трижды побывала у тебя в гостях.

— У меня?! — Лопарев почувствовал, как пламя кинулось ему в лицо.

— Тсс! Где же еще? Рядом с тобой побывала и тулупом тебя кутала, а ты все зяб и звал Кондратия. Дружок твой аль брат?

— Брат по восстанию.

— В каторгу пошел?

— Повешен.

— Помилуй его душу, Господи, и отверзни пред ним врата Господни! — помолилась Ефимия, и звезды ее глаз будто потухли.

Помолчав, спросила:

— Еще глаголае про кобылицу с жеребенком, какие с тобой по степи шли. Может, привиделась кобылица-то?

Нет, Лопарев уверен, что кобылица с жеребенком шла и потом орел налетел.

— Знать, знамение Господне! Чтоб не сгил в степи и звери не рвали твоё тело, Господь послал кобылицу с жеребенком. Знамение, знамение!

Лопарев не верил, конечно, что Бог послал ему знамение, но не стал разубеждать Ефимию. К чему?

— Раз ночью, — продолжала Ефимия, — когда я крадучись пролезла к тебе, ты в беспамятстве звал мать. И я молила здравия твоей матушке.

Лопарев хотел поблагодарить, но от волнения ничего не мог сказать.

— А вот тут, где сейчас сидишь, на седьму ночь, помню, подошла проведать тебя, а ты... горько так плачешь. Слышу. «Ядвига! Ядвига!» И про Варшаву-город, и про какого-то Никиту. Не ведаю. — И тихо спросила: — Ядвига — жена твоя?

Лопарев поежился:

— Невеста была. Да поругались с ней, еще до восстания.

— Из-за чего поругались? — допытывалась Ефимия.

Лопарев усмехнулся:

— Веру отказалась менять.

— Веру?! Какая же у ней вера?

— Католическая. Римская.

— Ой, ой! Бесовская. Тричесному кресту молятся и деве Марии, а ведь Христос — спаситель и Бог наш. Ладно, што поругался с ней, беда была бы. Ой, беда! От христианства уйти, как на огне стореть. Забудь ее, Ядвигу-то. Из сердца, из души выкинь, чтоб и во сне не являлась. Я еще подумала...

Послышался старческий кашель Филарета. Ефимию как ветром сдуло...

## V

Мелководная река воркует, журчит, будто сказку бормочет...

Бурная — камни перекатывает, с ног сшибает. Не река — кипень студеная. Кипенью начал свою жизнь род Боровниковых...

Сам Филарет в молодые годы баловался силушкой, сноровкой, смелостью и удальо. Емельян Пугачев наградил Филарета кривой турецкой пашкой и четырехфунтовым золотым крестом, снятым с какого-то важного Божьего пастьря.

Осенья себя двоеперстием, Филарет кидался в самую гущу битвы и рубил, рубил анчихристов во имя вольной волюшки!

Не раз Емельян говорил Филарету:

— Помолимся, брат, чтобы укрепить дух и побить ворогов-супостатов, опеленавших Русь железом. Народ в ярме, а бары в золоте да в холе. Нашей кровушкой питаются, а мы слезами исходим.

И они молились. Плечом к плечу. А потом брались за пиццали, пашки, за



деревянные рогатины с железными наконечниками и билась с царским войском до последнего вздоха.

Не одолели крепость царскую и боярскую — силы не хватило...

Емельяна упрятали в железную клетку и повезли на казнь; Филарету удалось бежать в Поморье, где он впоследствии утвердил свою крепость веры.

С Поморья общино бежали в Сибирь...

И вот встреча с беглым каторжником, баринном...

«Чем же не потрафил царь-батюшка барину? Чего не поделили? Холопов аль добычи и власти?» — думал Филарет.

Он подошел к пепелищу — в белых холщовых штанах и в продегтяренных поморских мокроступах на босу ногу, опираясь на высокий посох с золотым набалдашником.

Огляделся.

Золотой крест тускло поблескивал.

Лопарев впервые увидел старца-духовника такого вот торжественного, важного, как сама вечность.

Минуты три старец к чему-то приглядывался, принюхивался, поводя головою.

«Спутнул, должно, ведьму Ефимию, — подумал старец, видя, как барин испуганно сторбялся возле колеса телеги. — Ох, искусьительница! Как змея, явится и, как змея, уползет — следа не сыщешь».

Тяжко вздохнул. Грех, грех!

Поверх белой из тонкого холста длиннополой рубахи опоясан широким кожаным поясом со множеством кармашков, где старец хранил часть золотой казны общины.

Дорога дальняя и золота у общины немало, а живут своими харчами. И на Волге урожай вырастили, и вот на Ишиме соберут урожай, а золото тратят в крайнем случае.

Шурша крылами, на старца налетела летучая мышь и прицепилась к белой рубахе.

— Изыди, тварь!

Постоял возле пепелища, прислушался к чему-то.

— Не спишь, Александра?

— Не сплю, отец.

— Ишь, бормочет Ишим, а ветру нет.

Подошел ближе, поглядел на Лопарева, вздохнул:

— Пустынники порешили, Александра, прогнать тебя из общины, чтоб не порушилась крепость старой веры. Жалкую вот, куда пойдешь. В чепи али в землю?

Лопарев не знал, что ответить.

— Также было со мной, когда бежал я от висельников. Войско наше били, в чепи заковали. А я ушел, Господи помилуй. И познал лютость людскую. О трех деревнях гнатым был, да не изловлен. Голодом маялся и холодом, покуда пустынник не спас мя.

Стукнул посохом, вознегодовал:

— Спасен был! А ты вот гоню на погибель. Ладно ли? В оковы гоню, к еретикам, собакам нечистым! Ох-хо-хо!

Лопарев ничего не ответил: Ефимия научила не говорить лишнего, а больше слушать старца.

— Молчишь? И то! Судишь, должно, старца Филарета.

— За что судить, отец? Поступайте по вашей вере.

— Пустынники насаждают на меня! Пустынники! Погоди уж, Александра. Хвалу Богу воздав, аз же и благодать будет. Где та благодать, спросишь. Погоди уж. Скажу.

Филарет опустил на лагун с водой, хрустнув хрящами.

— Пустынники глаголют: вера твоя еретичная, а сам ты из барского словоя, чуждый общине. Тако ли есть? Какое твое барство?

— Теперь я каторжанин.

— Ведомо, ведомо! Сам кинул чеши в Ишим-реку. И ты закинь свое барство да дворянство на дно реки текучей, и Бог примет тя, и благодать будет. Скажу про общину. Не ведаем мы оков, не знаем сатанинских печатей и списков, какие хотели завести на нас на Волге и в Перми-городе. Мучили нас стражники, да урядники, да попы бесноватые, чтоб мы отрешились от старой веры. Тогда сказали мы: в срубях огнем себя пожжем, а веры щепотной не примем и царю молитву не воздадим. Сказано бо: и паки пойте в печь идущие!

Старец торжественно перекрестился.

— Ведаешь ли ты, Александра, какой грех творят поганые попы?

Лопарев того не знает.

— Я морскому делу обучался, отец.

— Потому и глаголю с тобой, что ты, под Богом ходючи, Бога не ведал, зело не искушен.

— Не искушен, — признался Лопарев.

— В Писании сказано: падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потекут жесточае. И то! Грады от Бога отступились, погрязли в блуде да еретичестве, оттого и погибель будет! Спасутся истинно верующие. Вот и блудом мы старую веру. И сказано: своего врага возлюби, а не Божьего, сиречь еретика и наветника. С еретиком мир какой, Александра? Ехидна и погибель! Еретика не исправишь, а себе язвы в душу примешь. Еретиков жечь надо!..

Лопарев слушал, присматривался к старцу. Такого Филарета он еще не знал. Неистового, убежденного, непреклонного и уверенного в своей истинной вере-правде.

— Примешь ли ты, Александра, крепость старой веры?

Лопарев содрогнулся. Ему было почудилось, что в ночи опять раздался вопль Акулины...

— Не срыгнешь ли? — спрашивал старец. — Али, может, к царю да к барам-крепостникам на поклон поволокешь нас, праведников?

— Не будет того, отец, — ответил Лопарев. — С вами хоть на край света пойду, если не изловят жандармы.

— Община укроет. По нашей вере так: хочешь помилованному быти — сам также милуй; хочешь почтен быти — почитай другога. Богатому поклонись в пояс, а нищему — в землю. Алчущего — накорми, жаждущего — напои, нагого — одень. Бо се есть Божья любовь, Александра! Блудницу — багогом гони, лужи, бо се есть бесовская любовь. Хвально так-то жить! Хвально!

Передохнув, старец спросил:

— Читал ли ты, Александра, Писание по старым книгам?

— Не читал, отец.

— Читать будешь, познаешь веру. Научу тя молениям нашим, погодн. Да вот пустынники глаголют, будто глазами зрили, как тебя сатано подвел к ставовищу. Скажи, как дошел до нас?

Лопарев вспомнил, как Ефимия сказала ему про знамение...

— Если бы Бог не послал знамение, не дошел бы до вас, отец.

— Знамение?! — Старец вздрогнул от такого слова. — Сказывай, сказывай, человек!..

— Три ночи и три дня кружился я по стене, отец. Иду, иду, а выхожу на то же место. Думал, погибну так. Тут услышал я голос: «Мичман Лопарев!» Гланул вокруг — никого нету. А потом вижу — кобылица подошла ко мне с жеребенком, хромая на переднюю ногу. Откуда взялась? Не знаю. Хотел изловить ее — не далась. Побежала степью, и я за ней. Так и пошли мы.

И тогда воспрял духом: не один, значит, в пустыне. А ночью увидел зарево огня. Так было, отец. Где та кобылица с жеребенком, не знаю.

Старец поднялся и воздел руки к небу:

— Прости мя, Господи, чадо неразумное, в седых власах пребывающее! Как я того не уразумел, Господи! Знамение было, знамение!..

И упал на колени.

— Прости мя, раб Божий, за слепоту мою, коль не уразумел того.

Лопарев не знал, что делать. Старец молится на него и просит прощения.

— Отец, отец, что вы так, — бормотал Лопарев. — Может, то не знамение было, а показалось мне...

Старец замахал руками:

— Молчай, молчай! Не кощунствуй! Знамение было — радость правоверцам! Аллилуйю воспоем, аллилуйю!.. Кобылица та, хромяя, с перебитой ногой, к табуну нашему прибилась, и жеребенок с ней, слышь. Молосный, гнеденький, и спина поранена у того жеребенка. Вот оно диво дивное, Господи! Бог вразумил мя сказать мужикам, чтоб кобылицу не убивали. Жива, жива!

— Я на нее могу посмотреть?

— Погоди ужо. Погоди, Александра. Диво дивное свершилось, а тут старцы-пустынники, какие под именем Христа-спасителя ходят, ересь на меня пустили, собакины дети! Ишь что удумали! Гнать тя батогами, грязью, яко еретика-щепотника! Верижников подбили на то, слышь. Ах, паскудники, псы вонючие! Погоди ужо, я того апостола Елисея крестом огненным заставаю молиться, и аллилуйю воспоем ужо!

Лопарев догадался: какому-то «апостолу» Елисею — гореть на кресте...

— Пустынники ведь не знали про знамение.

— Молчай, молчай, Александра! Не вводи во искушение, бо сам под Божьим знаменем живешь, яко младенец у титьки матери! Погоди ужо. Дай подумать.

И старец Филарет погрузился в думу.

Лопареву стало жутковато: что-то надумает Филарет. Если бы знал, как обернется совет Ефимии, никогда бы не сказал. Чего доброго, человека сожгут да еще и аллилуйю петь заставят!

— Возлюбил тя, Александра, — начал старец. — Яко сына родного Мокее, какой на Енисей-реку ушел со товарищами. Плоть к плоти приму ты в общину, потому — благодать Божью принес ты всем нам. Слава Господу! Апостолы порешили гнать тебя батогами да навозом и грязью, слышь! Погоди ужо! Познают батоги!

Перекрестился, спросил:

— Окреп ли телом, Александра?

— Окреп, отец.

— Можешь ли пройти версты три али четыре?

— Пройду, отец.

— Ладно. Слушай тогда. Восхода солнцаждать нельзя, потому как апостолов надо потрясти! Также надо. Ох, надо!.. Ожирели, собакины дети. Придут гнать батогами, а тебя нету. Тут я скажу им, треклятым, как они посрамили знамение Господне и узрили нечистого чрез дурные помыслы свои. Скажу-тко, скажу!

Старец погрозил посохом.

— Надумал так, Александра: подьму сейчас Ларивона, и он поведет тебя, сын мой, версты за три к лесу, и ты там спрячешься. Пять дней поживешь там до субботнего моления. В субботу явимся к тебе всей общиной, с песнопениями, со иконами древними и кобылицу ту приведем с жеребенком, слышь. И ты выйдешь из леса, яко праведник Иисуса, и воспоем аллилуйю!

Лопарев ничуть не обрадовался такому торжественному вступлению в общину, тем более если кого-то сожгут.

— Не надо никого сжигать, — попросил Лопарев.

Старец пристально поглядел на него.

— До субботы пять дней, человече. Успеешь обдумать всю свою жизнь от истока до устья. Коль порешишь быть с нами, выйдешь к общине, и служба будет. Не порешишь — ступай себе с миром. Хоть на восток, хоть на запад.

Лопареву ничего другого не оставалось, как принять условия старца.

— Аминь тогда. Стань на колени, благословлю.

Лопарев опустился на колени.

— Теперь пойду будить Ларивона. Хлеба возьмет тебе, кружку там, ба-лажку для воды, серных спичек, чтобы огонь мог добыть, топор, чтоб в лесу жить.

Старец поднялся, опираясь на посох, постоял некоторое время, глядя на Ишним, пробормотал что-то себе под нос про бесноватых верижников и ушел, шаркая мокроступами.

Послышался подозрительный шорох. Лопарев оглянулся. Ефимия!

— Тсс! Все слышала, знаю, — промолвила полуночница, горячо схватившись за руку Лопарева. — Ой, хорошо сказал про знамение-то!

— Не было никакого знаменья, — вырвалось у Лопарева.

— Было, было! — шептала Ефимия. — Верить надо, Александра, коль под Богом ходишь.

— А потом Елисея на костре сожгут?

— Елисея-апостола?! Ой, кабы сожгли! Не старец, а лешак, чудовище по-морское. Он бы тебя первый батогом ударил по голове, и ногами бы топтал, и грязью бы кидал! Кого жалеть-то! Не пустынный, а ехидна треглавая! Слушай, Александра, не думай от общины уйти — сгинешь. На каторге али в цепях. В общине твое спасение. Не один Филарет возлюбил тебя, слышь. Идти мне надо. Может, позовет старец. Не уходи же, не уходи! Я в той роще найду тебя. Жди меня, жди!

Лопарев не успел собраться с духом, как Ефимия уползла. До чего же она проворная, бесстрашная и ловкая! Что сказал бы старец, если бы застал сноху возле телеги, жарко пожимающую руку будущему праведнику Иисуса?

## VI

Явился Ларивон. Молчаливый, бородатый, с мешком и топором на левом плече и с толстущим батогом в правой руке. Поглядел на барина, как гора на мышь, прогудел в бороду:

— Пшли, што ль, барин.

Ночь играла ясными звездами. Возле берега шумели рябиновые заросли. Ларивон выпагивал впереди, что медведь, переваливаясь с плеча на плечо, и ни разу не споткнувшись, и не оглядываясь на неловкого барина.

Шли часа три, не менее.

Слева — пологий берег Ишима, безмолвная степь, а справа по берегу — травы по пояс. Шелестящие, поющие. Из-под ног вылетали потревоженные перепелки. Впереди темнел лес.

Не доходя до леса, Ларивон остановился.

— Тамо-ко хоронись. Батюшка так велел, — указал Ларивон, сбросив в траву мешок и топор.

— Тут нет никакой деревни близко?

— Не хаживал в деревни. Не ведаю.

— А тракт далеко?

— Не ведаю.

Повернулся и пошел в обратную сторону.

Лопарев сел возле мешка, задумался. Потом лег на спину и долго глядел в небо. Такое ли оно в эту ночь над Петербургом или Орлом?

«Навряд ли я когда-нибудь увижу петербургское или орловское небо! Туда мне дороги заказаны. Одна дорога открыта: на каторгу!»

Но если он сам явится к стражникам, то наверняка его посадят в тюрьму и пошлют запрос царю: как поступить с ним после побега?

«Царь еще подумает, что я собирался бежать в Варшаву, и опять упрячет в Секретный Дом».

Ну, нет! Лучше умереть здесь, в степи, чем еще раз быть узником Секретного Дома.

## ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ

### I

Кудрявые темные березы, отчего вы так печально шумите пышной листвою? Неумные птицы, о чем вы беспрестанно поете в березовой роще? Муторно на душе Лопарева — места себе не находит в тенистой роще.

Плещется тиховодный синий Ишим.

Минули сутки, вторые. На исходе третья ночь. Над Ишимом полыхает предупреждения зарница. Костер то потухает, покрываясь сединою пепла, то мигает Лопареву кроваво-красными глазами углей.

Кого и чего он ждет, Александр Лопарев? Ефимию? К чему она ему, жена сына Филаретова, возросшая в двух раскольничьих монастырях, повидавшая Наполеона? Или он ждет, когда к нему явится община с молитвами, песнопениями, с иконами и позовет его к себе как Иисусова праведника?

«Не могу я принять дикарское верованье, — думает Лопарев. — Как жить с ними, если они сами себя сжигают во имя святости старой веры? И что в той вере? Заблуждения, мрак?..»

Надо встать и уйти, пока не поздно.

«Но куда уйти? Куда? — в тысячный раз спрашивает себя Лопарев. — Велика ты, Русь, а деться некуда! Пустыня ты под тиранией венценоспа, ох, как пустыня! Одни сами себя гонят в безлюдье, куда-то в дебри на Енисей, другие идут на каторгу, третьи в поте лица своего добывают хлеб насущный и кормят царскую челядь, а сами живут впроголодь. И терпят, терпят! Доколе же ходить в ярме? Доколе?»

### II

Никуда не ушел Лопарев. Остался ждать Ефимию. Она же обещала найти его.

Утром Лопарев искупался в Ишиму. Дважды переплыл реку, набираясь остуды тела, а в сущности — хотел успокоить мятущиеся чувства.

Солнце повернуло на полдень. День выдался несносно жаркий и душный. Лопарев то встанет, то сядет, то выйдет из рощи в степь и ждет, ждет, когда же наконец появится Ефимия? А ее все нет и нет.

«Она придет. Не может быть, чтобы она забыла о своем обещании. Если только в яму посадили, тогда...»

Лопареву стало жутко. Он не может покинуть эту степь, не повидав Ефимию.

Порхают птицы, беззаботные, веселье, как будто вся березовая роща отдана им на вечную радость.

В зените золотистое облако.

И тишина, тишина. Перводанная...

Когда совсем не ждал, — голос:

— Ты ли здесь, праведник Иисуса?

Лопарев круто обернулся на голос и понятился. Ефимия ли то?

— Чего так испугался? — А голос, как мед текучий, и сладкий, и прият-

ный, и до того липкий, что Лопарев не в силах оторвать взгляда от Ефимии. Это, конечно, она. Но как же она преобразилась! В синем нарядном сарафане с красной прошвой посередине, с золотой вышивкой по подолу. Под сарафаном багистовая кофта с вышивкой по рукавам, застегнутая на перламутровые пуговицы. Без привычного черного платка. Чудно! Кудрявищиеся на висках черные волосы схвачены красною лентой у затылка, опущены по спине — струистые, чуть ниже плеч. Совсем не черница и не староверка. Лопарев ни разу не видел ее без платка и в такой богатой одежде. И в самом деле — княгинюшка.

Ефимия держится прямо, вызывающе. Глаза большие, блестящие, как черные камушки в родниковой воде, с лукавым прищуром. В припухлых, капризно вычерченных губах играет усмешка. Виднеется полоска широких зубов. Белых-белых. На подбородке ямочка. Такие же ямочки на пунцовых щеках, будто кто надавил пальцами. В руках Ефимии — маленькая иконка Богородицы, отделанная сканью и золотом. Ноги в шагреневых ботинках с высокими голенищами, застегнутыми на пуговки.

Лопарев оробел, утратил дар речи и чувствовал, как прямо в жилы ему льется кипяток из ее черных глаз. На вид совсем юная и хрупкая. Но если бы он мог знать, какая сила сокрыта в ее красивом и спокойном теле!..

За спиною Ефимии толпились толстые березы, выросшие из одного корня.

Лопарев навсегда запомнил Ефимию на фоне трех берез.

— Ждал меня? — Ефимия поклонилась в пояс, прижимая иконку к ложбине между грудей.

Лопарев кинулся к Ефимии, но она дико отскочила.

— Погоди, Александра. Не подходи, — проговорила она и поспешно перекрестилась. — Возьми палку и бей. Луши меня, луши!

Лопарев вытаращил глаза:

— Что ты, Ефимия?

— Али забыл, как толковал тебе старец Филарет?

Лопарев, конечно, забыл.

— «Алчущего накорми, жаждущего напои... бо се есть Божья любовь, Александра! Блудницу батогом гони, луши, бо се есть бесовская любовь», — напомнила Ефимия слова старца и опустила на колени.

— И я пришла, видишь. В наряде пришла фелосеевском, какой дядя мой, Третьяк, сохранил от покойной матушки. Если бы старец узрил меня в этом наряде, на огонь поволок бы, как ту Акулину. Да не все, Александра, под волей старца. С общиною в Сибирь идет мой дядя Третьяк. Потому: третьим сыном был после мово покойного батюшки. Кабы не дядя Третьяк да не Юсковы, спила бы я. Убил бы меня зверь окаянный, Мокей Филаретыч, крепость моя страшная! Прости меня, Богородица пречистая.

Ефимия истово перекрестилась.

— В Писании сказано: жена да убьют мужа своего. Рабыней станет по гроб жизни. Нет! Клянусь светлым ликом материной иконки, не стала я рабою, не стала я женою Мокея, хоть и повязала меня судьба с ним. И никогда не буду ничьей рабыней. Родилась я на свет вольной птицей, и только сама черная смерть, худая немочь, укоротит мой дух и спеленает меня по рукам и ногам.

Ефимия трижды поцеловала иконку.

— К тебе пришла, Александра! Видишь какая. Смотри же, смотри блудницу, праведник.

— Я не праведник, Ефимия.

— Не говори так! Ты — праведник, коль на восстание пошел супротив царя и войска сатанинского. Не убоялся. Кланяюсь тебе в землю пред чистым небом, пред ясным солнышком. И как на небе нет сейчас черной тучи, так и в моем сердце нету тьмы, а есть радость зрить тебя, кандальника. Жаж-

дет душа моя света, Александра. Не блудница я, нет! Не верь наветам, если кто чернить будет меня. Душа моя измучилась, а радости не видела. Правду говорю. Нет в моем сердце жалости к Мокею Филаретычу, хоть и спас он меня от лютотой стражи собора. Стала я невольницей, а женою никогда не была, хоть породила сына. И горько мне, и тяжко!.. Не жить мне с Мокеем в мире и согласии, как не живет кровожадный коршун с малою горлинкой. Клянусь святым нательным крестом!..

Помни же, — продолжала Ефимия, — отвергаю я Писание, где сказано, что жена — раба мужа своего. Не рабою, а равною быть хочу. Любви ищю, а не блуда. Такою вели меня на суд собора, такой я пошла в Сибирь далекую. Старец говорит, что я еретичка, а по знахарству — ведьма. Да неправда то! Бог не заповедовал держать душу в цепях, а сердце в холоде. Из сердца идут добрые и злые помыслы. К тебе дурных помыслов не имею, видит Бог и небо. Пришла, чтоб узнать тебя и — если ты примешь — отдать свое сердце.

Ефимия поднялась и, выпрямившись, спросила в третий раз:

— Ждал меня?

— Ждал, Ефимия, ждал!

— Блудницу ждал?

— Спасительницу свою ждал.

— погоди. Я не святая, Александра. И не праведница. Но если бы ты позвал меня на смертный бой с царским войском, я бы с радостью пошла на смерть. Такую ты ждал три дня и три ночи?

— Такую, Ефимия!

— погоди, погоди, Александра. Ты еще не познал меня и не ведаешь, как я стала еретичкой и Мокей спас меня. Скажу потом. И если примешь меня после того, я готова тогда хоть на кресте гореть.

— Зачем гореть?! Довольно одной несчастной Акулины!

— Ой, ой, какой праведник! Бог бы услышал твои слова, Александра, да вразумил бы темный люд. Радость была бы.

— Будет радость, Ефимия. Будет еще!

— И я помогу тебе, Александра. Слушай, у меня есть пачпорт пустынника, с каким праведники хаживают по земле. Старец Амвросий Лексинский, пещерник, дал мне тот пачпорт, чтоб я передала его праведному человеку. Я шесть годов хранила тот пачпорт втайности. Шесть годов. И вот настал час, встретила такого человека. Спаси нас, Богородица!..

### III

Ефимия достала из-за пазухи что-то завернутое в тряпицу, потом оглянулась, отошла к березе и повесила сверточек на сук, промолвив:

— В тряпице пачпорт пустынника, Александра. Да не забывай: ты его снял с березы. Так и старцу скажи. Пустынники хотели тебя батогами бить и грязью кидать, а ты явишься в общину с пачпортом праведника Иисова. Не знаешь, как старец ругал пустынников и посохом душил? Пришли гнать тебя, а старец их встрел проклятием. «Иудины дети, собаки нечистые, знамение Господне явилось, да вы ничего не зрили», — кричал на них. Потом Елисею тайный спрос учинили как нечестивцу грязному. И висеть он будет на кресте до того моления, покуда ты не явишься в общину. Так порешил тайный совет апостолов-пустынников. А ты явишься с пачпортом. Сам старец упадет тебе в ноги, слышь. Не робей. Так будет, чтоб потом прозрели.

Лопарев слушал и ничего не понимал. Елисей висит на кресте? И он должен явиться с «пачпортом пустынника»? К чему ему пачпорт? Но Ефимия твердит: должен явиться с пачпортом пустынника, и тогда он будет свободен:

общинные моления для него не обязательны, он исповедует собственное раденье. Он может учить людей.

— Чему учить, Ефимия?

— Грамоте искушен, поди. Мало ли в общине малолетних отроков, не умеющих читать и писать? Подвиг то, Александра, коль человек несет людям прозрение от тьмы. Я хотела обучать грамоте, да Мокей чуть не душил меня, яко бесноватую блудницу. А у тебя будет защита — пачпорт пустытника. Скажешь, видение было тебе обучать малолетних грамоте, и никто перечить не станет. Потому: твоими устами глаголет сам Спаситель, скажут.

Вот об этом Лопарев не подумал. В самом деле, если он будет обучать грамоте ребятишек, то не откажется ли они потом от дикой веры, гонящей их на огонь и в пустыню.

— Пачпорт возьмешь, когда я уйду. Да не забудь: двосперстием крестись. Иудину щепоть из головы выкинь, из сердца вынь.

Лопарев подумал: не все ли равно Богу, как ему молятся, тремя или двумя перстами?

Потом Ефимия сказала, что сходит за своими узлами, которые она спрятала в роще, перед тем как выйти к нему. В одном узле была ее староверческая одежда: черная юбка из грубой ткани, холстяная кофта и чирки-мокроступы из яловой прудятяренной кожи. В другом узле снесь: отварные куры, каравай свежего пшеничного хлеба, вино и широг с рыбой.

Лопарев приволок подгнившую на корню березу, собрал хворосту и развел костер. Пытливые глаза Ефимии неотступно следили за каждым его движением.

Ефимия собрала обед и отошла к березе.

— Разве ты не будешь со мной обедать?

— Обедай, Александра. Я не голодна.

— И я не голоден.

— Обедай. Я же не могу обедать с мужчиною. Так заведено у правоверцев.

— Это же дикий обычай, Ефимия. Разве мужчина и женщина не едины во всем?

Ефимия ответила:

— Едины духом, не телом.

— Бог сотворил Еву из ребра Адама.

— Не верю в то, — не моргнув глазом, ответила Ефимия. Она стояла возле березы, прислонившись к ней спиною, такая же нарядная и столь же загадочная, как и береза, которую она подпирала своим молодым красивым телом. — Не верю в то, — повторила Ефимия. — В Писании сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земли, и вдунул в него жизнь, и стал человек душою живою». А разве у женщины не живая душа? Отчего Бог не сотворил так же женщину, как мужчину? Или она не человек? Пошто Бог сотворил тварь ползучую прежде женщины? В Писании сказано: «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полесвым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И тогда навел Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа моего». Могло ли так быть? — опять спросила Ефимия. — И еще сказано, что змей ползучий сохратил жену яблоком. Отчего змей не обольстил человека, а жену? Человек сказал Богу: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне яблоко от запретного древа, и я его ел». Такого человека, Александра, я бы не стала звать мужем. Он съел яблоко, а вину свалил на жену. Такой человек презренный. А Господь Бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей своих, и муж будет господствовать над



тобою». Какой муж? Поганый трус! И его Бог назвал человеком. Еще сказал Бог человеку: «За то, что ты послушался жены своей, будет проклята земля, из которой ты рожден; со скорбью будешь питаться во все дни своей жизни». Могло ли так быть? За что проклята земля?

Черные глаза Ефимии жгли и чего-то ждали.

Лопарев сказал, что не читал Библии и не знает, что в ней написано.

Ефимия усмехнулась:

— А я читаю Писание с шести лет. Когда жили в Преображенском монастыре, еще до Наполеона, матушка читала Писание и говорила, что оно святое. И я верила. Всему верила и блюла святость, покада судьба не свела с пещерником Амвросием Лексинским. Пошто так глянул на меня? — И, мгновенно помолчав, тихо проговорила: — Слушай, что скажу...

#### IV

— На малую пречистую, когда начинает желтеть лист на деревьях, шла я берегом речки Лексы к дяде Третьяку на три дня. Матушка игуменья Евдокия говорила: «Прими пострижение, Ефимия, святой игуменью станешь: вижу в тебе такую тайну святости».

Я готовилась принять пострижение и стать схимницей, да все не могла решиться. То лист тополя трепещет за окном кельи и тревожит душу, то ветер несет мирской дух, а все душа не на месте.

Стану на колени перед материнской иконкой Богородицы и молюсь, молюсь, чтобы укрепиться в вере, и вдруг за окном послышится легкий посвист ветра: «Иди, иди, иди», — будто зовет в мир соблазнитель.

Собьюсь с молитвы и реву в голос.

«Матушка, где ты? — зову покойную мать. — Отзовись! Я сижу в келье, и нет мне покоя ни днем, ни ночью. Для чего ты меня породила на свет Божий? Ужли для четырех стен и вечного раденья? Скушно мне, матушка. Глаза бы не глядели на каменные стены! Что в них, в тех стенах? Одно забенние, вечная упокойница. Живая, а в могиле. Страшно мне, матушка!»

Но никто не отзывался на мой голос. И в снах не снилась мать, какую помнила.

Провела про мои стенания игуменья Евдокия и говорит: «Мучает тебя, Ефимия, искуситель. Ступай к дяде на три дня и скажи ему, чтоб он благословил тебя на пострижение. И ты станешь святой девой непорочной. Прославится имя твое по всему христианству, и будут поклоняться тебе девы мирские, чтобы укрепиться в нашей вере. В том великая благодать».

Во всем монастыре никто из белиц не знал так Писание, как я. Сама игуменья Евдокия часто просила меня совершать малые чтения и слушала, как я по памяти читала откровения пророков. Диву давались, а того не ведали, что Писание вошло в меня с молоком матери.

Вот и шла я к дяде Третьяку за благословением. Под вечер так, версты за три от монастыря, вспомнила, что в каменной пещере, чуть от берега Лексы, живет старец Амвросий Лексинский, про которого сказывали, что он из князей, был офицером до пострижения и жил в Петербурге.

Думаю, дай гляну на святого Амвросия. Может, он укрепит меня в вере.

К пещере вела тропка среди вереска. Шла я по ней, а сердце замирало от страха. Всякое говорили про пещерника. Будто он зарезал ножом искусительницу, деву, которая приезжала к нему из Петербурга; кого-то из скитских филипповцев пришиб камнем. И что из самого Церковного собора приходили к нему келари за святым благословением. Как-то он примет меня, думаю. А вдруг пришибет камнем иль зарежет, как деву петербургскую?

Подошла к пещере и сробела. Холодом напалась ноги и руки. И вдруг слышу стенания:

— Господи! Избави меня от лукавого. Вижу, вижу, разные люди творили Писание. Не Словом Бога, а человеческим разумом. Все, все вижу! Прелюбодеяния вижу, корыстолюбие вижу, Господи!

На всю жизнь запомнила я эти стенания подземные. Замерла возле черных камней пещеры и стою так — ни жива ни мертва. А из камней слышится голос:

— Будь ты трижды проклят, лукавый Моисей! Не Словом Божиим писал ты откровения, а хитростью, чтоб ввести в заблуждение род людской. Презренный!

Внутри меня все помертвело от такого еретичества. Слыхано ли, святой пещерник проклинал пророка Моисея! Как тому поверить?

Подумала я, искушает меня нечистый перед пещерой, чтоб опорочить святого старца. «Нет, думаю, не свершу святотатства. Пойду к пещернику и все скажу ему, что слышала. Пусть знает, как лукавый ходит возле его пещеры и соблазняет праведные души».

За диким вереском шел спуск в пещеру. Ступеней на семь так, запомнила. Дошла до дубовой двери, стучусь, никто не отзывается.

— Именем Иисуса — отзовись, старец! — кричу в дверь.

— Изыди, искушитель! — послышалось в ответ.

— Я не искушитель, а белица монастырская Ефимия. Пришла к тебе, чтоб укрепиться в праведной вере.

И опять старец вопит в ответ:

— Изыди, изыди, сатано!

Мне было страшно. Ночь застала меня у пещеры, долго я стучалась, пока Амвросий не открыл дверь.

Он встретил меня с крестом. Я на коленях вползла в пещеру.

Помню, при свете восковой свечки Амвросий показался очень высоким, согбенным и совсем белым, как вот эта кора березы. Бороду он носил длинную, по пояс. Такие же белые волосы на голове спускались у него ниже плеч. Руки у него были холодные, белые. Одет он был в длинную холщовую рубашу, которая не покрывала его голых ног.

Я сказала, что заблудилась в лесу, и вдруг услышала возле пещеры голос искушителя, как он проклинал Святое писание Моисеево, и что Библию творил человеческим разумом, а не Словом Божиим.

Амвросий испугался моих слов и затрясся, как лист на дереве от ветра. Я видела, как он протянул руку за поморским ножом, какой лежал на столе.

— Не убивай меня, не убивай! — крикнула я, не в силах встать на ноги. — За святостью к тебе шла, не за смертью. Видит дева пречистая, дурных помыслов не имею.

Слова ли мои или что другое, но старец бросил нож и, глядя на меня, сказал:

— Вижу, дочь, погибель изыдет от тебя на меня, как Адама от Евы нечестивой. Да будет так, аминь. Рок не минул моей головы — на то воля Божья. Встань, дочь, и дай мне поглядеть на тебя.

Не помню, как я поднялась. Амвросий усадил меня на доски, покрытые рогожей. В пещере были одни голые камни, дымная печурка, на которой стоял черный котелок, сухари на столе, много пучков сухой травы. Возле стола на ларе были сложены книги: Библии на разных языках и печатные откровения пещерников.

Амвросий глядел на меня долго-долго, потом закрыл лицо ладонями и упал на колени.

— Евгения, Евгения, прости мя! — закричал он и схватил меня за ноги.

Я вся заледенела. Думала, пришла моя смертушка.

А старец бормочет:

— Прости мя, Евгения. Не убивал я тебя, не убивал! Искушитель поднял

мою руку, видит Бог. Молюсь за тебя, Евгения, прощения прошу. Не мучай меня на исходе лет. Сокройся, если ты не плоть, а дух.

Старец еще что-то бормотал, не помню. Он принял меня за какую-то Евгению. Я сказала, что я Ефимия, беллица монастырская.

— Ты ушла в монастырь? — спросил старец.

Я ответила, что с детских лет живу в монастырях. Сказала и про Преображенский и про Лексинский.

— Ты не Евгения? — допытывался старец.

— Ефимия я, Ефимия, — твердила я.

— Если то правда, как ты говоришь, и если ты не дух, а тело, покажись вся, чтоб я видел тебя без рубища и узнал бг: Евгения ты или чужая беллица.

Боже, как дрожали мои руки, когда я снимала свое платье перед старцем! Ничего не помню. Страх перед старцем будто отнял у меня рассудок и память.

Как сейчас вижу. Сижу нагая на досках, а старец со свечою в руке глядит на мое тело и что-то шпгет. Меня всю трясет, и я не могу вымолвить слова.

— Нету тех родинок. Нету! — вдруг сказал старец. — Вижу, ты не дух, а плоть. И не моей Евгении плоть. Спаси Господи! Оденься, дщерь человеческая, и скажи, что тебя привело ко мне?

Я натянула на себя платье и сказала, что пришла к нему, чтоб укрепиться в вере.

— Во что ты веруешь, дщерь? В Писание? — бормотал старец и потом спросил: — Слышала мои стенания, как я говорил про бытие Моисеево? То был мой голос. Куда ты шла? К дяде на три дня? Вот и хорошо. Будешь жить у меня три дня и три ночи, и я открою тебе великую тайну, если ты поклянешься, что словом не обмолвишься, где была три дня, что видела и что слышала.

Я дала такую клятву...

С того началось, Александра Михайлыч...

Амвросий читал мне Библию не как игуменья или старца, а как ясновидец, прозревший тьму на исходе своей жизни. Помню, он говорил: «Жил я, яко агнец незрячий, в мирской суете, жил среди людей знатных и образованных. Носил погоны офицерские и ездил в карете со своим гербом, а душу имел алчного дикаря и невежды. Верил в то, во что верили люди, преобладающие во тьме. Любили меня, я любил. Потом познал великую любовь белошвейки Евгении. Вечную любовь, без какой не может жить человек. Белошвейка — не княгиня, не графиня, и я не мог жениться на ней, хотя дня не помышляя прожить без нее. Тогда послал меня родитель воевать Емельку Пугачева. Молод был, по двадцать первому году, и отвагою, и лихостью прославился от Казани до Петербурга. А потом, как начали казнить пугачевцев да распинать их на столбах, вешать на деревьях, содрогнулась моя душа. Черным показался белый свет, и любовь к Евгении угасла в сердце. Как можно коснуться девического тела руками, испачканными кровью? Чудилось мне, что я весь в крови пугачевцев. Мучили они меня во сне, проклинали, и я ни в чем не находил утешения. Потом помог захваченным пугачевцам бежать от стражи и ушел с ними в Поморье, в монастырь. Много пронеслось дней в поисках, дщерь, пока я не обрел пещеру».

Амвросий говорил, что за долгие годы в пещере он перечитал много Библий на разных языках, каким был обучен в молодости. «Не словом Божьим, а промыслом людского разума творилась Библия, — говорил Амвросий. — Познал я еврейский и греческий языки, чтоб читать Библию в первоизданности. И вижу: разночтений множество, прелюбодеяния и скверны, как в миру навоза». Так и говорил Амвросий; я слово в слово помню его речения. В семнадцать годов у девицы память как прошва на батисте. Батист изнасится, а прошва видна все ярче да ярче.

Амвросий открыл мне, что Библию творили евреи по сказаниям других народов: египетских и вавилонских. Семь годов он собирал древние книги, пока уразумел тайную суть.

«Человек пребывает во тьме, а тьма — тенеты невежества и неразумения, — толковал Амвросий. — Вижу, — говорил он, — не в Библию веровать надо, а в дух вселенский, в солнце, яко греющее нас, питающее нас. В том Бог, откуда исходит благодать. Слова — вода, текут по склону, а не в гору. Напустили в Библию много слов и наполнили ими землю. Заблуждение ввели да рабство. Не должно быть рабства, дщерь. «Человек — земное светило, и от рождения каждый равен другому».

Как сейчас вижу Амвросия Лексинского: весь белый, сидит сторбившись и толкует мне Писание, как надо читать и понимать.

Амвросий звал меня своей дщерью и взял трижды клятву, что я до конца дней буду нести в мир слово прозренья от тьмы, а не саму тьму.

«Будь послушна, дщерь, яко овца; живи со общиною, — наказывал он. — Но пусть река твоей веры перебьет течения мутных вод, и ты обретишь вечности. Не сразу, не в день откроешь людские души. Наберись на то терпения. Гнать будут — терпи. Бить будут — не плачь. Помни, свет не сразу пробивает тьму. Глянь на восход солнца. На востоке заря солнцевсхода, а в лесу темно, как в колоде. Но ты не отступайся от тьмы. Точи ее словом, и камень станет дресвой и распадется».

«Стар я и немощен телом, — говорил Амвросий. — Если бы я, дщерь, был так же молод, как ты, вышел бы из пещеры и жил бы, как Мафусаил, девятьсот годов, только бы открыть истину людям. Но вижу, жизнь моя на исходе. Изморил себя постами и раденьями, а не тяжестью годов. Клянись, дщерь Ефимия, клянись жизнью своей, чревом своим, кровью своей, что ты пронесешь мои откровения людям через всю тьму».

И я клялась. Старец добыл ножом кровь из моего пальца, и я начертала крест на Библии греческой. Амвросий посыпал мою голову пеплом из очага, и я припала к его стопам, как к святому источнику в пустыне Аравийской.

Так было, Александра Михайлыч...

## V

— ...Всю зиму и весну я тайно ходила в пещеру, и Амвросий встречал меня светлым сиянием. Грешна, может, но во всей Поморской земле от моря до суши, во всей Олонецкой губернии не видела я никого, кто мог бы заполнить мою душу, как Амвросий Лексинский. Для меня он был как светлое Христово воскресение.

Есть ли в том грех? Если есть — грешна, но не каюсь. Повторись та пещера сейчас — была бы в ней, видит небо.

Амвросий открыл мне столько тайн создания Библии, столько открыл тьмы и заблуждений, сколь не познаешь в целый век, если Библию читать незрячими глазами.

У себя в келье я тайно вела запись речений Амвросия и хранила в волосяном тюфяке. Грешна, каюсь.

Амвросий научил меня распознавать травы и варить из них полезные для здоровья зелья. Ни ползучая тварь, ни какой другой зверь не страшны были старцу. Я зрела собственными глазами, как змея замирала от взгляда старца и он звал их за собою посвистом, как ручных. И они ползли за ним. Протянет руку к змее, посвистывает, и змея вползает в рукав рубахи, а из другого выползает наземь. Иль свернется и одеревенеет. Меня учил тому, хоть я и брезговала гадами ползучими.

«Тварь ли, зверь ли — покорны человеку, — наставлял Амвросий. — Нет

на земле силы выше разума человеческого. Гляди вот так на гадину ползучую, собери в себе весь дух, и гадина замрет, как неживая».

Боже, не ведаю, как то случилось, но Амвросий сам отрекся от Бога и на глазах пришедших монахов Выговского монастыря, какие пришли к нему за словом веры, попрал Святое писание, как скверну: рвал Библию, Евангелие, топтал их ногами. Его схватили, связали по рукам и ногам и так доставили на великий суд Церковного собора. Жестоко пытали в подвалах, жгли железом, выворачивали руки, предавали анафеме, как буйного еретика, и он назвал мое имя...

Из собора за мною прислали десятского и стражника. Не помню, как я пережила те дни. А в монастыре игуменья собрала всех беллиц и монахинь на великую службу очищения духа — изгоняли ведьму. Меня водили по ограде голышом, и каждая монашка и беллица плевала на мое тело.

Келью мою, в которой я жила, закидали коровьим пометом. И стены, и два окошка, и пол. Когда монашки потащили мой тюфяк на сжигание, я упала в ноги матушке игуменье и просила ее, чтобы она позволила мне достать из тюфяка мои записи. В тех записях хранился и паспорт...

— Возьми, возьми свою нечисть! — разрешила игуменья. — Не послушалась меня, еретичкой стала. Собор порешил казнить люто, и нет тебе спасения. Семь годов будешь сидеть на цепи в каменном подвале в студеной воде, какую напустят тебе по шеню. Захочешь утонуть — цепи не пустят. Тело твоё подвесят на цепях. Опосля семи лет кары сожгут тебя, и пепел развеют по Студеному морю.

Жила ли я в те часы? Не знаю, не ведаю. Вся оплеванная, во власянице, какую натянули на меня монашки, босая, с обрезанной косой, вышла я к десятскому Церковного собора и к стражнику. Под власяницей спрятала записи. Зачем — не знаю. Думала так: «Если меня будут казнить, пусть предадут смерти с моим грехом. Если же я познала у старца великую правду, тогда минует черная смерть мое тело. И клянусь всем святым, что есть на белом свете, буду служить людям сердцем и душою, умом и руками, чем могу и сколько буду жить».

Такую дала клятву вот перед этой иконой Богородицы.

...Перед смертью мать говорила мне: «Береги, Фима, иконку. В ней все мое достоиние. Писал ее иконописец Рублев, а сканью и золотом выложил фидлигранщик Костоусов-Пермский». И что иконку надо хранить как святыню.

«Если доведется тебе, — говорила матушка, — свидеться с кем из князей Дашковых, покажи им иконку, и они узнают тебя. Если не признают за родственницу, анафема всему ихнему роду...»

Вот с этой иконкой вывели меня из монастыря Лексинского и повели в Выговский, где ждал меня приговор собора. Я узнала от десятского, что Амвросий умер от пыток и тело его увезли к морю и там выбросили на съеденные рыбам.

«Вот сейчас ты — красавица беллица, — говорил десятский, — погляжу на тебя через семь годов — старуха будешь. Вся почернеешь, как твои сатанинские глаза. Может, потом поручат мне предать тебя смерти. Уж справлю я свою должность во славу Господа Бога!»

Мне стало страшно от таких слов. Меня всю трясло.

До ночи стражник и десятский ехали на телеге, а я шла за ней, привязанная веревкой, со скрученными назад руками. Я упростила десятского, чтоб материну иконку дали мне в руки. Он смилостивился, и я держала ее в руках за спиной.

На ночь стражник и десятский остановились на отдых в дремучем лесу. Узкая щель дороги, уложенная бревенчатым настилом, дыра в небо да огонь костра. Я все молилась и молилась. Стражник развязал мои руки, чтоб я приняла пищу и воду. Тут и подошел охотник-поморец. Он нес славную добы-

чу. Как все правовееры, носил бороду, хоть и молодой был. Десятский хотел прогнать его от костра, но парень разговорился про удачливую охоту, и они забыли про меня, не связали руки.

Помню, десятский сказал, показывая на меня: «Вот мы тоже добыли волчицу-ведьму. Гляди, какая красивая тварь!»

Охотник стал разглядывать меня и спросил, ведьма ли я.

— Не ведьма, а веру-правду ищу для людей, — так ответила.

— Какая твоя вера? — вопрошал охотник.

— Моя вера, — сказала я, — вся в поисках, как темная ночь в звездах, когда на небе ни тучек. Ищу правду. Как жить и что надо делать, чтоб счастье иметь.

Моя ли речь, сказанная от сердца, а может, охотника обужал соблазн, но я видела, как притемнилось его лицо. Десятский сказал ему, чтоб он не искушал себя разговором с ведьмой, и охотник отошел и лег возле костра.

Потом и стражник лег, и десятский. Стражник на ночь скрутил мне руки и привязал веревку за свою руку, если подымусь, его разбуду.

А я все молилась, чтоб Богородица пречистая укрепила мой дух и тело, чтоб защитила меня от людей дремучих, утопающих в невежестве, как кочки в тряской мшарине поморских болот. Идешь по болоту, прыгнешь на кочку, и она сразу уходит во мшарину. Так и люди темные. Торчат будто над бездной болота жизни, а обопрешься об такого человека — он весь уходит во мшарину невежества и тебя тянет за собой.

Охотник будто хранил — так крепко спал, но вдруг поднялся, прислушался к стражнику и десятскому, взял свое ружье и добычу и, ничего не сказав, развязал меня, а веревку привязал к колесу телеги. Потом поднял меня и унес в лес. Сердце мое сильно-сильно билось, и я не знала, куда несет меня человек. И человек ли?

Охотник притомился, положил меня на землю и сам обвязал мне босые ноги звериными шкурками.

— Теперь можешь идти? — спросил он.

— Могу, — ответила.

— Тогда пойдем скорее. Идти нам далеко. Завтра к ночи доберемся до надежного места, и я тебя там укрою. Меня зовут Мокеем. Женой моей будешь, слышь. Приглянулась ты мне. Ежли ты и в самом деле ведьма, сам предаю тебя казни, без собора. А стражники пусть тащат на суд собора колесо от телеги.

Хоть и спас меня Мокей от страшной казни, но не было в моем сердце тепла к нему. Стала говорить с ним про Писание, он махнул рукой. «Ты, — говорит, — про Писание толковать будешь с моим батюшкой. А мое дело — охота, промысел в море».

Как я ни умоляла дикого человека — он преодолел мою силу, овладел телом да еще измывательство учинил: «Пошто, говорит, тело твое студеное, как из воды вынутое?» А того понять не мог: откуда телу горячему быть, коль берет его силой?

С той поры возненавидела я Мокея Филаретыча, да бежать мне было некуда. Куда бы я ни сунулась в Поморье — угодила бы на цепи в каменные подвалы собора.

Проведал Мокей про Амвросия Лексинского и долго допытывался, как я жила со старцем. Греховно ли? Не ведьма ли я? Изводил меня долгими ночами, как огонь лучину. «Ну думаю, не жить нам двум на земле!» — до того мне тяжело было.

Когда в Поморье явилось царское войско, мой дядя Третьяк с Юсковым семейством бежали с Лексы на Сосновку и тоже приняли крепость Филаретову, только не погнуть голову перед анчихристовым войском. Потом в Сибирь собрались.

Вот и едем мы. Ехали летом, и осенью, и зимой, и вот опять настало лето. Еще далеко, говорят, до Енисея!..

Вот и вся исповедь моя перед Богородицей пречистой и перед тобою, Александра. Суди сам, какая есть. Ничего не утаила, и ни о чем больше не спрашивай.

## VI

Тихо шумели березы, как бы умиротворяя, но Лопареву припомнились и первые допросы у графа Бенкендорфа и генерал-адъютанта Чернышева, и следственная комиссия с ее каверзными вопросами; Сперанский, которому царь доверил определить степень виновности и меру наказания для каждого декабриста; и допрос царем; и тесная камера в Секретном Доме; и мутное наводнение тюремной решетчатой тишины, когда все внутри натянуто в звенящую струну, и ты все слушаешь, слушаешь звуки, исходящие из собственного сердца, и кажется — настал конец жизни; и побег с этапа — все это разом опеленало Лопарева тревогою, беспокойством, и он, глядя на Ефимию, невольно проговорил:

— Как ты все это пережила?

Ефимия опустила на колени, поклонилась в землю.

— Пережила и радуюсь, радуюсь! Судьба смиловилась и послала мне человека, пытанного железом, которого примет община, и он пойдет с нами в Сибирь, до Енисея. Радуюсь тому, Александра! Не ведаем мы страха, не ведаем неволи. Слушай, будь Иисусовым праведником, и ты всегда будешь со мною, и я откроюсь тебе сердцем, как птица крыльями навстречу воздуху. Ты вышел из мертвых, чтобы жить вечно. Будь таким, и я жена твоя перед Богом!

И само солнце будто плеснуло жаркими лучами. И птицы примолкли в роще...

— Приди же, приди ко мне, возлюбленный, и я открою уста для твоего сердца, — тихо молвила Ефимия, простирая к Лопареву руки. — Пусть нашим ложем — трава зеленая; пусть крышею дома — небо синее; пусть виноградниками моего сада будут шумящие березы! Я жду тебя!..

У Лопарева горело лицо и сохли губы.

— Ефимия! Сестра моя! Подруга моя!

— Говори же, говори. Ибо слова твои слаще вина. Не смотри на меня, что я телом смугла, ибо солнце опалило меня на большой дороге. Я шла и ждала тебя, как солнце ждут после темной ночи. И ты явился ко мне из ночи, и я первая узрела тебя и дала тебе воды утолить жажду и любовь свою! Ты не видел рук моих, не зрил моих глаз, ибо в теле твоём замерла жизнь, а я была рядом с тобой, и никто про то не ведал!.. Ты звал меня в беспомощности чуждым именем, да я не верила тому, думала: «Меня, меня зовут!..»

— Тебя, тебя, Ефимия!

— Тогда я сказала себе: «Он будет мужем моим перед Богом. Он пришел ко мне в железе. Я хочу, чтобы он был волен, как птица» И я тайно жила с тобою неделю, сторожила твой сон, гнала хворь, хоть ты и не ведал, что есть такая живая плоть, которая любит тебя пуще всего на свете!.. Не подходи, слушай!.. Зреть хочу тебя, посветленного и ясного, как вот солнышко. И пусть твои горячие руки после стылого железа обнимут меня и найдут тепло! Я — твоя. И пусть в общине знают тебя как праведника, для меня ты будешь вечной радостью. И я скажу: «Мировый пучок — возлюбленный мой, и он у моей груди пребывает. Как кисть кипариса, возлюбленный мой, и я навсегда отдам ему свои виноградники!..» Как не повторится ночь, так не воскреснет вчерашнее, прожитое. Лист опавший не подымется вновь на дерево жизни; трава сожженная не станет вновь зеленой. Будь моим возлюбленным перед небом и Богородицей пречистой, и я скажу тебе: не рабыню нашел ты,

а верную подругу, с которой и горе не бывает горьким. Пусть весь пламень моей души будет твоим огнем. Пусть живу я твоим сердцем, ибо я — жена твоя перед небом чистым. И не бесовская то любовь, а Божья, Божья! — в испуге говорила Ефимия, глядя в глаза Лопарева.

— Подруга моя, возлюбленная моя, — бормотал он.

— Твоя, твоя! На веки вечные! — молвила Ефимия. — Скажи, что ждешь ты ото дня грядущего? Тьмы или света?

— Света, света жду!

— Пусть стану я для тебя вечным светом! Ищу я, ищу возлюбленный мой, не покоя, не богатства, а прозрения от тьмы, кипения и огня!.. В глазах моих нет тьмы, а есть пламень. И этот пламень никогда не угаснет, доколе ты будешь со мною вместе.

— Мы уйдем из общины.

— Нет, нет, Александра! Нельзя уходить. Из крепости в крепость не уходят. Ты будешь праведником и пробьешь тьму невежества. И я помогу. Пусть нам будет трудно, но люди должны прозреть — в том счастье великое!.. Ты видишь, еще не отросла моя коса, отрезанная игуменьей Евдокией, еще в душе не залечились раны пережитого испуга, когда меня во власянице тащили на веревке к телеге, но я не та, какая была в ту пору. Нет той Ефимии. Есть другая, какую никто не знает. Только ты один. Перед тобою открылась вся, как зарница на небе... Иди ко мне, возлюбленный мой, муж мой! — И протянула Лопареву зовущие руки.

## VII

Сказывают старообрядцы: судьбами людей наделяет Бог с высоты седьмого неба.

Еще толкуют: в одной руке у Бога судьба, а в другой — горячая, как пламя, любовь, какую редко кто из баб ведает на святой Руси. Точно Богу известно, что русской бабе любовь ни к чему, — некуда ее употребить. Как вышла замуж, народила детишек — тут и конец бабьей любви. То свекор ворчит, то свекровка клюкой стучит, то муженек попадетя — ни колода, ни вода у брода. Перешагни — не встанет, перебреди — груди не замочит.

Румянцем заляется белица, когда ее невинного тела коснется рука мужская. А через два-три года — пустошь в душе, и глаза словно выщвели и спрятались внутрь, как горошины в стручок: не сразу сыщешь, что в них было в девичестве.

В редкости падает на избранницу любовь: водой не залить, хмелем не увить и цепями не спеленать; она горит до самой старости...

Такая любовь таилась и в сердце Ефимии и сейчас выплеснулась на беглого кандалника, и он впервые узнал, как горяча бывает и неистребима женская любовь, подымающая человека со смертного одра.

От солнца ли полуденного, истомного, от духмяных ли трав, обволакивающих, как туманом, от жарких ли поцелуев Ефимии или от ее пронизывающих слов, бередящих душу, у Лопарева кружилась голова, щемило сердце, и он беспрестанно твердил одно и то же: «Не уходи, не уходи... Ради Бога, не уходи!»

— Идти надо, возлюбленный мой, — шептала Ефимия, глядя в небо сквозь сучья березы. — Я еще травы должна собрать, чтобы духовник не заподозрил. Глаза у него как у змея, а сердце каменное.

— Я его ненавижу!

— Тсс... — Ефимия закрыла ему ладонью губы и чему-то усмехнулась. — Жить надо, Саша! Ты просил, чтобы я тебя так называла, помнишь?

Лопарев ничего не помнил.

— Ядвигой меня звал. Семь ночей звал, и я откликнулась на твой голос.



В уста целовал меня, руки целовал... Богородица пречистая, прости мне тот грех!

— Не было у меня любви с Ядвигой, — сказал Лопарев. — Нас повязала клятва.

— Какая же?

— Царь не дознался, комиссия не дозналась, а тебе скажу. Я был узам братства связан с польскими патриотами. Не знаю, когда сбудется, но вся Польша восстанет за свою свободу!

— С католиками какое же братство?

— Не с католиками, а с такими же поруганными, как и все мы, русские. Клянусь девятью мужами славы — восстание еще будет! От Польши до Москвы. Вся Россия займется огнем...

— Ты говорил такое, когда сам огнем горел. И такую же клятву давал: «Девятью мужами славы». Какие это мужья?

Лопарев сказал, что девятью мужами славы считались три иудея — Иисус Навин, Давид, Иуда Макковей; три язычника — Александр Македонский, Гектор, Юлий Цезарь; три христианина — король Артур, Карл Великий и Гектор Бульонский.

— Ой, ой сколько! — усмехнулась Ефимия. — Я знаю только двух: Иисуса Навина и Давида. Не Иисуса, а Иисуса, как называют правоверцы...

Солнце клонилось к вечеру, а Ефимия все еще никак не могла расстаться с возлюбленным.

— Господи, что скажу батюшке Филарету? Беда мне, Александра, беда! Не дай Бог, если он что заподозрит...

— Я же говорю: уйдем из общины, — напомнил Лопарев.

— Куда же, Саша? Куда? К еретикам или к царским висельникам? Ни ты не вольный, и я птица со связанными крыльями. На первой же версте остановят и тебя повяжут в цепи. А как же я? Куда тогда?

Лопарев ничего утешительного придумать не мог. Сам знал: куда ни сунь нос — чужие. Ни вида на жительство, ни знакомых в неведомой Сибири.

Ефимия догадалась, о чем он думал.

— Одна у нас дорога — в общину. Бог даст, и щель откроется, тогда уйдем.

— Как ты будешь с Мокеем, когда он вернется?

— Не надо, Александра, и без того страшно... Пойду я, милый, не держи меня: сами себя погубить можем. Прости меня. Я ждать буду «Иисусова праведника», помни. Другой дороги нет, Александра. Ждать надо. Терпеть надо. Вся Русь терпит, слышь!

И ушла...

## VIII

Минул пасмурный субботний день, и настал вечер. Лопарев сидел у костра, в который раз перечитывая пачпорт странника-пустынника:

«Объявитель сего, раб Божий Иисуса Христа, праведник, уволен из Иерусалима, града Божия, в разные города и селения святой Руси ради души прокормления. Промышлять ему праведными трудами и работами, еже работати с прилежанием, и питъ и есть с воздержанием. Против всех не прекословить, убивающих тело не бояться, и терпением укреплятися, ходить правым путем во Христе, дабы не задерживали бесы раба Божия нигде. Аминь. Утверди мя, Господи, во святых заповедях стояти, и от Востока — тебя, Христе, к Западу, сиречь ко анчхристу не отступати. Господи Иисусе, просвещение мое и спаситель мой. Аще ополчится на мя полк, не убоюся. Покой — мой Бог, прибежище — Христос, покровитель — дух святой. А как я сего не соблюдати, то опосля много буду плакати и рыдати. А хто страняго мя приняти в дом свой боитися, тот не хочет с господином моим знатися. А царь мой и господин — Иисус Христос, сын Божий. Аминь.

Дан сей пачпорт из Соловецкой обители Праведников на один век, а по истечении срока явиться мне на страшный Христов суд. Имя Праведника — раб Божий, опричь других имен нету. Явлен пачпорт в Святую ризницу Соловецкого монастыря и в книгу животну под номером будущего века прописан, и печатью Обители Праведников припечатан на веки вечные. Аминь».

Пачпорт написан был тушью на толстой бумаге, уже пожелтевшей, с переломами на сгибах. Стояли какие-то неразборчивые подписи соловецких праведников и большущая печать.

С такими пачпортами во времена Разина и Пугачева соловецкие странники хаживали по всей Руси, из губернии в губернию. И если праведник умирал в дороге, пачпорт передавался в другие надежные руки, и Слово Божье шло дальше. Потому-то в пачпорте и не указывались имя владельца и его приметы. И кто знает, кто и где скитался по Руси с этим «пачпорт, прописанным в книгу животну под номером будущего века» до Амвросия Лексинского, покада он не попал в руки Ефимии, а от нее — к беглому Лопареву...

Не хотел бы Лопарев предъявить этот сомнительный пачпорт старцу Филарету, но он дал слово Ефимии, что явится в общину с пачпортом, неведомо кем оставленным на суку березы.

Субботняя ночь...

Где-то в степи вышел из рощи и увидел, как вдали двигалась черная поющая лавина людей, озаряемая трепетными огоньками свечей. Пение все ближе и ближе.

«Это же все вздор, и я должен поверить во всю эту чепуху да еще представиться каким-то пустынноиком с дурацким пачпортом!» — думал Лопарев, а поющая толпа придвинулась саженой на сто от рощи.

Впереди шел старец Филарет и вел кобылицу. Но жеребенка не было с ней: не поймали, может?

Кобылица скакала на трех ногах...

«Исусе сладкий, Исусе сладчайший, Исусе пресладкий, Исусе многомилостивый...» — трубно тянули выступающие впереди праведники-апостолы с иконами. Некоторые старцы были увешаны веригами, ружьями, чугунными пирями на веревках; а один из пустынноиков горбился под тяжестью деревянной бороны. И все это двигалось, крестилось, орало.

Остановились саженья в тридцати от Лопарева и зажгли множество свечей, озаривших равнинную степь.

«Благослови еси, Господи Боже, отец наш, хвальбо и прославлено имя твое веки!» — затянул Филарет.

— Аллилуйя, аллилуйя!

У Лопарева одеревенели ноги — шагу ступить не мог. Вот так же, наверное, орал молитвенное песнопение в судную ночь, когда жгли у березы Акулину с шестипальым младенцем.

Филарет в облачении духовника подошел к Лопареву на шаг, поднял золотой крест, спросил:

— Ты ли здесь, человек, посланный нам знамение Господним?

У Лопарева едва повернулся язык...

— Здесь я...

— Прощаешь ли нам тяжкий грех, когда мы прогнали тебя из общины и знамение Господне попрали, яко свиный?

— Прощаю, отец...

— Воспоем аллилуйю, братья и сестры, и ты с нами воспой, человек...

Пропели аллилуйю.

— Скажи нам, человек, примеешь ли ты веру древних христиан, какие с топором и ружьями на царя пойдут, на попов бесноватых, а веры праведной не переменят?

У Лопарева градом катился пот с лица.

— Принимаю...

— Благословен еси присно... — загудел старец и после короткого псалма опять спросил: — Не было ли тебе, человече, какого видения в роще, oprичь того, когда Бог послал тебе кобылицу с жеребенком и вывел к нашей общине?

Толпа придвинулась полукружием и замерла, распахнув сотни жадных глаз.

— Сказывай, человече.

Делать нечего — надо говорить.

— Может, то сон был, не знаю, — начал Лопарев. — Лежу я так у трех берез в роще, где у меня костер горел. Думаю, как мне жить. Как правое дело вершить? Как слово просветления людям нести? И будто слышу, кто-то глаголет мне: «Грамоте обучай отроков, чтоб могли писать и читать, живи как праведник, и радость будет». Потом вижу: на суку березы висит какая-то тряпица. Откуда, думаю? Будто не было тряпицы, когда костер разжигал. Поднялся и снял тряпицу. Тряпка вся истлела, а в той тряпке — пачпорт раба Божьего из Иерусалима.

Толпа чуть отпрянула, и сам старец на шаг отступил. У Лопарева дух захватило: вдруг изобличат с позором да по шее дадут?..

Восковые свечи мотаются огненными косичками.

У Лопарева пересохло во рту.

— Может, кто подшутил надо мной, не знаю, — пробормотал он и развел руками.

Первым опомнился старец. Подошел к Лопареву, попросил показать «пачпорт».

Кто-то из пустынников подсунул старцу икону, на которой разложили восемь доскутков пачпорта. Долго читали старинную славянскую вязь, буква по букве, и варуг старец воздел руки:

— Чудо свершилось, чудо! Бог послал к нам праведника из града Божьего Иерусалима!

Глазастая суеверная толпа рухнула на колени.

— Чудо, чудо! — вопили мужики во все горло.

— Чудо, чудо! — визжали старухи.

Старец Филарет упал на колени перед Лопаревым и ткнул лбом в землю.

— Чудо, чудо!

Лопареву стало и стыдно, и страшно...

— Всенощную, всенощную! — шквалом пронеслось из конца в конец.

Начали всенощную службу.

Лопарев показал на березу, с которой он снял тряпицу с пачпортом. Возле березы соорудили алтарь, прилепили множество свечей на сучьях, и роща огласилась песнопением.

## IX

...После сожжения Акулины с младенцем на обширной елани остался торчать огарышек березы, как черный палец проклятия, грозящий небу.

На огарышек, по велению старца Филарета, прибили осиновою перекладину — и вышел бело-черный крест.

На крест привязали веревками пустытника апостола Елисея: «Не вводи во искушение, собака грязная!» Это ведь Елисей смутил общину, когда сказал, что видел собственными глазами, как на лбу кандалника, приползшего на карачках к становищу общины, торчали рога сатаны, а потом вдруг спрятались.

Пустытники со старцем-духовником порешили так: пусть Елисей висит на кресте до того часа, когда в общину вернется праведник, какого Бог по-

слад со своим знамением. Если праведник не простит Елисея, тогда его надо сжечь как еретика и пепел развеять по Ишиму-реке.

Для сжигания Елисея припасли сухой хворост и приволокли на волокуше большую кошну сена.

За пять суток жития на кресте Елисей до того почернел, будто его коптели, как поморскую воблу, над дымом.

Первые двое суток Елисей пел псалмы и молитвы.

На третьи сутки от неуголимой жажды перехватило горло, и Елисей не то что петь — шипеть не мог.

В ночь на четвертые сутки полоснуло дождем, и Елисей, задрав бороду, напился воды и окреп.

Поднялось солнце, прижгло лысину, и он, как ни силился, ни одной молитвы припомнить не мог — из головы будто все выпарилось, как вода из чугушка на огне.

«Господи, пощади живота мово, отошли солнце в тартарары, прими мя, Сусе!» — бормотал Елисей.

Ни стопа, ни жалобы, конечно, никто не слышал. Разве мыслимо вопить Божьему мученику, как той поганой бабе Акулине!

Власяница впиалась в тело, но Елисей не чувствовал ее на своей продуленной коже — привычно.

Хваально так-то во имя Иисуса принимать мучения. Радость будет на том свете.

На кошну сена и на хворост, припасенный для его сжигания, глядел как на благодать. Если бы его подожгли, он бы еще нашел в себе силы затынуть: «Исусе сладкий, Исусе пресладкий, Исусе сладчайший...» — с песнопением отлетела бы душа Елисея на небеси, ну а там — в рай Божий. Куда еще?

К субботнему молению успокоился. Обвис на кресте, как мешок с костями, и голову уронил на грудь. Успокоение настало. Ни боли в суставах, ни жажды в глотке. Хваально, хоть и помутился рассудок. С Иисусом разговаривал, как с пустынноиком, и благословение принял двумя перстами. Слышал, будто мимо проходили с песнопениями, но никого не видел: глаза глядели в землю, и шея окостенела — башку не поднять.

Мало того что привязан на крест, так еще и пудовая чугунная гири оттягивает правую ногу.

Полуночная прохлада остудила тело апостола Елисея, но он ничего не чувствовал: обтерпелся праведник.

Кажется, опять послышалось песнопение?

Гудит земля, поет, ликует!..

«Хваально, хваально! — радуется Елисей. — Отмучился, должно, в земной юдоли, Господи, помилуй мя! Прими мя на небеси... отверзни врата Господни... аллилуйя...»

Кто-то взял Елисея за бороду.

— Жив али нет, раб Божий?

Елисей тарачил помутневшие глаза, но решительно ничего не соображал: где он и что с ним? Может, опять в избе старца Филарета и брата-пустынника, прозываемые апостолами, пыгают его каленым железом как еретика, совратившего общину? «Жги его, жги, пречистый Ксенофонт! — слышит Елисей голос Филарета. — Иуде посох пообещал, а он нас всех нечистым духом омрачил. Иуда!» Елисею надо бы крикнуть, что он не еретик, а праведник. Но ему мешают. Кто-то усиленно трясет его за бороду. «Елисей, Елисей!» — слышит сладостный голос. Может, он на небеси и святой Петр вытряхивает из его сивой бороды земную пыль? И свечки горят будто. Или то звездочки Божьи? И ангелы со архангелами услаждают его душу райским песнопением? «Хваально так-то, хваально!» И тут же мысль Елисея угадала, как свеча, задутая ветром.

Елисей глубоко вздохнул и потянулся...

— Преставился раб Божий!

Старец Филарет набожно перекрестился и затынул поминальный псалом.

Лопарев вытаращил глаза на распятого Елисея и машинально, не помня себя, трижды перекрестился щепотью...

Филарет отступила на шаг в сторону и подал знак ладонью своим верным апостолам, чтоб они помалкивали, будто и не видели еретичного кукиша новоявленного пустытника с пачпортом. Сам Лопарев, конечно, не подозревал, какую великую беду навлек на себя щепотью!

— Сымгите! — махнул рукою старец.

Тело во власянице сняли с креста, положили на землю возле березы, сложили на груди руки и укрыли сеном. Потом выкопают яму и захоронят Елисея без колоды. Был бы рядом красный лес, как в Поморье, — сосны, пихты, лиственницы, тогда бы выдолбили Елисею колоду-домовину. Но красного леса нет, а из березы колоду не выдолбишь.

Трое пустытников, таких же сивобородых, вечно нечесанных, как и Елисей, остались возле тела петь псалмы.

Возрадовались женщины, особенно беллицы и молодухи:

— Мучитель наш помер!

— Иуда окаянный! Так и зырился, так и зырился!

— Кабы не он, Акулину бы не сожгли.

— Это Елисею привиделось, будто в яму к Акулине сиганул нечистый дух в виде белесого дыма.

«Как же порушить дикую крепость? — думал Лопарев, когда после всеобщей вернулася со старцем к той же телеге, где его вышла от смерти Ефимия. — Чему они верят, эти люди, пребывающие во тьме и невежестве? Одну сожгли живьем с младенцем, другой на кресте умер. И все во имя Иисусово? Во имя святости старой веры? Да что же это за вера?..»

## Х

Но где же Ефимия?..

С того дня, как она пришла к нему в рощу, и нарядилась там в сарафан и батистовую кофту, и пропела ему песнь любви, назвала его возлюбленным своим и мужем, он ее не видел. Искал глазами на всеобщем моленье — не нашел: мужики заслоняли женщин. И возле распятого Елисея Ефимии не было. Где же она?

Старец Филарет что-то уж чересчур прилипчиво поглядывал на Лопарева, будто впервые видел.

— Возрадовался я, сын мой, — заговорил Филарет, и лицо его посветлело, смягчилось. — Бог послал те пачпорт пустытника, благодать будет!.. Набирай силы, живи... Ежли надумаешь отроков обучать грамоте, и я помогу в том. Писание прозрею. Славно! Бог даст, передам те из рук в руки посох духовника и крест золотой, чтобы не порушилася старая крепость, какую заповедовал нам сохранять мученик Аввакум. Аминь.

Лопарев поклонился старцу: «Если бы мне твой посох, настал бы конец крепости».

— Как теперь жить будешь, раб Божий? В моем ли становище аль перейдешь к пустыникам?

— Мне хорошо было под телегой, отец.

У старца зло сверкнули глаза, чего не заметил Лопарев.

— Как хочешь, так и будет. Семей у нас множество — более шестиста душ. И гурт коров у нас, и два табуна лошадей, и птица всякая. Прибыльно живем, раб Божий. Общиною. Всяк по себе не тащит богатство под свою руку. Общинное достояние. И пропитание у всех единое, из одних сусеков.

Такоже проживали в Поморье, с тем в Сибирь пошли. По душе тебе экий порядок?

— По душе, отец.

— Спаси Христос! Опосля того как Бог послал те пачпорт раба Божьего, можно ли тебе зрить бабу?

Лопарев смутился и ответил глухо:

— Каждый мужчина, отец, от женщины рожден. От Евы отошли первые люди, от тех людей еще люди, а потом и мы народились.

— Благостно глаголешь, — прогудел старец, тяжело опираясь на пастырский посох. — Баба — она тоже тварь Божья. Вот хоша бы Ефимия.

Лопарев вздрогнул, точно от удара. Старец заметил, но виду не подал.

— Что Ефимия?

— Еретичка.

— Еретичка?

— Опеленала, ведьма, сына мово Мокея. Еще в Поморье, когда белницей проживала...

И тут Лопарев услышал от Филарета, как еретичка Ефимия возопила в монастырской келье и к ней явился нечистый, завладел ее душой и телом, а потом... погнал к святому пещернику Амвросию Лексинскому. Пещерник будто отбивался от еретички крестом, бил батогами, но искусительница оборотилась в муку и порчу навела на сухари. И когда Амвросий сожрал сухари, дух вышел из него, «яко вода из дырявой посудины»...

— Сидеть бы еретичке на чеши в каменном подвале с донной водой, — продолжал Филарет, — да сын мой Мокей украл ее от стражи собора. Я-то не ведал, какова она белница! Ох-хо-хо!.. Как узнал, тащить хотел на собор, да Мокей сдурел и уволок ее к морю, и там проживал с ней года за три так. Потом возвратился ко мне в общину на Сосновку! «Очистилась, грит, Ефимия-то». Эко!.. Бил дурня, да мало.

У Лопарева — холод за плечами. Так вот каков «милостивый старец»!..

— Была ведьма и есть, — долбил старец. — Ни в чох, ни в мох не верует. Псалмы Давидовы и песни Соломоновы, слышь, перекаладывает на мирской язык да пишлет их в свои тетрадки. Пожег я те тетрадки и клюшкой лупил, чтобы вразумить нечестивку. Ох-хо-хо! Как присоветуешь, гнать ведьму из общины аль на судное моленье выставить?

У Лопарева дух перехватало. Ефимию — на судное моленье? За что? За какие-то песни Соломоновы?

Старец таинственно сообщил:

— У одной бабы, слышь, от нечистого младенец родился о шести пальцах. И рога на лбу пробивались. Сожгли ту бабу. Ведаешь ли?

Лопарев притворился, что ничего не знает.

— Грех! Великий грех был! Елисей-то, который помер, сказывал: нечистый дух по общине ходит кажинную ночь в бабьем обличье. А доглядеть, какая баба, не узрел.

Старец, конечно, намекал на Ефимию.

— Елисею привиделось, что и у меня рога на лбу, — ввернул Лопарев, мучительно соображая, как защитит ее.

— И то! — согласился Филарет.

— А мне вот привиделась Ефимия в светлом сиянии, — соврал Лопарев. Глаза старца сверкнули, как алмазы.

— Сказывай! Знаменне было али как?

— Ночью так, когда в лихорадке лежал, выполз я из-под телеги воды напиться. Вижу: сидит Ефимия вот на этом пне, а вокруг головы сияние.

— Исусе! Баба ведь она, сиречь того — ведьма. Сиянино откуда?

— Жар у меня был...

— И то, — фыркнул старец, ухватившись за свой золотой крест, как за

спасительный якорь. — Блудница она, блудница!.. Мокей-то без мово благословения проживает с ней. Епитимью наложил на них на семь годов. Ежели за семь годов Ефимия не окажет себя еретичкой, благословлю тогда...

И тут Лопарева осенило:

— Грешно так жить, отец. Ребенок у них народился...

Филарет вздрогнул и выпрямился.

— Откель ведаешь про ребенка?

Лопарев сказал, что видел Ефимию с ребенком...

— Это! Спрошу Марфу Ларивонову, спрошу! — погрозил какой-то Марфе, сообщив: — Ребенка отобрал я от ведьмы, чтоб не искушала чадо. Отобрал! До исхода епитимьи будет жить чадо со снохой Марфой, бабой Ларивоновой. Да не узришь! Глядь, еретичка опять возле парнишки. И бита была, а нейметя!

«За что бита была? За что?» — ныло сердце у Лопарева, и он едва сдерживал себя, чтобы не высказать в глаза старцу всю неприязнь к дикому старчеству.

Что же придумать? Как спасти Ефимию?!

А старец упрямо бубнит:

— Гореть бы ей на той березе с Акулиной нечестивой, кабы Елисей усмотрел, какая баба оборотнем ходит по общине! Не углядел. Ефимия совратила Акулину-то. Она! И Юскова парня, Семена, совращала, да не углядели.

Лопарев осмелился сказать правду:

— Не верю я, отец, чтобы Ефимия кого-то совращала и что она ведьма. Не верю! Она меня спасла от смерти. Святость в ней великая.

Филарет вытаращил круглые глаза, как белые камушки.

— Святость?!

— Если она спасает людей...

— Совращает, ведьма! Искусшает, еретичка.

— Не верю, — твердо ответил Лопарев.

У старца перекосилось лицо от ярости и ноздри раздулись, но он сдержал себя.

— Не ведаешь всего про ведьму-то, не ведаешь!.. Грех-то!..

— Могу я с ней поговорить?

— С ведьмой?!

— С Ефимией.

Старец не сразу собрался с духом, что сказать. Подумал, потерябил бороду, скрикнул:

— Остра на язык, как пчела на жало. То и гляди, ужалит. Веру надо иметь крепкую и руку праведника, чтоб не поддаваться искушительнице. Не совратит ли ты с веры-правды?

— Не совратит.

— Это! Молодой ишшо глаголять так-то. Погоди маленько, вот посох отдам тебе и крест золотой, тогда вершить будешь волю Господа Бога нашего и узришь: ведьма ль Ефимия али праведница.

— Если она ведьма, как же тогда она стала женою Мокея, вашего сына?

— Не жена, не жена! — отмахнулся старец.

— Как же можно жить ей с Мокеем, если она не жена?

— Неможно! Отторгну, яко тать от овна. И так не шла за моей телегой. Не шла, не шла! Вот под этой телегой скарб паскудницы!

Старец указал на ту самую телегу, под которой скрывался Лопарев во время лихорадки. Так вот куда определил его старец!

— Мне хорошо было под этой телегой. Выздоровел, видите? Если бы Ефимия была ведьма, разве бы она спасала людей от болезней?

## ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## I

Что за люди? Чем они живут? Лопарев надумал побывать у Юсковых и узнать, где же Ефимия?

Мимо шла молодуха в черном платке. На плечах — гнутое коромысло и деревянные ведра с водой. Поклонилась Лопареву, торопливо проговорив:

— Спаси Христос, — и как бы невзначай резанула игривыми карими глазами.

Лопарев спросил:

— Где тут становище Юсковых?

Молодуха испугалась, плеснула воду и тихо ответила:

— За кузней Микулы. Вон там, где березы, Юсковых становище.

И пошла дальше, придерживая руками дужки ведер.

Табунок горластых ребятишек окружил гнedenького жеребенка. Не тот ли жеребенок? Кто-то из ребятишек крикнул: «Барин!» — и все разом, как воробы, разлетелись в разные стороны, мелькая голыми пятками. И жеребенок убежал.

Лопотали реденькие березы, а кругом, куда ни глянешь, торчали пни, оплывшие розово-желтой пеной вешнего сока. Совсем недавно здесь шумела березовая роща. И вот наехали люди, облюбовали рощу и начали строить. Почти над каждой землянкой возвышается березовый сруб с квадратными оконцами. Некоторые из оконцев затянуты пленками из брюшины — тонкой махровой оболочкой, выстилающей изнутри брюшную полость. Ее осторожно отдирали, вымачивали, промывали и натягивали для просушки на столешню.

Поодаль — три пригона для скота, обнесенные березовыми жердями. В степи виднеются стога сена. Всюду добротные телеги на железном ходу, продегтяренная сбруя, костры с таганами и печурками, поленницы березовых дров. Возле одной землянки, под навесом из жердей, соорудили мельницу на конном приводе. Пара лошадей ходила по кругу — молотли зерно. Тут же устроена сушилка для зерна с глинобитной печью. Мужики что-то мастерили — ладили сани, что ли. Возле землянок суетились бабы, старухи, ребятишки. У трех избушек, под навесами из жердей с накиданным сеном, стояли кросна и бабы ткали холст. Вот двое бородачей шорничают, а у другой землянки на самодельном станке мнут кожи. Возле кузницы, построенной из березовых бревен, два мужика натягивают железную шину на дубовое колесо.

Лопарев остановился, пожелал мужикам доброго здоровья.

Мужики разом поднялись, поклонились в пояс:

— Спаси тя Христос, барин.

Точно так же когда-то юного Лопарева приветствовали крепостные мужики, когда он наведывался в имение отца.

— Я не барин, люди.

— Были на моленье-то, были. Пустынник таперича. Пачпорт Господь послал.

Лопарев смутился и глухо ответил, что явился в общину не с пачпортом пустынника, а в каңдалах.

Один из мужиков низко поклонился.

— За каңдалы — земной поклон тебе, праведник. Сказывал наш духовник, на царя будто поднялись охицеры и солдаты во граде-блуде. Славно то! И я бы пошел на царя с топором.

— Настанет еще время, — сказал Лопарев.

— Дай-то Бог! Одно восстане порешил анчихрист, другое объявится. И с топорами пойдут, и с ружьями.



Из кузницы вышел Микула. Рыжая борода горит на солнце, как золотой оклад иконы.

— Спаси Христос! — поклонился Лопареву. — Про восстанье, слышу, толкуете. Дай-то Бог! Всей общиной пошли бы, чтобы порушить крепостную неволю да престол царя-анчихриста.

Лопарев залобовался: какой же богатырь этот Микула. Плечи — руками не охватишь. Глаза молодые, пронзительные.

— С тобой бы, Микула, не страшно на эскадрон кинуться.

— Чаво там, — ослабился Микула. — За вольную волошку, барин, и башки не жалко. Да вот проехали мы с общиной всю Расаю, почитай, а не слыхивали, чтоб где-то народ топоры точил да в кузнях пашки ковал. Живут, яко кроты слепые, да хрип гнут на барщине-дворянщине аль на подрядчиков. На Волге видывали лямочников — бурлаками прозываются. Барки тянут купеческие, опосла того зелье хлебывают да песни орут на всю Волгу, яко свиньи. Люди то аль нет? Где у них прозренье, злоба? Нету ни прозренья, ни злобы. Ярмо укатало.

— Укатало, укатало, — подхватили бородачи.

К кузнице подошли еще мужики. Кто-то придвинул Лопареву березовую чурку, и он сел. Микула попросил рассказать народу про восстание, какое свершилось в Петербурге: с чего началось и как царское войско подавило то восстание.

— Не бойся, барин, — предупредил Микула. — Из нашей общины слово не убежит, с нами останется. Могут огнем пожечь всех, а человека из общины не вымут.

Лопарев долго говорил, как вступил в тайное общество Союза благоденствия, а потом в Северное, как собирались на тайные сходки, обсуждали конституцию для народа, какую хотели объявить, если бы восстание удалось, и что по той конституции крестьяне освобождались от помещичьей крепости, престол упразднялся и что установили бы парламент с народными министрами.

Микула слушал и вдруг перебил Лопарева:

— Вот бы тут и объявиться Стеньке Разину!

Глядя на Микулу и на всех мужиков, рассуждающих толково, Лопарев невольно подумал: как же эти мужики могли поверить, что шестипалый младенец Акулины от нечистого?

— Кабы такую силу, как у Наполеона была, — заметил один из мужиков, в суконной однорядке, пожилой бородач, но еще не старик, хотя голова усеялась проседью, — тогда бы и царю не устоять. Эх и силаща шла с Наполеоном!.. Маршалы с генералами у него башковитые, зело борзо! Огнь-пламя!

— Негоже, Третьяк, — возразил Микула. — Наполеона поганого крещеная Русь не примет, скажу. Кабы Кутузова на нашу сторону али Суворова с войском!

Лопарев пристально поглядел на мужика в суконной однорядке. Нос ястребинный, гнутый, а черными глазами так и стрижет. Так вот он каков дядя Ефимии, Третьяк.

Третьяк поклонился.

— Спрашивали, барин, про становище Юсковых. Милости просим. — И еще раз поклонился.

Лопареву показалось, что Третьяк усмехнулся в свою кудрявую седеющую бороду.

## II

Когда отошли от кузницы, Третьяк спросил:

— Который вам год, барин?

— Двадцать семь.

— Из князей, должно?

Лопарев подумал: «Хитер Третьяк! Знает же, что не из князей, а спрашивает».

— Каторжник, опричь того государственный преступник, лишенный чина и сословного звания. Другого звания не имею пожизненно, — ответил Лопарев, принаравливаясь к языку Третьяка.

Третьяк усмехнулся, поблескивая черными глазами:

— Со мною, барин, глаголать можно, как от сердца к сердцу. Потому: принял вас, яко брата. Я вить тоже из кандалников, опричь того государственный преступник. Не носитъ бы мне башки, кабы Наполеон в Москву не заявился. Служил я в кутузовском войске, в Семеновском гренадерском полку. Возле Смоленска заковали меня в кандалы и отправили в Москву на следствие. Потом в Петербург повезли бы, зело борзо!.. Подбивал солдат на восстанье. Самое время было, барин, чтоб потрошить Расею. Кабы восстанье свершилось да Наполеон помог бы тому, не устоял бы престол. Не вышло того восстанья, зело борзо! Народ хоша и в кабале, а за Русь на смерть пошел. Отчего так? Не разумею. А по мне — хоть бы всю Расею под топор, не жалко, коль нету в ней вольной волюшки. Мой дед, Данилов, в стрельцах ходил, а волю так и не добыл. Все кабала да холопство! И за ту Расею на смерть идти? Князья, да дворяне, да царская челядь вино пьют, заморскими игрищами тешатся, а народ стонет. Тако ли, барин?

Ноздри Третьяка раздулись, как у хищной рыси, и весь он подобрался, вытянулся, твердо и жестко вышагивая в яловых продегтяренных сапогах.

— Волю завоевывать надо без Наполеона, — ответил Лопарев. — Иноземного ига русский народ не примет.

Третьяк упрямо возразил:

— Не было бы ига, барин, Наполеон и так ушел бы из Расен. Какая ему тут прибыль? Кабы войско наше поднялось супротив царя, как мы замышляли, и Наполеону прижгли бы пятки. Потому вся Расея огнем бы занялась! Так думали свершить. Не вышло того, зело борзо. На тайном сборе в Смоленске зняли нас, грешных, числом в осьмьдесят душ, со унтерами, со поручиком Лехвириевым. Из дворян такоже, да в разоре именье было. Брательники прокрутили да на ветер пустили. Умнуший поручик был! Не дался в руки. Двух порубил пашкой и сам ткнул себе пашку в сердце. А нас, грешных, скрутили, а потом и в цепи заковали, в Москву повезли, чтоб пытать, где таится гнездо наше. Кабы проведдали, порешили бы Преображенский монастырь, да Наполеон занял Москву...

Третьяк остановился возле изгороди в три жерди. За изгородью — избушки четыре. Не полуземлянки, а настоящие избушки из березовых бревен. Рядом шептались тенистые березы. На шестах — рыболовные сети, перевернутая вверх дном лодка-долобленка, какие-то чаны. Возле чанов на жердях просушивались сырые кожи, бараньи овчины, еще не черненные и не дубленные. Поодаль — телеги, рыдваны, два навеса.

Возле чанов стояли три женщины с ребятишками. У первой избы горбился бородатый старик, щупленький, в холщовой рубахе под синим кушаком, в мокроступах. Третьяк назвал его большаком становища, Данилой Юсковым.

На старшей дочери Юскова женат был Третьяк и тоже носил фамилию Юскова, пояснив, что свою фамилию пришлось запомнить: в бегах числится. «В нашем становище, — говорил Третьяк, — девять мужиков, одна старуха, семь жен, три белицы на выданье, два парня, вдовец Михайла, жену которого, Акулину, огню предали».

Как узнал Лопарев, из девяти мужиков, проживающих под Юсковой фамилией, только трое настоящие Юсковы. Остальные — беглые люди, кандалники, фамилии свои запомнили на веки вечные, что и посоветовал Третьяк сделать Лопареву.

— Филаретушка фыркает ноздрями на наше становище, да сила у нас немалая, — обмолвился Третьяк. — А главное — Микула-кузнец. Накрепчайший праведник и тоже под фамилией Юскова. Втапоры двум жандармам башку проломил!

Все это сказано как бы между прочим, мимоходом, покуда Лопарев здоровался со старцем, еще с двумя мужиками и курчавым синеглазым молодым вдовцом Михайлой.

Данило Юсков пригласил гостя в избу.

Первое, что бросилось в глаза Лопареву, — богатая рухлядь. На полу дорогие ковры, и стены увешаны коврами. На одном из ковров — курковые ружья, окованные сталью рогатины, с какими на тяжелого зверя охотятся. Стол заставан скатертью. Вместо лавок и лежанок — высоченные сундуки, покрытые коврами. И в сундуках, надо думать, немало рухляди.

Старец Данило позвал в избу двух баб, и те стали собирать на стол, ничуть не смесившись Лопарева и не пряча глаз. В открытую дверь уставились ребяташки, и никто их не гнал батогом.

Третьяк по знаку старца зажег свечи на Божнице, потом пригласил Лопарева на малую молитву, и все, как по уговору, стали на колени, помолились, а тогда уже Данило усадил гостя в красный угол.

— Нету у нас той лютости, как у духовника, — сказал Третьяк, усевшись рядом с Лопаревым. — Бог, он завсегда еси не втуне, а в ребрах.

Данило Юсков хихикнул в реденькую бородку:

— Про Бога памятьуй, сиречь того — про себя не забывай.

Михайла, чубатый красивый парень, еще не переживший каменеющего на сердце горя утраты жены Акулины с младенцем, спросил у Лопарева, многих ли офицеров в кандалы заковали и на каторгу отправили.

Лопарев ответил, невольно подумав, что в становище Юсковых известны все подробности про восстание на Сенатской площади и что Ефимия предана Юсковым и душою, и телом...

В избу вошел совсем молодой парень, безбородый, кудрявый, принес лагун вина. Третьяк назвал его Семеном и сказал, что отец Семена еще десять лет назад пропал без вести в Студеном море. Как ушел на промысел, так и не вернулся.

Данило заговорил про Енисей, куда еще прошлой осенью уехал сын Данилы Поликарп с Мокеем Филаретовым и с другими единоверцами.

— Толкуют: Енисей — река дивная, рыбная, невиданной благости и пустынности, — говорил Третьяк. — Живут там наши единоверцы в тайге будто. Лесу там — хоромы строить можно. И от царя не близко — не дотянется. Туда и мы поедем, чтоб корни пустить в землю сибирскую. На вольной земле жить можно, барин. И хлеб сеять, и в тайге зверя промышлять, и золото, толкуют, есть на малых реках, какие текут в Енисей. Таперича и ты с нами, праведник. Бог послал те пачпорт пустынника.

— Правдою, благою, — поддакнул Данило.

В который раз Лопареву напоминают о пачпорте! Не смеются ли над ним Третьяк со старцем Данилой? И откуда Ефимия взяла тот пачпорт? Не от Юсковых ли? Уж больно хитер дядя! И глаз цыганский, черный, и в заговорщиках побывал.

Вино разлили в серебряные кубки. Из таких кубков пивали бояре да стрельцы.

Не зря Филарет обмолвился: «Воровский дуван везут». Малую долю, наверное, положили на алтарь раскольникового собора, ну а себе — сокровища, драгоценности, золото. И вот бегут в Сибирь с воровским дуваном под прикрытием Филаретовой общины.

Догадка Лопарева подтвердилась, когда Третьяк сказал, что вся сила «жить

единым духом, чтоб не допустить подушной переписи и тем паче вопросов, кто и откуда попал в общину».

Михайла-вдовец не удержался:

— Оттого и Акулину сожгли, от «единого духа»! Кабы Микула не помогал Ларивону...

— Молчи, дурак! — осадил Данило.

— За что сожгли-то, барин? Слышали? — Синие глаза Михайлы жалостливо помигивали. — Шестишальный, сказали. От нечистого-де...

— Молчи, грю, в застолье, — оборвал Данило.

— Зело борзо! — крикнул Третьяк.

Михайла хотел уйти, да Третьяк удержал.

Лопарев слушал и молчал, поглядывая то на одного, то на другого.

— Оказия вышла такая, зело борзо, — начал Третьяк издаലെка, предварительно глянув в оконце: нет ли кого чужого в ограде становища. — Должно, слышали воляг Акулины? Про шестишального младаенца что толковать! Каких бабы не родют. И слепых, и горбатых, и ноги у которых срослись в кучу. От уродства то, зело борзо! Все знаем, барин. Да вот апостолы-пустынники, какие суд и веру держат при самом Филарете, смуту навели: в Юсковом становище, мол, нечистый народился. Особенно старался Елисей, какой ноне сдох на кресте. Узрил, будто Акулина тайно якшается со нечистым, и всю общину на то подбил со благословенья Филарета. Мало ли в общине голытьбы да верижников? Только и ведают, что лоб пальцем долбить, а на работу квелье, зело борзо. Зазорно им, что в Юсковом становище всего вдосталь и живут, как единый перст — не разымешь. Вот и порешил Филаретушка вывернуть Юсковых через ту Акулину.

— Также! Также, — подтвердил Данило.

— Не сидели бы в застолье, барин, кабы не дали Акулину, — подвел итог Третьяк. — Три ночи думали так и эдак. Сна лишились. А верижники с ружьями обложили все наше становище. Жди огня-пламя! Зело борзо!

— Также! Также, — кивал Данило.

— Надумали тогда: стерпеть, и Микулу выбрали, чтоб помог вязать Акулину, яко блудницу и нечестивку.

Лопарев отодвинул кубок вина...

— Суди сам, барин, — продолжал Третьяк, — в нашем Юсковом становище — шестеро каторжных, беглых. А всего в общине за пятьдесят беглых, опричь холопов, какие ушли от помещиков. Когда мы едем общиною, к нам подступу нет. Из Поморья общиною вышли; держимся старой веры, печати и спроса анчихристов не признаем! Держали нас на Воле и в Перми, а потом — идите, зело борзо, паче того — в Сибирь. Дале гнать некуда. Ну а если по семьям стали бы перебираться?..

Лопарев подумал: многих бы заковали в кандалы!.. Ну а сам он разве не беглый каторжник?

Неспроста Ефимия удержала его в ту ночь возле телеги, не дала ввязаться в судное моленье. И что бы он мог сделать, Лопарев, один против сотен фанатиков?

«Четверым гореть тогда!..»

И спросил про Ефимино: где она сейчас?

Третьяк подумал, прищурился:

— И я не зрил благостную на всенощном моленье, зело борзо!

— Не было, не было, — сказал Данило.

Михайла-вдовец угрюмо заметил:

— Может, на костылях висит?

Третьяк вздрогнул и выпрямился:

— Спаси Христос!

Данило тоже перекрестился.

— Бабы, идите отсель! Живо!

Бабы тотчас ушли из избы.

Лопарев поинтересовался: что еще за костыли?

— Филаретовы, — ответил Третьяк. — В избе у него в стене костыли набиты, во какие. К тем костылям веревками привязывают еретика, когда тайный спрос вершат апостолы Филаретовы. Ох-хо-хо!

Лопарев вспыхнул:

— Кто дал право Филарету вершить подобные судные спросы?

— Тихо, Александра, тихо! — урезонил Третьяк. — Экий порядок с Поморья тащим. Филарет-то — духовник собора!.. И апостолов из пустынников набрал, чтоб держать крепость веры. И всю общину в страхе держит — не пискни, огнем сожгут. Может, порушим ишшо крепость Филаретову. Потому: Сибирь — не Поморье!

Данило Юсков перепугался, замахал руками:

— Негоже, негоже, Третьяк! Филаретушка — святитель наш многомилостивый!..

— Чаво там! — отмахнулся Третьяк. — С Александрой толковать можно в открытую, зело борзо. Не из верижников!

— Один Бог ведает.

Лопарев заверил, что с ним можно говорить в открытую, и что он не принимает крепость, и даже готов высказать это на собрании общинников, чтоб укоротить руки Филарета.

— До рук далеко, Александра, — вздохнул Третьяк. — Дай до Енисея допозн, а там...

Третьяк недосказал, что будет «там», но Лопарев догадался и, вспомнив разговор с Филаретом про Ефимию, сказал о нем. Все слушали внимательно.

— Беда, должно, беда! — охнул Данило. — Филаретушка и сына свово Мокея потому отправил на Енисей, чтоб извести благостную!..

— За что извести? За что? — не понимал Лопарев.

Третьяк вышел вина, попросил Семена наполнить кубки, а тогда пояснил:

— Сказ короткий, Александра. Филаретушка чует, как земля у него из-под ног уходит. Зубами душу не удержишь, зело борзо! Также. И крепость Филаретова скоро лопнет — народ Сибирью дохнул, а не Поморьем верижным.

— Но при чем же здесь Ефимия?

Третьяк помигал на Лопарева, удивился:

— Али не говорила Ефимия, как ее в Поморье еретичкой объявили и на пытку в собор вели?

— Так ведь это же было в Поморье!

— Много надо сказывать, Александра, — покачал головой Третьяк. — Тут ведь какая тайна? Мокей-то, сын Филаретов, силница невиданная, зело борзо! За Ефимию он и самому Филарету башку оторвет.

— Также, — кивнул Данило.

— Вот и нашла коса на камень. Порешить Ефимию — порешить Мокея. А тут еще в Поморье заявилось царское войско, не до Ефимии!.. Филипповцы пожгли себя, а Филарет с общиной в побег ударились, и мы с ними. Едем вот, зело борзо!.. Тут и пронюхал Филаретушка, что в Юсковском становиче нету для него опоры, а поруха будет. Мало того: Ефимия в самом становиче духовника — совсем беда. Знали мы, кабы Акулина на тайном спросе, когда висела на костылях, назвала Ефимию как искусительницу, не жить бы Ефимии!.. Да мы наказали: смерть прими, а благостную, которая ребенка твою приняла да сокрыла, что он шестипалый, вздохом не почерни!

— Также. Также, — кудахтал захмелевший Данило. — Благостную оборони Бог хулить.

Лопарев задумался. Что-то тяжкое, тревожное прищемило сердце.

— Не может быть! Не может быть! — проговорил он, сжимая голову ладонями. — За что? За что?

Третьяк согласился:

— Нету никакой провинности! Чиста, как слеза Христова. Присоветую тебе так, Александра, объявись верижником да возьми себе в тягость ружье.

Семен, почтительно молчавший, когда говорили старшие, робко сообщил, что видел Ефимию вчера, до того как на всенощное моление вышла община. — За травами собиралась будто.

Третьяк повеселел:

— К вечеру, может, возвратится. Подождем. На всенощное моление Филарет мог и не пустить ее. На судное моление не пустил же.

Лопарев тоже успокоился. Не так просто повязать Ефимию! И решится ли Филарет скрутить единственную лекаршу общины да выставить на судный спрос? И ко всему — Юсковы. Стерпят ли они второе душегубство или возьмутся за рогатины и ружья?

### III

Из становища Юсковых Лопарева пошел провожать белобрысый парень Семен. Неспроста тоже. Мужики не хотели показываться с Лопаревым на виду всей общины.

Еще в застолье Лопарев пригляделся к Семену: парень бравый, румяный, косяя сажень в плечах. Золотистый пушок покрыл его губу и чуть припухнул щеки. Не зря, может, старец Филарет обмолвился, что Ефимия совращала несмышленища Юскова. Да какой же он несмышленищ?

— Который тебе год, Семен?

— Осьмнадцатый миновал, барин.

— Бороды еще нет.

— Будет, барин. От бороды, как от подружки, не отвяжешься.

— Грамотен?

— Читать и писать сподобился.

— Где же ты учился?

— На Выге. Была там школа при монастыре.

— Отец твой погиб?

— А кто иво знает! Море, оно хоша и шумное, а бессловесное. Заглотит, и аминь не успеешь отдать.

— Ну а мать... жива?

— И мать, и две сестры. Матушка на стол собирала, видели?

— А...

Помолчали. Лопарев опять спросил:

— Как народ зимовал вот в этих землянках? Морозы ведь в Сибири.

— Не морозы, барин — само огневище. По неделе из землянок и избушек не вылазили. Одна семья в пять душ замерзла.

— Разве нельзя было остановиться на зимовку в какой-нибудь деревне?

Семен боязливо оглянулся.

— Кабы можно было!.. И деревни проезжали, и вокруг городов по тракту объезжали, а на зимовку в землю зарылись. Потому — вера наша такая. Крепость Филаретова, значит.

— Ты рад такой крепости?

Семен испугался. Кровь кинулась ему в лицо, и он чуть в нос, с запинкой пробормотал:

— Не совращайте, барин!.. Грех так-то пытаться...

Лопарев невесело усмехнулся:

— А я-то думал, что ты не из пугливых.

— Спытайте в другом, а не в верованье, барин. Нонеча вот, до того как вы объявились, разорил я логово волчицы. Шел степью и наткнулся на логово. Без палки и без ружья был. Потешно так!.. Вижу, ползают в траве волчата, пять штук. Самой волчицы не видно. Я снял рубаху и всех волчат сложил туда, завязал рукавами. Тут и волчица объявилась. Ох, лютая!.. Хорошо, что я

сапоги тот раз тащил в руках. Как бы видели, как я ее сапогом бил по морде. Во потеха!.. Она-то кидается, а я — бах, бах по морде, да потом как схвачу за хвост!.. Тут и кинулась она по степи — на коне не догнать.

Вот он каков, поморец Филаретовского толка! На волчицу с голыми руками не убоаяся кинуться, а на судном моленье, когда безвинную Акулину с младенцем жгли огнем, онемел от страха. В пору хотя самого жги.

— Старец Филарет говорил мне, будто тебя хотела совратить Ефимия, невестка Филаретова?

Семен тонко усмехнулся:

— Наговор, барин. Мало ли что старцам не привидится? И невестка она никакая — ни жена Мокея, ни приживалка, никто. Под ярмом живет. Мокей-то — кабы видели! Чудище рыжее. Силища у него страшная. Подковы гнет, яко гвозди. Костыли в бревно кулаком забивает. Положит на костыль железку, чтоб не поранить руку, как трахнет, так костыль в бревно.

— А что, если Мокей узнает, как Ефимия ходила с тобой за травами?

— Дык што? — пожал плечами Семен. — Мое дело третье. Позвала — пошел. Ко Гнилому озеру водила. По горло лазил в той воде, траву выскивал, на которую она показывала с берега. А пустынный Елисей вопль поднял: искушала, грит. Кабы искушала!.. Ефимия не такая, барин.

— Какая же?

— Благостная. Так ее все зовут. А по уму-то — страх Божий. Говорить говорит, а что к чему, не поймешь. Будто из Писания, а как проникнешь, совращение с веры получается.

Лопарев ничего не ответил. Знал ли он сам Ефимию? Не ее ли волю исполнил?..

«Зреть хочу тебя просветленного и ясного», — вспомнил слова Ефимии будто увидел ее перед собою — страстную, призывную и желанную. Как бы он сейчас обрадовался, если бы она шла к нему навстречу!

Нет, не Ефимия шла навстречу, а гигант Ларивон, переваливаясь с плеча на плечо.

— Космач идет, — буркнул Семен, на шаг отступив от Лопарева.

Ларивон и в самом деле смахивал на космача. Борода рыжая, как у Микулы, отродясь не чесанная, взгляд исподлобья, руки длиннущие, ухватом, будто Ларивон что-то нес в охапке.

— Ишу тя, праведник, — протрубил он, глядя в землю. — А ты звона где гостева! У Юсковых. Ефимия там обед стотвила.

У Лопарева отлегло от сердца: Ефимия ждет его!

— А ты ступай, нетопырь, — погнал Ларивон Семена и, глядя куда-то вбок, в сторону степи, нехотя сообщил: — Батюшка наказал на охоту нам идти на всю ночь. Волки одолевают. Трех жеребят задрали. На приступ берут, тати поганые. Вот и пойдем ноне на логовище.

Лопарев обрадовался: на охоту так на охоту. Давно из ружья не стрелял, забыл даже, чем пахнет пороховой дымок.

Не доходя до становища Филарета, Лопарев обратил внимание, что вокруг моленной избы старца плотным кольцом расселись верижники. И утром он видел их на том же месте. Некоторые из них с ружьями. Во власяницах, босонogie, косматые, без шапок, молчаливые, как черные камни.

— Что они тут собрались?

Ларивон тоже поглядел на верижников, хмыкнул в бороду и через некоторое время собрался с ответом:

— Поминать будут Елисея. Преставился раб Божий.

«Ничего себе преставился!..»

На бородатом лице Ларивона — ни единого движения мысли. Да и бывает ли отражение какой-либо мысли на таком вот тупом, как обух топора, лице?

Ефимию возле телеги не было. Понятно: там, где Ларивон, не жди Ефимию.

В прокоптелом котелке — щи, на чугунной тарелке — жареная рыба, полкаравая хлеба на белом рушнике. Возле пепелища — бахилищи на мягкой подошве, портянки, суконная однорядка, войлочный котелок, заменяющий шляпу.

— Может, поужинаете, коль на обед не успели? А, у Юсковых!.. Тамо-ка жратвы от пуза. С портянками обувку носили, праведник?

— Не носил. Но сумею обуться.

— И то. — Здрава борода, крикнул: — Лука-а!.. Ну да я сам управляюсь. Снаряжайтесь, праведник.

И охота будет не в радость с таким космачом. Ни поговорить, ни подумать. Вот если бы позвать Третьяка с Микулой!

Ужинать не стал. Обулся, оделся и вышел на берег Ишима. Вспомнилась Нева. Грозный пшпаль Петропавловского собора. Медный всадник, Зимний дворец, Мореходное училище, академия, Невский проспект, Фонтанка с домом Муравьевых под номером 25, где так часто бывал Лопарев. Как давно все это виделось, будто сто лет назад!..

Над Ишимом плавыл реденькие рваные тучки. Только что зашло солнце, и алая зарница прыснула у горизонта.

— Сготовились, барин?

Лопарев принял от Ларивона кремневое ружье, кожаную сумку с порохом и только сейчас обратил внимание на двух бородачей и на молодого парня, Луку, сына Ларивона.

Пошли прибрежной тропкой, протоптанной коровами, вниз по течению Ишима. Миновали пригоны для скота, несколько стогов сена, часовенку, похожую на колодезный сруб; потом свернули в степь, на восход солнца.

И все молча, молча, будто шли глухонемые.

Лопарев поравнялся с двумя бородачами, спросил, много ли волков в степи, но бородачи почему-то отвернулись.

— Чего замешкались? — зыкнул Ларивон.

Ничего не подлаешь: надо идти, с такими не разговоришься.

Степь куталась в черное покрывало. Горизонты придвинулись, трава почернела и мягко пощелкивала.

Так прошли версты три от становища общины.

Ларивон остановился, подошел к Лопареву:

— Эко! С пачпортом древним объявился, а ружье взял.

Лопарев не сразу сообразил, к чему клонит Ларивон.

— С чем же идти на волков?

— Сказывай, барин, — фыркнул Ларивон. — Ежели пустынный объявился под пачпортом, он идет по земле со словом Божьим, а не с ружьем. Али ты верижник?

— Я не верижник. — Лопарев насторожился: тут что-то неладно.

— Давай ружье-то праведник! — И без лишних слов Ларивон отобрал у Лопарева ружье и сумку с провиантом.

Двое бородачей и безусый Лука — парень, бревном не ушибить, подошли к Лопареву плечом к плечу.

— Я могу не идти на охоту, — догадался он, что попал в ловушку.

— Ничаво, — ослабилась тигант Лавривон. — Пайдешь, барин!.. А ну вяжите!

И тут же Лопарева схватили за руки, за плечи, за шиворот.

#### IV

...Чтобы вершить свою волю, держать в тайном трепете и страхе общину, Филарет приблизил к себе неудержимых фанатиков-пустынников, готовых пойти в огонь по его первому слову.



Будучи духовником Церковного собора, Филарет ведал подвалами Выговского монастыря, где вел тайные допросы еретиков, и перед именем Филарета даже келарь собора испытывал смертельную оторопь.

Старец не знал жалости к еретикам, как не чувствовал боли и мучений подвергаемых пыткам и казни.

Когда Филипп-строжайший откололся от Филаретовой общины, Филарет созвал всех верижников Поморья, чтоб огнем пожечь отступников, но те сами себя сожгли в восьмидесяти трех срубках, числом в тысячу двести сорок душ. И сам Филипп принял смерть. Тогда Филарет обратил гнев на милость, и отпели чин чином принявших смерть огнем.

Из всех святых мучеников Филарет почитал только протопопа Аввакума — неукротимого, бесстрашного, которого не уломали ни пытки цепями, ни битье батогами, ни сибирские морозы на Ангаре и даже смерть жены и младших детей. Сгорел в срубке с дьяком Федькой, а веры не отринул.

«Такоже, как святой Аввакум, и я буду держать свою крепость», — поклялся перед древними иконами Филарет и ни разу не отступил от своей клятвы.

И все-таки крепость рушилась даже в такой малой общине, какую увел Филарет из Поморья в Сибирь.

На Волге сожгли деву, еретичку.

У города Перми сожгли двух мужиков за тайное общение со щепотниками.

На Кане сожгли семью в четыре души — проклинали Филарета, а это все равно, что проклинать самого Иисуса!..

И вот опять Филарет проведал про тайную смуту Юсковского становища. Нет такого почтения, как должно, будто сама Сибирь ударила в ноздри вольной волюшкой. Чего доброго, начнется разброд, и у Филарета отберут посох и крест золотой!..

Если Филарет говорил: «Отдам те посох и крест золотой», — неискушенный так и понимал: отдаст старик. В эту же ловушку угодил Елисей. Еще в Перми Филарет пообещал Елисею посох и крест, и Елисей сперва возрадовался. Вот и сдох на кресте.

На посох и крест золотой позарился Лопарев. «Погоди уж, возрадуешься, барин».

## V

Если бы знал Лопарев, какие молитвы шептала Ефимия в тот момент, когда Ларивон окликнул его: «Сготовились, барин?»

«Близится мой тягчайший час испытания, — молилась Ефимия, связанная по рукам и ногам, и кляпом во рту, прикрученная веревками к костылям, вбитым в стену. — Помогите ему, Богородица пречистая! Спаси его, ибо люди темные, пребывающие в забвении, поправившие Бога и сатану, могут свершить свой суд, не ведая, что осквернили само небо! Спаси ему жизнь, Богородица, ни о чем более не молю тебя. Пусть я сгину, и пусть пепел мой развеет по ветру, но спаси жизнь кандалнику рабу Божьему Александру!..»

Ефимия не признавала никаких святых, кроме Богородицы, и попраля бы самого Иисуса Христа за скверну, какую творят пустынноики Филарета, прикрываясь его именем. Но Богородицу, в муках родившую Сына человеческого, пограть не могла.

Знала Ефимия про коварные повадки Филарета, знала, если старец говорит умильно, ласково и прослезится даже, то нельзя ему верить: он с такой же легкостью погубить может. Но вот такого ехидства и лукавства, какое учинил Филарет вечером накануне молитвенного шествия к роще, такого коварства даже и она не предвидела.

## VI

...В прошлый вечер Филарет позвал Ефимию в свою моленную избу, где расселись по лавкам шестеро тайных апостолов-пустынников: Калистрат, Павел, пречистый Тимофей, благодостный Иона, Ксенофонт и бесноватый, непорочный Андрей.

Ефимия не смела прямо зреть старцев и тем паче стоять перед ними на ногах, потому и опустилась на колени, потупя голову.

Филарет ласково спросил:

— Сготовилась ли ты, дочь, навстречу праведнику?

Ефимия низко поклонилась:

— Сготовилась, батюшка.

— Знаешь ли ты, что праведника Господь послал со своим знаменем, с кобылой и жеребенком?

— Слышала, батюшка.

— Рада ли знамени Господню?

— Рада, батюшка.

— От чистого сердца пойдешь встречать праведника?

— От чистого сердца, батюшка.

— Хвально! Хвально! — И с тем же умилением, обращаясь к своим апостолам, Филарет спросил: — От сердца ли говорит сия дочь, пребывающая в храме Господнем? Скажи, смиренный апостол Павел.

Смиренный Павел — лобастый, лысый старик лет шестидесяти, свирепый женоненавистник, сухой и длинный, как жердь, поднялся с судной лавки, вышел на середину избышки, отвесил поклон духовнику, а тогда уже кнул ладонью в сторону Ефимии:

— Нечистый дух глаголет ее устами, святой духовник, отец наш вечный и нетленный, батюшка Филарет.

(Таков был торжественный титул старца.)

Филарет воздел руки к бревенчатому, накатному потолку, возопил:

— Избави, Спаситель, от нечистого духа! Вразуми мя, тварь неразумную, слабую, в доброту пребывающую и в благодости к рабам Божиим! Вразуми, Господи, пресвятых апостолов! Глаголь, праведный апостол Андрей.

Павел сел на лавку, Андрей поднялся. Худенький, весь ссохшийся, смахивающий на гнутое коромысло, ушел на колени и затрясся, как припадочный.

— Зрю я, отец наш духовный, сиречь спаситель наш сладчайший и сиречь раб Божий и нетленный, батюшка наш Филарет. Зрю я, червь земной, пребывающий в Боге, и Бог, пребывающий во мне; зрю я, старец наш благодостный и умленный, в избе твоей, во Божьем чертоге, пред святыми образами стоит на коленах поганая блудница, сиречь ведьма и нечестивка, сиречь ехидна, какая умыслила ввергнуть нас всех в геенну огненную, в смолу кипучую чрез Юсковых, еретиков поганых. Погибель будет! Погибель!

У Ефимии дух занялся и ноги налились холодом, как чужие стали. Она не верила собственным ушам, что все это слышит наяву, а не во сне. Это же судный спрос! Судный спрос! Что же замыслил свершить над ней «спаситель сладчайший, благодостный и умленный» батюшка Филарет?

Апостолы затаили псалом во спасение души нетленного Филарета. Сам Филарет молитвенно сложил руки на золотом кресте, как бы говоря: «Я — вечный, нетленный, а вы, апостолы, пойте мне аллилуйю! Услаждайте душу мою райским песнопением!»

Пуще жизни старец Филарет возлюбил земное почитание, чтоб хвалили его рабы Божьи и приближенные апостолы, как самого Спасителя, и чтоб на тайном судном спросе апостолы видели в нем не духовника, а Иисуса Христа.

Редко кто оставался в живых после судного спроса. И Акулина с младенцем побывала на тайном спросе, и апостол Елисей, и семья Кондратия-хули-

теля. Так же вот учинили тайный спрос, а потом сожгли в лесной глухомани на Каме, завалив мужа с женою и двумя отроками-сыновьями пихтовым сухостойником так, что и кости сгорели.

И вот Ефимия...

Выслушав апостола Андрея, старец обратился к Калистрату:

— Ума у тебя много, Калистратушка. Глаголь!

Калистрат — мужик лет пятидесяти пяти, сытый, размашистый в плечах, с горбатым носом, как у турка, черноглазый, когда-то поправленный из Петербургской духовной академии за святотатство и непочтение «Божьего помазанника Александра», как-то странно, через плечо глянул на Ефимию, ответил:

— Братия, воспоем аллилуйю отцу нашему духовному, сиречь самому спасителю премудрому, преблагостному батюшке Филарету!

— Аллилуйя! Аллилуйя! — гаркнули в пять глоток; у одного из апостолов — Ионы глухого дважды урезали язык в Соловецком монастыре, откуда он бежал потом в Поморье. Иона не пел и ничего не слышал, только долбил лоб двуперстием.

Калистрат сел на лавку, так ничего и не сказав про Ефимию.

— Благостно, благостно, Калистратушка! — похвалил Филарет и впилился в пунцовое лицо апостола. — Скоро, может, отдам тебе пастырский посох и крест золотой. Возрадуемся, братия!

— Аллилуйя! Аллилуйя! — возрадовались апостолы, кроме самого Калистрата.

Понятно: старец пообещал посох и крест золотой — не заживешься на белом свете! Готовься аминь отдать. Из двенадцати апостолов, какие были возле старца в Поморье семь годов назад, в живых осталось шестеро, и только один умер своей смертью...

(Когда шла тайная вечеря, Елисей пятые сутки висел на кресте...)

Калистрат вспотел в своей толстой грубой власянице из конского волоса и вербложьей шерсти и не слышал, как Филарет дважды спросил у него, что же он скажет про Ефимию; опять вышел на середину избы и поклонился в пояс:

— Хвально ли мне, отец наш духовный, допрещь слова твоего и братьев моих глагол держать? Как же я буду крест золотой носить, если нет у меня ушей, яко слышащих, и вразуменья Господня, чтоб суд вершить?

Филарет мотнул головой, как рассерженный бык, и не сразу нашелся что ответить Калистрату.

— Также. Также, — пробормотал сквозь зубы Филарет, и шея его налилась кровью. Разорвал бы он Калистрата за поучение перед апостолами, но надо стерпеть. Настанет час и для Калистрата. — Говори, пречистый Тимофей. Уста твои богоугодные, и дух нетленный в теле твоём.

Ровесник Филарета, семидесятипятилетний Тимофей, во власянице и в посконных штанах, босой, бухнулся на колени и возопил с осатанелостью:

— Ехидну зрю! Ехидну! О ста главах, о четырех хвостах, о мильёне ядовитых жал! Погибель будет! Погибель! — И затрясся, отползая к лавке.

— Во имя отца, и сына, и святого духа... — затынул Филарет и, обращаясь к апостолу Ксенофонту, поклонился ему: — Уста твои, возлюбленный мой Ксенофонт, разуменья Господнего! Посветли крест мой, праведник.

Ксенофонт облобызал крест и, ткнув двуперстием в сторону Ефимии, прорычал:

— Ехидна, ехидна! Сука четырехногая, какую подослал в общину сатано! Погибель будет, Юскова зменица в храме Господнем, батюшка мой святейший, сиятельнейший, Богом дарованный во спасение душ наших, червев земных. Судный спрос вершить надо, батюшка Филарет!

— Благостно, благостно, — еще раз поклонился Ксенофонту Филарет и подозвал знаком руки безъязыкого и глухого Иону. Тот подполз к столу на коленях. Филарет ткнул рукой на Ефимию, потом приложил ко лбу два

пальца, потом руки скрестил на груди, что означало: если Иона признает Ефимию еретичкой, должен приставить ко лбу два пальца, если праведницей — показать крест.

Иона забудькал что-то обрезком языка и показал два пальца да еще пошевелил ими: еретичка!

Ефимия свалилась с коленей...

Филарет вышел из-за стола и, не обращая внимания на Ефимию, повернулся к иконам, затянул псалом, а вместе с ним и апостолы.

— Свершим волю твою, Господи! Вяжите ведьму. Вяжите. Вережки на крюке висят.

Ефимия схватила Филарета за ноги:

— Ба-а-а-тюш-ка-а! Помилосердствуй! Сын у меня от сына твоего Мокея. Ба-а-а-тюш-ка!

Филарет пнул Ефимию:

— Ведьма!

Апостолы схватили Ефимию и, толкая друг друга, повалили лицом в земляной пол, заломили руки, начали вязать.

Калистрат поднялся и опять сел на лавку.

— Батюшка-а-а!..

— Кляп в рот забейте! — Филарет еще раз пнул Ефимию, свирепо кося глазом на Калистрата. Теперь это был не тот немощный старец, каким он любил показываться на людях и на открытых моленьях, а неистовый, свирепый старик, с раздувающимися ноздрями тонкого, чуть горбачающегося носа, твердо прямящий спину и неумолимый, как железо. Ефимию заткнули тряпкой рот и поволокли к стене. Филарет поторапливал: пора идти на общинное моление навстречу праведнику к роще.

— Крепше вяжите на костыли, чтоб не сползла, как тогда Акулина-блудница!

Апостолы добросовестно исполнили волю духовника.

## VII

Заведено было так: тайные апостолы избирались раз в пять лет на большом благовещенском моленье. Такой порядок существовал в Поморье, где у Филарета было пустынных более двух тысяч душ (до того, как откололся от общины Филипп-строжайший).

В Поморье пустынники жили в лесах, охотничали, странствовали по всей Руси от Волги до Днепра и раз в пять лет стекались на большую службу благовещенья. А потом беда пришла: Церковный собор объявил еретиками пустынников с ружьями и запретил сборища на реке Сосновке, где проживал Филарет с Филиппом. Мало того, Филипп с Филаретом растолкнулся, и пустынники не знали, куда им кинуться. Филипп возопил: если пойдете со мной в огонь — спасены будете! Более тысячи пустынников сожгли себя.

Апостола Митрофана в Поморье удушили...

Апостол Елисей на кресте висит...

Шестеро под рукою Филарета, считая Калистрата. Но и Калистрат, конечно, не заживется. «Погоди уж, боров упитанный! Возопишь, кобелина!»

Из всех пустынников, в том числе и апостолов, только у девятерых были «странические пачпорта», и те не древние соловецкие, а поморские. Филиппом писанные и печатью Филаретова посоха припечатанные.

И вдруг барин Лопарев объявился с древним пачпортом...

Пустынники и сам старец до того оробели, что не знали: петь ли им аллилуйю или анафему? Но анафеме предать пустынника с пачпортом — попрасть неписанный устав старой веры, почитаемый с 1666 года!

Ничего не поделаешь, пришлось провозгласить «чудо», да еще свершить

всенощное моление. И вдруг неожиданно у креста Елисея новоявленный пустынный осенил себя кукишем!..

Откуда же у него пачпорт взялся? И кто он сам? Беглый ли каторжник или оборотень, нечистый дух? И тут Филарет ахнул: барин получил пачпорт от Ефимии! Не иначе. Но где же взяла Ефимия? Конечно, у дяди Третьяка!

«Умыслили еретики пустить змея ко мне под подушку. Также! Чтоб разброд начался у пустынников, а потом и веру порушить. Ох, собаки грязные!.. Доколе терпеть их? И все это не без помощи ведьмы Ефимии. Хорошо еще, что успел повязать ее. На судном спросе она все скажет, и там — Юсково становище в пепел обратить, рухлядь забрать, а Третьяка и старца Данилу на костылях пытать. Хвально будет так-то. Хвально. И крепость каменной будет. На веки вечные».

Лопарева отправили будто бы на охоту под надежной охраной во главе с Ларивоном и апостолом Павлом в степь, чтоб там учинить ему судный спрос.

Вокруг избы духовника дежурили верижники с ружьями и рогатинами, чтоб никто за триста саженей не приблизился к избе.

Как только стемнело, апостолы обошли все землянки и избышки, оповещая, что святой духовник Филарет наказал старым и малым на восходе солнца сотворить большую молитву во здравие ходоков, уехавших на Енисей. И чтоб никто из парней и белчи не шаялся по общине: батогами бить будет.

У Юсковых наказ Филарета вызвал переполох. Неспроста гонят людей спать и чтобы никто не выходил из изб и землянок. И верижники караулят избу духовника. Что же там происходит? Не иначе — тайный судный спрос!..

Третьяк догадался:

— Чует душа, Ефимию будут пытать.

Старик Данило предупредил: если порешат благостную, то и всем Юсковым несдобровать: Филарет науськает обжорку — не отобьешься.

«Обжоркой» Юсковы навеличивали верижников, особенно Филаретовых апостолов. Никто из них не работает, а жрать — за уши не оттянешь. Только и знают «вершить судные спросы», долбить лбы на всенощных молитвах, а потом спать и жрать от пуза.

Но где же взять силу, чтоб обезоружить верижников? Полсотни мужиков набрать можно, какие осмелятся взяться за рогатины и отринуть Филаретову крепость. Все остальные в огонь пойдут за Филарета.

Юсковы зашевелились — и сон пропал. Собрался в избе Данилы, толковали так и эдак, а ничего не могли придумать. Пойти самим с ружьями к избе Филарета — не перебеешь всех, да и Ефимию не вызволишь из когтей коршуна.

Данило засуетился: то сядет, то встанет, то в оконце выглянет.

— Беда, беда, мужики! Филаретушка лазучника подсылал, а мы-то, Господи прости, языки распустили. Особливо ты, Третьяк!

Третьяк ухватился за бороду:

— Какого лазучника?

Данило ехидно проверещал:

— А барин-то? Пустынный-то?

— Дык барин же! Каторжный.

— Хе-хе-хе! Барин! А ведаешь ли, откель у него пачпорт пустынника?

И тут Третьяк признался:

— Тот пачпорт Ефимия дала. У меня хоронила. Во как. И в роще у него была, и сговор поймела. Токмо нишкни! Оборои Бог!

Данило от такой неожиданности чуть не упал.

— Дык, дык как же, а? Пачпорт твой, стал-быть?

Третьяк пояснил, что пачпорт Ефимия получила от Амвросия Лексинско-го, передала ему на сохранение и вот отдала Лопареву.

— Господи прости! Тогда сила на нашей стороне, — обрадовался Дани-

ло. — И Калистратушка не отторгнет нас, и Лопарев. Общинников подбить еще, и Филаретушку свалить можно.

Микула слушал разговоры Третьяка с Данилой, сопел в бороду, а тут не выдержал:

— Эко! Умыслили. На месте Филарета пять Филаретов будет али пятьдесят. Сколь верижников-то? Калистратушка! От такого апостола упаси Бог. От одного взгляда Ларивона или Моксея у Калистрата в штанах мокро. И барин тоже. Один глаз — в Рязань, другой — в Казань. Не примет он ни веры нашей, ни крепости.

— Чуждый, чуждый, — поддакнул Данило.

— А верижник Лука? — напомнил Третьяк.

И в самом деле, есть еще, кроме апостола Калистрата, верижник Лука, тайно проживающий со вдовой Пелагеей. Лука терпеть не может старца Филарета.

Данило пожурил:

— От Луки — ни потрохов, ни муки. Солома одна.

Притихли. Задумались.

В избе стало темно, но огня не зажгли. По очереди глядели в оконце.

Послали Семена лазутчиком к избе Филаретовой, и тот вернулся вскоре, сообщил:

— Ефимию пытаются. Голос слышал.

Онемели.

— К избе не мог подползти — верижники залегли ноги в ноги, голова в голову, и все с ружьями и с рогатинами.

Третьяк схватился за бороду.

— Знать, жди — нагрянут. На сонных, зело борзо. Огнем пожгут, собаки.

Данило схватил подушку и закрыл единственное оконце. Третьяк засветил сальник. Семена послали за своими мужиками.

— Да гляди, чтоб тихо было.

— Ладно! — И Семен ушел.

— Беда, беда, — стонал Данило. — Надо бы послать человека в город, власти призвать на помощь. Казаков али жандармов. Открыть про убийства, какие учинили верижники. Спасение будет.

— Каторга будет, батюшка Данило, — прогудел Микула. — Всем каторга: Филарет никого не помилует.

— И мне будет виселища, — вздохнул Третьяк.

Куда денешься — сами беглые, каторжники! А Третьяк приговорен к смертной казни через повешение еще в 1813 году!..

## VIII

Костыли в стене — железные, веревки — пеньковые, не порвешь, и кляп рушником притянут. Сутки кляп во рту. Веревки впились в руки, и в ноги, и в грудь.

Пятеро апостолов — Калистрат, Андрей, Тимофей, Ксенофонт, Иона — расселись на судной лавке. Прямо перед ними — Ефимия...

Филарет сидел в переднем углу за столом, под иконами, в торжественном облачении: на голове поморский колпак духовника с восьмиконечным крестом и пурпурным верхом, на рубаше — золотой крест на цепи, в руке — посох, через левое плечо перекинута широкая лента,шитая золотом, с пурпурными крестами. В таком облачении обычно Филарет спускался в подвалы Выговского монастыря пытать ведьм и еретиков...

Кроме Калистрата, все апостолы носили власяницы и вериги, но в избе вошли без вериг — так положено. Обитель духовника что рай небесный: можно ли в рай тащить вериги, ружья, гири, рогатины, железяки?

Как всегда в подобных случаях, изнутри дверь закрыли на деревянную пе-

рекладину в железных скобах: ломись вмятером — не согнется, и два маленьких оконца закрыли досками, укрепив перекладной в скобах.

Воняло лампадным маслом, чадом свечей. У старинных икон горело двенадцать толстых свеч — по числу апостолов Иисуса Христа, именем которого вершился судный спрос и казнь. Кроме стола с глиняными кружками да еще двух лавок возле стен, дощатой лежанки с волосяным матрасом и волосяной подушкой, накрытых дерюгой, в избе старца ничего не было: вся рухлядь хранилась в двух избушках сыновей. Чуть поодаль от двери и от стены чернела железная печка с прямой, как оглобля, трубой, выведенной на крышу. Возле печки лежали березовые дрова, щепки и железная клюшка.

Помолчались, пропели псалом во славу Иисуса, испили из кружек святой водицы, окропленной Филаретом, и тогда уже обратили взор на еретичку.

— У, как стрижет глазами-то, ведьма! — начал тцедушный и желчный апостол Андрей.

Филарет повелел вынуть кляп изо рта еретички. Андрей тут же исполнил.

Ефимия не могла сразу закрыть рот — до того растянулись скулы и отерпли за сутки.

Филарет выждал (не первый судный спрос!), когда Ефимия наберет воздух ртом.

— Глаголь, ведьма, пред святыми угодниками, пред образом Спасителя сущую правду, — начала Филарет. — Ежли будешь таить правду, язык вытянем щипцами и тело твое поганое жечь будем. Аминь.

Лицо Ефимии за сутки до того побледнело и обескровело, что выделялось белым пятном на фоне прокоптелых круглых бревен.

«Помоги ему, Богородица пречистая», — тайно молилась Ефимия во спасение Лопарева. Про себя не думала — смерть сидела перед глазами: шестиглавая, двенадцатиглавая, пятинязыкая, неотвратимая, как рок. Знала, с такого тайного спроса не уходят в жизнь. Только на смерть.

Молила Богородицу за малого сына, за Лопарева — возлюбленного, какого Бог послал на один час жизни. Двадцать пять лет прожила на белом свете и только один час радость любви пережила. Не много же дано Богом человеку!..

— Сказывай пречистым апостолам, какие вершат Господний спрос и суд, какой тайный стовор умыслали еретики Юсковы: Данило, Третьяк, Микула, Михайла и все их становище. Сказывай.

Если бы могла, Ефимия плюнула бы в лицо Филарету.

— Сказывай! — рыкнул Филарет и стукнул кулаком по столу. — Али запаматовала, еретичка, как совратила святого Амвросия Лексинского? Забыла, как околдовала сына мово Мокея? Еретичка!

— Еретичка, еретичка! — гавкнули апостолы, кроме Калистрата и Ионы.

— Дайте воды, батюшка. — И голос Ефимии потух — гортань пересохла.

— Нету тут, ведьма, еретика, который дал бы те воды испить. Барин твой, щепотник поганый, шесть дней шпаялся без воды по степи, а не сдох.

У Ефимии екнуло сердце: Лопарева, возлюбленного, пытать будут!

— Праведник Андрей, растопи печку да накали клюшку.

Андрей кинулся к печке. Дрова уже наложены в печку, только серянку поднеси и засунь клюшку. Что и сделал праведник. Ефимия тяжело вздохнула — пытать будут. Только бы не кричать, не смочить щек паскудными слезами, а все претерпеть без стона и не порадовать мучителей воплем.

— Сказывай, еретичка! — рыкнул старец и подстегнул своих апостолов свирепым взглядом: молчать собрались, что ли?

Тимофей, Ксенофонт и Андрей накиннулись на Ефимию, как голодные псы на теплые кости:

— Ведьма, ехидна стоголавая, сказывай!..

— Не зрить неба Юсковым — огнем-пламенем пожем!

— Пожгем, пожгем!

— Совратительница, тварь ползучая, сказывай!

— Блудница, сиречь ведьма и нечестивка, ехидна и змея стожалая, сказывай! — трясся бесноватый Андрей.

Святой Филарет узрил промах.

— Кара нам, кара! — крикнул он. — Как вы, праведники, не узрили убруса на ведьме? Как правоверка стоит, гли-ко! Аль затмение навела на вас?

Андрей испуганно попятился:

— Свят, свят! Спаси мя, владыко небесный! Свят, свят!

Ксенофонт сорвал убрус (платок) с Ефимии, кинул на пол и давай топтать.

— За власы ее, за власы поторкайте! — подсказал Филарет и сам вылез из красного угла, взял свой посох из кипариса с золотым набалдашником и с острием, окованным железом, прямя спину, любовался, как Ксенофонт, Тимофей и Андрей вцепились в волосы Ефимии, готовые оторвать голову. — Также! Также! Благостно, благостно! — радовался Филарет, и в глазах его просветленных играло умиление и блаженство: еретичку изничтожают.

Но нельзя же, чтобы судный спрос закончился в самом начале, не усладив сердца. Надо пытку растянуть на всю ночь, а под утро, как надумал старец, прикончить ведьму: привязать к ногам ее по большому камню, вывезти в лодке на серединку Ишима, вниз по течению — от становища верст за семь, и там утопить. «И Господня благодать будет для всех, и радость великая!..»

— Чурку дайте мне. Сесть! — приказал старец.

Апостолы оставили Ефимию и выкатили из-под лежанки березовую чурку. Старец торжественно сел, поправил на голове колпак и легонько ткнул острием посоха Ефимию в живот:

— Не втягивай пузо, ехидна! Али смерти испужалась?

Ефимия облизнула пересохшие губы:

— Сразу бы... убили... батюшка. В сердце, в сердце ударьте посохом!

— Погоди ишпо! Смерть твоя доглая, всенощная али тренощная, как Господь повелит. Ежли скажешь, какую ересь умыслили Юсковы и дядя твой Третьяк, и смерти не будет. Помилую тя и епитимью наложу малую — на месяц, не боле. Потом благословлю, и женой будешь Мокея.

Ефимия вздрогнула. Растрепанные волосы закрывали ей щеки, плечи. На лбу выступил пот. Радовалась: первую пытку перенесла без вопля.

— Лучше смерть, а женой Мокея-мучителя не буду!

Филарет вытаращил глаза. Еле проморгался.

— Не хочешь быть женой Мокея?

— Не хочу.

— Эко!

Филарет перекрестился, обрадовался и, обращаясь к апостолам, сказал, чтобы они не забыли: Ефимия отрелась от Мокея. По своей воле, без пытки.

— Благостно, благостно! — И, помолчав, старец спросил: — Али те барин приглянулся?

Ефимия не сразу ответила.

— Сказывай!

— Мокей не муж мне, сами знаете. Не по моей воле взял меня, не по моей воле держал меня.

— Также.

— В Писании сказано: Господь создал Еву из ребра Адамова, и она стала его женой. Так и всякая жена — из ребра мужа своего. Разве из Мокеева ребра Господь создал меня?

Филарет подпрыгнул на чурке:

— Еретичка ты! Ишь что умыслила. Чтоб из Мокеева ребра да экая блудница вышла! Еретичка! — И ткнул посохом Ефимию в плечо.

Ефимия ойкнула, закусила губы. На кофе появилась кровь.



— Зрите, зрите, апостолы! Кровь-то у ведьмы черная.

На холстяной коричневой кофте да при свете свечей увидеть красную кровь было бы мудрено, но апостолы обрадовались: у ведьмы черная кровь — суд праведный.

— Сорвите с ведьмы хламье, чтоб поганое тело на суд вышло!

Расторопный Ксенофонт с бесноватым Андреем и безязыким глухим Ионной накинулись, как черные коршуны, на Ефимию и рвали одежду руками.

— Также. Также, — умилялся Филарет, стучая в земляной пол посохом.

Наконец сорвана исподняя рубашка, и Ефимия предстала нагая. Веревки впилась в ее тело, но она не чувствовала боли.

— Не стыдно вам, старцы? — Глаза Ефимии округлились и дико уставились в лицо Филарета, наливаясь смертельной ненавистью. — Вы не праведники, а собаки нечистые! Собаки! Собаки грязные, кровожадные! — Ефимия плонула Филарету в лицо, тот подпрыгнул и ударил посохом, но промахнулся: железный наконечник посоха увяз в бревне возле шеи Ефимии. Чуть-чуть, и Ефимия отмучилась бы.

— Кляп, кляп заткните! — рыкнул Филарет, вытаскивая посох.

Апостолы подхватили с полу рванье и, как Ефимия ни увертывалась, выкрикивая, что Филарет сатана, искунитель, дьявол нечистый, заткнули рот.

По телу Ефимии от плеча текла кровь.

Опьяненный зрелищем пытки, Филарет не обратил внимания на апостола Калистрата, которому вчера пообещал посох и крест золотой.

## IX

Калистрат ни единым словом не очернил Ефимию. Ни вчера, ни сегодня. Похожий на патриарха Никона, с черной окладистой бородою в проседе, лобастый, вкусивший сладость престольных угощений в академии, одетый во власяницу из верблужьего волоса, с кожаным поясом на чреслах, он лихо-радочно думал, как бы ему самому избавиться от казни и пытки и в то же время завладеть посохом и золотым четырехфунтовым крестом Филарета. Без креста и посоха не жить ему — убьют. По первому знаку старца — каюк. Бежать разве? Если бы он знал, что угодит в ловушку! Грешен, подбивал пустынных, тайно стоваривался с Юсковыми, и вот кто-то предал. Кто же? Не Юсковы же! Лука разве? Верижник паскудный! Не должно. Кто же?

«Погибель будет мне, погибель! — стонал Калистрат, глядя на Ефимию. — Также пытать будет сатано. Елисею выжгли дырку до ребер, и он на кресте муки принял, а меня, должно, щипцами терзать будут и на общину выставят. И за академией пытать будут, и за шепоть, какой тогда молился, и за стговор с Юсковыми!»

Да, Филарет кое-что проведаль про стговор Калистрата с Юсковыми, но не от верижников, а от сына Ларивонова — безусого Луки, которого тайно засылал лазутчиком к Юсковым. Внук Лука трижды подгадал, как под прикрытием дождя и грозы крадся к Юсковым Калистрат и еще кто-то с ним и прятался в избе Третьяка. Туда же наведывалась Ефимия. Однажды Лука усмотрел, как в избе у Третьяка собрались трое верижников. Калистрат с ними и Ефимия. Стговор велся среди ночи в темной избе. Лука узнал по голосам четырех: Ефимию, Третьяка, Калистрата и Микулу. Говорили, как бы спихнуть Филарета, отобрать посох и отпустить поддрупн, чтоб не задыхался народ под игом Филарета-мучителя.

Внук Лука — не свидетель: борода не выросла! Его нельзя выставить перед общиной и свершить потом казнь еретиков Юсковых.

Где же взять свидетеля? Ефимию пытать надо. Баба не выдержит, признается, назовет в первую очередь Калистрата — и тогда каюк еретикам!

Филарет давно косился на Калистрата, хоть тот и хорошо читал Писание,

и голос у него как у соборного протодиакона, и статность внушительна, и умом Бог не обидел. И в то же время именно за эти достоинства Филарет терпеть не мог Калистрата. И вдруг открылось, что Калистрат в тайном сговоре с Юсковыми!..

Елисей дурак был, чурошник. Надоед всем своими знаменьями и бесноватостью — общину чуть не распугал. И так более двухсот общинников убежали от Филарета на Волге. Дай волю — все разбегутся, кроме каторжных. С кем тогда крепость держать? Вот и убрал дурака.

Калистрат — еретик умноющий. Такого пытать надо сто раз смертью и жизнью. Чтоб обмирал и оживал.

«Погибель будет! — таращил глаза на Ефимию Калистрат, вытирая рукавом рубахи пот с лица. — Кабы Юсковых призвать, да силы мало у них!..»

Не до Ефимии Калистрату. Глядит на казнь, как самого себя видит. Хватит ли у него натуры, как вот у Ефимии, что и вопля еще не исторгла?..

## Х

...Лопареву завернули руки за спину и стянули веревками, а потом опелели тело до пояса. И все это молча, без единого слова.

Апостол Павел поторалапливал: вяжите, вяжите!

— Хорошо ли скрутили барина?

— Скрутили! — поднялся Ларивон. — Пусть сатано призовет, чтоб развязал нашу повязку.

— Благостно.

Лопарев онемел от неожиданного наскока бородачей. С чего такая напасть? Ведь только утром старец Филарет разговаривал с ним и клялся, что возлюбил его, «яко сына родного»!

Вспомнил о пачпорте пустытника. Не выручил ли?

— Вы што делаете, рабы Божьи? Как вы удумали связать пустытника с пачпортом? Или не были на всенощном моленье?

— Го-го-го! — заржал гигант Ларивон. — Вот баит, вот баит! Ишь, пустынником заделался. Ты еще скажешь нам, барин, щепотник поганый, откель получил пачпорт праведника. Сказывай!

— С березы снял. С березы.

Апостол Павел пнул Лопарева в лицо, аж в глазах потемнело. Угодил в губы мокроступом. Лопарев задохнулся от злобы. Грязным мокроступом — да в лицо! Такого с ним не вытворяли в казарме Петропавловской крепости.

Попытался вскочить, но двое навалились на него, да еще Ларивон помог, и давай садить барину. Били, били да приговаривали: «За барскую кровь твою, за омман, за омман! Паче того, за пачпорт, за пачпорт. Такжеже. Такжеже».

— А-а-а, дьяволь! Космачи! Чтоб вам слохнуть! Сволочи сивобородые! — крикнул Лопарев.

А праведники бородастые избивали до тех пор, пока у барина не помутился в голове весь свет — черное слилось с белым и образовалось оранжевое, огненное. Кровь текла из губ, из носа, подбитый глаз затек, и в ребрах будто что-то хрустнуло.

Праведники присели передохнуть.

Лопарев лежал на спине, еле переводя дух. Небо кружилось над ним, как шатер над каруселью. В голове гудело. Потом он повернулся и опять увидел небо у горизонта. Плыли тучи, рваные, черные, как серые овчины. Ленивые, бесформенные, как вот эти бородастые праведники.

— С-со-о-ба-а-а-ки! З-за-а-ч-что вы... меня, а-а-а?

Апостол Павел лениво предупредил:

— Молчай, щепотник. Ишшо не то будет во славу Господа Бога нашего. Аминь.

У Лопарева закипели слезы. Чуть не разревелся. Пересиливая боль в ребрах и в паху, еще раз спросил:

— За што вы меня? За што?! Я же... я же... в кандалах приполз... под знаменем..

— Молчай, пес грязный! — пхнул мокроступом Ларивон. Метла в губы, а угада в лоб. — Будет тебе ишпо знамение, погоди маленько. Совращать праведников объявился. Юда окаянный. Под поповскую церковь подвести хотел, кровопивец.

— Я-я ничью кровь не пил, космач! Собака!

И еще пинок. Лопарев успел отвести голову. Ларивон лениво подполз к барину и давай пинать его куда попало.

Напинался, предупредил:

— Погоди, шепотник. Мы еще ребра ломать будем. Благостно будет то. Благостно. Хрустеть будут. Ты нам признаешься, как совратить задумал всю общину с Юсковыми и с ведьмой Ефимией. На посох духовника глаза разинул, тать болотная. Чего умысла! Посохом завладеть.

— Не нужен мне посох! Не нужен!

— Зачем тогда пачпорт пустытника принял от ведьмы? Сказывай!

Так вот в чем дело! За Ефимией, наверно, следили. Кто-то подглядел, как она повесила на березе в тряпнице тот паршивый пачпорт!.. Что же сейчас с Ефимией? Где она?

«Пусть они сожрут этот проклятый пачпорт», — кипел Лопарев, задыхаясь от злобы и бессилия.

— Возьмите свой пачпорт, и я уйду от вас! Не имеее права держать меня, слышите? Я государственный преступник, слышите? Не праведник, не пустытник, а государственный преступник.

Апостол Павел заржал:

— Ишь как барина повело, праведники. И посоха не захотел, щепотник. Возопил, кобелина!

Лопарев корчился, мотался головой по траве, изнемогая от ярости. Если бы не пути да пашку в руки, рубил бы он этих космачей до светопреставления!

— Эй, вы! Как вас, не знаю. Кто вы, какая ваша вера, не хочу знать, слышите! К черту вашу веру вместе с вашим стариком и с его посохом. К черту!

Ларивон опять начал пинать, приговаривая: «Не паскудь праведников, не паскудь! Сиречь духовника благостного батюшку Филарета! Не паскудь, не паскудь!».

Лопарев стонал, ругался, грыз зубами землю.

Праведники покатывались:

— Как вопиет-то! Как вопиет-то барин чистенький.

— С-со-о-ба-а-ки. К-ко-с-с-ма-ч-чи.

— Мы те покажем собак, погоди!

— Отведите меня в деревню, слышите? Сдайте старосте или кому там, чтоб в тюрьму отправили. В тюрьму. На каторгу. Слышите? Пустите меня на каторгу.

— Ха-ха-ха!.. Как вопиет-то! В тюрьму захотел, кобелина. На каторгу захотел. Ишь как отрыгнул нашу праведную веру, а? Ишпо объявился пустынником.

— Не пустытник я. Не пустытник.

Апостол Павел торжествовал:

— Слышите, праведники? Отрекся, юда.

— Я не называл себя пустынником. Не называл. Я снял тот пачпорт с березы, рваные те бумажки. И вы сами воили: чудо, чудо! А чуда не было. И кобылицу с жеребенком сам Филарет объявил чудом. Не я же! Что вы меня терзаете? За что? Отведите меня в деревню, говорю, и сдайте власти. Пусть на каторгу отправят.

— Ишь как шибок захотел на каторгу, — надрывали животы Исусовы праведники. — От веры-то нашей, от Христа Спасителя да на каторгу захотел. Сказано: щепотник поганый. Тако есть.

Лопарев кричал и умолял, чтоб отвели его в любую деревню, хоть бы вытолкали на тракт и сдали кому угодно как беглого каторжника, но праведники потешались: воши, барин.

Апостол Павел наказал:

— Барина-то покрепше завязать надо. И ноги скрутить, чтоб не встал, не сел.

— За что?! За что?! По какому праву, спрашиваю?!

Апостол Павел ответил:

— Еретика, сиречь того — щепотника огнем жечь можем. А право у нас и власть от царя всевышнего и от сына Божьего Исуса. Во какое право. Как Бог повелел изничтожать еретиков, так и дело вершим. Аминь. Лежи, барин, тихо. Утре покажешь нам, на каком месте Бог послал тебе кобылицу с жеребенком.

— Да что я там, памятник поставил, что ли? — огрызнулся Лопарев. — Откуда я знаю, где она появилась?

— Ежли не укажешь место, лупить будем. Ребра ломать будем.

— О! — простонал Лопарев.

Вот так крепость Филаретова! Вот так многомилостивый батюшка Филарет! Вот так умильная любовь отца к сыну!

И вдруг вспомнил.

«Не за то ли мстит мне Филарет, что отца его будто бы насмерть прибил мой дед? Да было ли то?»

И проклял вековечную барщину и крепостную неволю. За что же он должен страдать, внук крепостника-полковника? Да когда же настанет на святой Руси конец несносной тирании? Или так на веки вечные: холопы — под баринном, барин — под царем, царь — под Богом? И деться от той неволи некуда!

## XI

— Воши, воши, ведьма! — рычал Филарет.

Но как вопить ведьме, коль кляп во рту?

— Воши, воши, змеища стохвостая, — поддакивал апостол Андрей.

Калистрат невольню залюбовался телом Ефимии. Какая же она дивная красавица. И тут же прикусил язык: вдруг про тайную мысль проведает духовник? «Свят, свят, спаси мя», — открестился Калистрат, уставясь на железную печку.

В избе и без того жарко, душно, а тут еще печка гудит.

Апостолы терпят. Привычно. За Господа Бога какую муку не примешь, только бы душеньку определить в рай небесный.

— Таперича слушай, ехидна, — поднялся Филарет и стукнул посохом — ком земли вывернул. — Ежли погаными устами будешь порочить духовника али моих пресвятых апостолов, вырвем язык щипцами, а потом жечи будем. Реченье поганое не веди, отвечай на судный спрос. Вынь кляп, праведник Ксенофонт. Да гляди, змеища!

Ксенофонт вынул кляп и брезгливо бросил под голые ноги Ефимии.

Ефимия вздохнула во всю грудь. Глаза как в туман укутаны, — видит и не видит праведников Исусовых.

— Сказывай, какой сговор был в избе у Третьяка на третьей неделе опосля пасхи?

— Не ведаю, батюшка.

— Врешь, тварь ползучая. На том сговоре ты была и все знаешь. Глаголь, кто был на сговоре! Третьяк, Микула, Данило шелудивый, а еще кто?

У Калистрата от таких вопросов — в горле лед и сердце заглохло. «Спаси мя, Иисусе Христе, — молился он. — Обет наложу на себя: от гордыни отречусь, от блуда, к церкви православной возвращусь, Господи».

Филарет готов был пронзить Ефимию посохом, но сдержался. Если Ефимия не признается, беда будет. Не вырвешь язык самому Калистрату.

— Сказывай, Ефимия. Молю тебя, сказывай! — Голос Филарета дрогнул. — Ты не мужчина, не пустынножитель, вины твоей нету в том сговоре. Пред Спасителем боюсь: благодать будет. И ты станешь жить. Хошь, из общины уходи. Хошь, сама по себе живи. Воля твоя будет. Помогни мне крепость утвердить сю, и дам тебе спасение. Тако ли, апостолы?

Апостолы, кроме Калистрата и Ионы, гаркнули:

— Спасена будет, грех простится.

— Слышишь, Ефимия?

— Слышу, — тихо ответила Ефимия и встретилась с глазами апостола Калистрата. Вот он, апостол блудливый и хитрый, вяляющий хвостом на две стороны — и нам, и вам, но какой же он трусливый пес! Что он так остолбенело уставился на нее? Молит, чтоб жизнью своей спасла его жизнь. «Богородица пречистая, помоги мне!» Назвать или умолчать? Если назвать — не жить всем Юсковым. Не жить хитрому и хозяйственному дяде Третьяку, кузюковскому солдату, заговорщику, с кем делалась втайне и горем и радостью. Назвать — утвердить Филаретову крепость. Крепость мучителя. Тяжкую, свирепую, без единого просвета радости.

— Еще один был сговор — главный, — напомнил Филарет. — Опоясав того как Акулину-блудницу на тайном спросе пытали, а потом посадили в яму; у Третьяка в избе, ночью, в дождь, собрались еретики: Микула, Третьяк, Михайла и ты была там. Окромя того, три верижника и апостол с ними. Тот апостол сказал: «Вырвем у Филарета крест золотой, чресельник отберем. Хозяйством править будешь ты, Третьяк, а я буду духовником». Назови, который апостол! Жить будешь. Аминь.

— Аминь. Аминь, — откликнулись перепуганные апостолы.

Тимофея и Ксенофонта била лихорадка. А вдруг Ефимия назовет кого-нибудь из них?

Калистрат вылушил черные цыганские глаза, а зубы унять не мог — стучали. По спине — холод, а по лицу — дождь. С бровей, с бороды соль капает.

Настала тягостная, жуткая минута.

Апостолы примолкли на судной лавке, а глазами так и впилась в Ефимию. Знали, баба не сдюжит пытки и кого-то из них назовет. Тогда на косяках повиснет кто-то из апостолов. Кто же? Кто?

И сам Филарет волновался. Другого судного спроса не свершить, если Ефимия не назовет апостола. Чего доброго, Калистратушке, ушитанному борову, доведется носить крест золотой! Тот самый крест, у которого на коленях стояли сам осударь Петр Федорович, Хлопуша, Кривой Глаз и Прасковейка покойная!..

«Иисусе Христе, развяжи язык твари ползучей, — молился Филарет. — Сгинет крепость твоя, Господи, если останется в живых иуда Калистрат».

Филарет еще раз напомнил:

— На том сговоре апостол-еретик сказал: «Филарета убить надо, и Ларивона убить, и Мокея также». Третьяк и Микула также глаголали: убить. И тут раздался твой голос: «Филарета убивать не надо, и Ларивона, и Мокея убивать не надо. Потому — смертью смерть не правят. Надо порушить крепость, а Филарет пусть живет и померет своей смертью». Глаголала так али нет?

Тишина. Слышно, как пощелкивают дрова в печке и как тяжело сопяты взмокшие апостолы.

Голос Ефимии прозвучал, как гроза с чистого неба:

— Говорила так.

У Калистратушки будто оборвалось сердце, и он едва не потерял сознание.

— Слава Иисусе Христе! — воспрял Филарет: Ефимия разомкнула уста.

— Говорила так, — повторила Ефимия. — Потому: крепость твоя чуждая, не Божеская, а сатанинская. От гордыни то, от злого сердца то, а не от Бога. Господь не заповедовал терзать людей — жечь огнем, рвать тело железом. Господь заповедовал милосердие и любовь. Где оно, милосердие? Нету. Крепость одна лютая. От такой крепости дух каменеет.

— Молчи, тварь! — подскочил Филарет и ударил тупым концом посоха Ефимию по голове. — Крепость наша на веки вечные, ехидна. Не разумеешь то: сатано кругом рыщет, погибели нашей ищет. Не будет крепости старой веры — сгинем, яко твари ползучие. Али не говорил Спаситель: «Если рука или нога твоя соблазняет тя — отсеки и брось. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, чем в два — в геенну огненную».

— Также! — откликнулись апостолы.

Ефимия не удержалась, напомнила:

— «И любите врагов наших; благословляйте проклинающих вас!»

— Тварь, тварь! Писание толкуешь, а ересь хвостом покрываешь. Али не говорил апостол Петр: «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью, терзайте плоть свою и спасены будете». Али не говорил Спаситель: «Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь?»

— Не принимаю то, батюшка. Не принимаю. В Писании апостолов блуда много, скверны много.

Филарет испуганно попятился: еретичка!

— Замкни уши мои, Иисусе Христе, чтоб не слышать скверны еретички. Господи!

— Ведьма, ведьма! — трясся Ксенофонт.

Филарет перевел дух, вышел кружку воды и опять приступил к Ефимии:

— Глагол твой, паскудница, в землю ушел. Праведников с веры не совратишь! Не богохульствуй боле. Оглаголь апостола, и я повелю, чтоб развязали тебя.

Ефимия молчала. Назвать апостола — укрепить крепость Филарета. Крепость мучителя. Пусть не она, другие будут мучиться.

— Не оглаголю, батюшка. Крепость твою отринула. Людей жалено, каких ты мучаешь.

— Праведник Андрей, сунь клюшкой в тигьку!

Андрей схватился было за железную рукоятку клюшки и тут же отдернул руку — обжегся. Прихватил тряпку и вынул раскаленную клюшку из печки.

— Матерь Божья, спаси мя! — успела крикнуть Ефимия, как праведник Андрей сунул клюшкой в грудь...

Тело Ефимии передернулось, вырвался тяжкий стон, и голова свесилась к плечу — сознания лишилась.

— Вопи, вопи, ведьма! — прицыкнул Филарет. Он терпеть не мог, когда пытаемый не вопил бы во всю глотку, не извивался бы, как веревка, кинутая на быстрое течение воды. — Вопи, вопи, ехидна! Андрей, плесни воды в лицо.

От кружки холодной воды Ефимия очнулась.

— Батюшка... батюшка... — прерывисто заговорила она. — Твой сын... Мокей... муж мой... пять годов...

— Не муж, не муж! Опеленала ты его, ведьма, сатанинскими чарами, да и в искус ввела. Грех свой Мокей искупит, Бог даст. Покаяньем, раденьем.

— Искупит, искупит! — отозвались Ксенофонт, Тимофей и Андрей.

Калистрат по-прежнему молчал.

— Оглаголь апостола, ехидна! — требовал Филарет. — На судное моление выставим. Оглаголь!

Ефимия глубоко вздохнула.

— Не будет того, не будет! Судные моления — сатанинский вертеп, не Божеский. И ты... ты — сатано!

— Жги ее, жги, Андрей.

Клюшка прильнула ко второй груди Ефимии...

— Воши, воши!..

— Сатано ты, сатано!.. Сынок у меня... Веденей... Я его народила. Я ему все поведала про твою любовь, сатано!.. Как вырастет, проклянет кости твои сатанинские!.. Не будет тебе спасения и на том свете!.. Черви тебя будут точить!.. Проклинать тебя будут живые и мертвые!.. Сатано-о-о! Веденейка, сынок мой, прокляни его до седьмого колена!..

Филарет подскочил на чурке, сел, опять вскочил и посох выронил из рук. Сам о том не раз думал! Изничтожишь еретичку, а Змей Горыныч под боком силу наберет, а потом ядовитое жало пустит в крепость старой веры.

Мысли ворочались злые, беспощадные, жесточайшие.

— Праведники! — Филарет глянул на апостолов. — Али не слышите вопль ведьмы? Змеищу изничтожим, сиречь еретичку, а змей подрастать будет, когти точить будет. Каково житие будет для всех праведников? Спомните, как змееныши Кондратия плевались на судном спросе! Пожгли тех змеенышей. Каково — змей вырастет? Каково?!

— Погибель, погибель будет!

— Сказывайте волю Иисову. — Филарет поднял крест.

Ксенофонт поцеловал крест.

— Удушить змееныша, покуда не вырос змей.

— Иисус глаголет твоими устами, благостный Ксенофонт, — помолился Филарет. — Ступай ты, Тимофей, и... — Филарет загнулся, обвел взглядом апостолов и остановился на пунцовом, потном лице Калистрата. — И ты, Калистратушка. Несите парнишку ведьмы. Да тихо штоб. Марфу Ларивонову со чадами не пугайте. Тихо штоб. Благостью чадо возьмите. У избы моей чадо крепше повяжите и уста также, чтоб не испускал вопля. Пусть душа чада в рай Господний уйдет без вопля, а не в геенну со еретичкой. Аминь.

Ефимия слушала и плохо соображала. Рассудок будто отшибло. Наконец дошло до ее сознания:

— Ба-а-тюшка-а-а!.. Сыно-о-очка-а-а... помиуйте!..

Филарет обрадовался:

— Вопля, вопля исторгся! Слышите, праведники, как сатано из чрева еретички возопил? Жутко ему, сатане, в теле нечестивки. Ужо не так возопит. Не так!

Калистрат вынул перекладину из скоб, открыл дверь и первым вышел через маленькие сенцы на улицу. Хватанул воздуха, как манны небесной. В ушах звенело, будто пели купеческие колокольцы на Невском проспекте.

Первая мысль — бежать, бежать к Юсковым. Поднять посконников да накинуться на верижников. И тут же опомнился: у верижников, охраняющих храм Филаретов, сорок ружей! Не одолеть такую ораву. Может, удастся бежать из общины? Куда? Хоть на край света. На покаяние в православную церковь! Хоть к черту на рога, только бы не испытывать раскаленной клюшки!..

Марфа Ларивонова не спала. Стояла на коленях перед иконами и молилась, отбивая поклоны.

На широченной лежанке из досок почивали меньшие сыновья Ларивона. Одному — тринадцатый миновал, другому — седьмой. Пятилетний Веденейка, курчавый, синеглазый, стоял на коленях возле Марфы и до того уморился на молитве, что крест накладывал от подбородка до живота.

Апостол Тимофей ласково обратился к Веденейке:

— Батюшка Филарет зовет тя, чадо. Подем. Подем.

Марфа глянула на апостола, догадалась, вскрикнула и, как сноп, упала лицом в земляной пол.

Веденейка заревела...

Калистрат схватился за ведро на дощатом столе и тут заметил нож. Поморский нож Ларивона с острым лезвием, чуть гнутый, как пашка. Дрожащей рукою схватил нож и сунул под подола рубахи, под ремень, а тогда уже зачерпнул ковшиком воды, выпил ее в три глотка, опять зачерпнул и вылил на голову Марфы.

Апостол Тимофей возился с Веденейкой.

Проснулись дети Ларивона и — в голос. Марфа тоже ревет. Где уж тут вязать парнишку!

## ХП

В сенцах Тимофей спохватился:

— Чем повязать-то чадо, не взяли? Дай твой чресельник.

У Калистрата под ремнем-чресельником — нож...

— Тако неси! — И распахнул дверь. Ударило жаром и запахом подгорелого мяса.

На грудях и на животе Ефимии угнались отметины от клюшки.

Филарет не глянул на внука — нельзя показать робость и жалость, когда вершишь волю Господа Бога.

— Чадо — на лежанку! Подушкой, подушкой. Живо! Ксенофонт, помоги Тимофею.

Ефимия напряглась всем телом. Тянулась к сыну. Крепкие костыли в стене. И пеньковые веревки не порвать.

Заревела в голос...

— Также! Также! Сатано дух испускает, — хрипел Филарет.

— Веденейка! Сыночек мой! Веденейка!

Похвалялась: змееныша оставишь в общине? Зри, зри, ведьма!.. Душа Веденейки возрадуется на небеси, на небеси, не в преисподней!..

Ефимия в третий раз лишилась сознания...

Филарет выждав, покуда душили Веденейку, а тогда уже затянул поминальный псалом. Ефимия не очнулась.

Филарет пристально воззрился на Калистрата.

— А ведь ты, Калистратушка, ведьму и словом не чернил будто?

У Калистрата задергалась верхняя губа и усы задвигались, как у тюленя.

— Подойди ко мне, Калистратушка. Праведники умучились, а ты отдыхал. Богу, поди, молился. Праведной ладонью, не кукишем. Академично духовну одолеа — вера у те превеликая. Куда мне из холопей упряжи. Потому и посох отдам тебе, и крест золотой. Духовником будешь, Калистратушка. Скоро будешь. Может, нонешним утром, а? Вот сейчас позовем верижника Луку, блаудивца бабьего, спрос учиним еретику, а там и благодать будет.

У Калистрата от испуга судорогой свело правую ногу, и он невольно покособочился. «Призовут верижника Луку! Лука-то не сдюжит пытки, погибель мне!» — не успел подумать, как Филарет подстегнул:

— Што ногой дрыгаешь?

— Судорога, батюшка.

— Минует, минует судорога. Вот верижника спросим, и ты сам духовником станешь, — ехидствовал Филарет, отчаявшись на последнее: пытать верижника. Было бы куда лучше, если бы Ефимия оглаголила апостола да на судном моленье подтвердила! Не вышло того.

— Лука-то... верижник... под пачпортom ходит, — напомнил Калистрат.

Филарет знал: верижника с пачпортom на судный спрос вызывать можно только в том случае, если апостолы точно знают, что он еретик.



Апостолы молчали.

— Знаменье было мне, праведники. Али не зрили, как затаилась ведьма на спросе? Отчего, думаете? Еретик меж нами. Как Иуда между апостолами Спасителя. Лука про то сам скажет. Тако будет.

Откуда-то издали донеслось пение петухов...

— Праведник Андрей, сунь клюшкой в непотребное пухо ведьмы, чтоб в память пришла.

— Клюшка остыла, батюшка.

— Ударь клюшкой, ударь!

Андрей исполнил волю старца.

Ефимия очнулась от ударов, закричала дико и страшно, уставившись на апостолов-убийщ.

— Слышишь, Калистратушка? Нечистый вопит. Благостно ли тебе от вопля нечистого? Али у те язык отнялся? Ведьма! Гляди: праведник Калистрат проткнет тебе чрево. Проткнет. Гляди, гляди на апостола!.. На посох, праведник Калистратушка, сверши волю Господню. Да наперед глаза выткни ведьме, чтоб нечистый чрез глаза не зрил свой смертный час и порчу бы не навел на пастырский посох. На, на, на!.. А вы, святые праведники, сядьте на лавку, отдохните.

Апостолы рады были перевести дух.

— На посох, на! Чо узрися на меня?!

И тут случилось то, чего никто ожидать не мог, и вместе с тем неизбежное.

Калистрат не взял, а вырвал посох из рук Филарета и, отскочив на два шага, неистово крикнул:

— Сатано! Сатано зрю! Рога зрю! — И не успел Филарет опомниться, как Калистрат изо всей силы ударил его по голове, да еще раз — и посох переломился надвое. Старец опрокинулся наземь, как поганое ведро. Апостолы повскакивали с лавки, но Калистрат вдруг выхватил нож из-под рубахи и гаркнул:

— На колени, собаки! На колени!

Апостолы-собаки попадали на колени...

Безъязыкого Иону хватил удар — сдох в секунду...

— В духовника бес вселился, али не зрили? — подступил к апостолам Калистрат, вооруженный ножом и половинкой посоха. — Видели рога, сказывайте? Видели, как я сбил рога?! Или смерть вам как нечестивцам!

Первым опомнился праведник Ксенофонт — душитель Веденейки:

— Зрил рога, батюшка Калистрат! Зрил, зрил. На лбу Филарета. Явственно.

— А ты, Тимофей?

— Зрил, зрил, батюшка Калистрат.

— А ты, Андрей?

— Зрил, зрил. Простунили рога-то, простунили. Таперича ты, батюшка Калистрат, отец наш духовный, нетленный, благостный. Спаси нас от погибели!

Калистрат того и ждал: отныне он отец духовный, благостный и нетленный.

— Сыми крест золотой с нечестивца, праведник Андрей, мудрый и благостный апостол. Иль помрачнеет крест на шее нечестивца, и всем пропадать тогда.

— Исусе Христе, спаси нас! — молились апостолы.

Калистрат предусмотрительно отступил на шаг в сторону Ефимии.

Андрей на коленях подполз к Филарету и трясущимися руками взялся за ленту золотую цепь, чтоб снять крест. Филарет очнулся и схватил апостола за руки.

— Батюшка Калистрат! Помоги! А-а-а!

— Апостолы, вяжите нечестивца Филарета! Живо, живо! — И опять нож Калистрата угрожающе поднялся над головой.

Трое апостолов навалились на Филарета и содрали с шеи крест. Филарет изрыгал проклятия. Грозился геенной огненной. Апостолы моментально заткнули ему рот тряпками, содранными с Ефимии. Потом развязали Ефимию и теми же веревками стянули «отца вечного и нетленного», хоть он и отчаянно сопротивлялся. Ефимия упала и поползла возле стены к лежанке Филарета, где под подушками покоилось тело умерщвленного Веденейки. Схватила сына на руки, прижала к своей прожженной груди и ревела в голос.

Калистрату и апостолам — не до Ефимии.

Из пораненной головы Филарета текла кровь...

— Зрите, апостолы, зрите! Кровь-то черная! — подсказал Калистрат, и апостолы в один голос подтвердили, что у нечестивца Филарета кровь чернее смолы.

— Одолею сатану старца! Одолею, — наступал Калистрат, покуда апостолы не пришли в память да не кинулись в двери, чтоб призвать на помощь свирепых верижников.

Надо спешить!

— Кто повелел удушить апостола Митрофана?

— Сатано, сатано повелел! Филарет окаянный, — ответил Тимофей, самый близкий пустынник Филарета, и он же душитель Митрофана.

— Возомнил себя Иисусом. Тако ли было?

— Так! Так, батюшка Калистрат!

— Кто погубил праведника Елсея? Кто повелел жечь ему брюхо, а потом на крест вязать? Сказывайте.

— Филарет погубил. Нечестивец поганый! — старался апостол Ксенофонт, душитель Веденейки. — Через свою гордыню, паки через нечистого!

— Тако, Ксенофонт. Тако!

Апостолы, в отличие от Ефимии, оказались на редкость сговорчивыми и податливыми, что воск в теплых руках.

Андрей держал золотой крест обеими руками, не зная, что с ним делать: положить ли на стол или повесить на шею Калистрата.

— Спаси нас, батюшка Калистрат, — взмолился богоугодный Ксенофонт, отвешивая поклоны. — Спаси нас! Отринь от нечестивца, сиречь зверя лютого. Ты наш духовник! Припадаю к твоим стопам, яко праведным. Воспоём аллилуйю отцу нашему духовному, батюшке Калистрату.

На коленях воспели аллилуйю, не позабыв проклясть искусителя Филарета, погрязшего в лютости.

— Еще скажу, — подступил к апостолам Калистрат, — не будет нам спасения, коль не отберем ружья и рогатины от верижников. От них вся лютость. На них стояла крепость душиителя. Тако ли?

— Так, батюшка Калистрат. Так!

— Ты, Ксенофонт, реченье будешь вести с верижниками, и благодать будет тебе. Ружья и рогатины — не вериги. Потому: Филарет повелев взять ружья пустынникам в Поморье не от доброхотства, а от соблазна гордыни, какая обуяла старца. Не оттого ли, братия, Филипп наш строжайший со общиною праведников огнем пожгли себя? Не оттого ли Митрофана удушили? Не оттого ли старец напустил на нас туман и мы не зрили неба, Иисуса, Господа Бога, а пребывали в забвении, в лютости?

— Все, все от старца Филарета. И пусть он будет проклят.

— Удушить иду! — проверещал апостол Тимофей, и даже сам Калистрат перепугался. Легко сказать — удушить Филарета, старейшего духовника Церковного собора! «Смуте быть тогда, и мне, должно, беда будет. Али ножом пырнут верижники, али мешок на голову накиннут». И кстати вспомнил слова Ефимии: «Смертью смерть не правят».

Калистрат откинул обломок кипарисового посоха, засунул нож за пояс, спросил:

— Духовник ли я ваш, праведники?

— Духовник, духовник!

— Тогда клянитесь спасением своим, Иисусом многомилостивым, что будете вы и я — одна душа!.. Сатано мог погубить всех, да я посохом сбил рога с головы нечестивца. Еще скажу: лютей зверь хотел погубить благостную Ефимию, которую почитает вся община. Не еретичка она — праведница!

— Праведница, праведница!

— Жить ей веки вечные.

— Жить, жить, жить! — орал мучители Ефимии.

Если бы могла Ефимия взглянуть на апостолов, что она сказала бы им — убийцам Веденейки! Не Калистрат ли с Тимофеем принесли Веденейку из избы Ларивона?

Не Ксенофонт ли с тем же Тимофеем удушили парнишку волосяной подушкой? И вот убийцы избрали себе нового духовника, надели ему на шею четырехфунтовый золотой крест, клялись перед иконами, что будут все как одно тело и одна душа, и трижды прокляли Филарета, чью волю и слово недавно почитали превыше воли самого Господа Бога!

Связанного по рукам и ногам Филарета запихали под стол, где он сопел и рычал, как издыхающий зверь.

Ефимия заливалась слезами над телом Веденейки, не чувствуя ни боли пожатого тела, ни раны от посоха на плече. Поторкали Иону — не отзывается. Старикашка не выдержал ударов посохом по святой голове Филарета. Слыхано ли, видано ли: самого духовника...

Ссохшиеся от постов и радений тело Ионы положили на судную лавку, сложили праведнику руки, заскорузлые от грязи: Иона никогда не мылся — такую наложил на себя епитимью, — и вложили в мертвые пальцы восковую толстую свечку. Преставился апостол!..

Калистрат вспомнил и про Лопарева:

— Кандальник спасения искал у нас, а где он теперь? В степь повели пытать? Виданное ли святотатство, братия!

— Озверел, озверел, сатано! — отозвались апостолы.

Заручившись поддержкою апостолов, Калистрат надумал разоружить верижников — бывалых поморских охотников. Но вот как это сделать без шума и кровопролития? Угодливый Ксенофонт подсказал, что надо выйти к верижникам с иконами и песнопением, позвать всех на тайное моление к часовне, и пусть они ружья и рогатины сложат возле избы духовника. И там, на моление возле часовни, объявить, что в старца Филарета вселился нечистый дух и что апостол Калистрат узрил, как на голове Филарета проступили рога. Апостол не растерялся и сбил рога с башки старца-еретика. И вот, мол, решайте сами, какую епитимью наложить на старца за гордыню, и святотатство, и за убийство апостолов-праведников.

Перед иконами верижники не устояли — попадали на колени...

Ксенофонт позвал всех на тайную молитву к часовне, да чтоб ружья и рогатины сложили возле избы духовника.

Калистрат не вышел с крестом; спрятал его под рубаху и знаками подозвал своих трех единомышленников: блудливого Луку, Никиту и Гаврилу. Они и остались возле ружей и рогатин, а с ними — Калистрат.

Ксенофонт, Тимофей и Андрей с верижниками, распевая псалмы, подались к часовне...

Вержник Лука рысью побежал за Юсковыми и за другими мужиками, которых когда-то подговаривал Калистрат свергнуть душеителя Филарета.

Возле чернеющих избышек и землянок в разногосье запели петухи. Вторые...

У Калистрата зуб на зуб не попадает. Удастся ли апостолам уговорить верижников или те кинутся выручать Филарета?

«Благослови, Господи, лютую крепость рушу, — молился Калистрат. — Вразуми мя, Спаситель, как вершить волю твою! Не бежать ли, пока не поздно? В Тобольск, в Ишим ли. Везде можно найти пристанище».

И убежал бы, если бы не подоспели четверо Юсковых: Третьяк, Микула, Михайло, Андрей. Еще подбежали мужики и взялись за ружья. Третьяк, позавыв про племянницу, пытанную огнем, погнал верижников Никиту и Гаврилу поднимать мужиков-посконников.

— Зело борзо! Супротив верижников, дармоедов, вся община подымется, Калистратушка! Вот они, ружья-то!. Наша сила теперь, слава Богу!..

Калистрат молча достал из-под рубахи золотой крест: глядите, мол, духовник перед вами.

Третьяк размахисто перекрестился:

— Слава те Господи, свершилась воля твоя! Повергнут пуду-мучителя. Возрадуемся!

Мужики действительно обрадовались. Кому интересно кормить дармоедов-верижников да замирать от одного их взгляда!..

На улицу выбежала Ефимия с телом Веденейки на руках. Голая!.. Калистрат успел схватить ее, но она вырывалась.

— Ефимия! Благостная! Куда же ты бежишь голая?

— Изыди! Изыди! Изыди! — кричала Ефимия.

Третьяк снял с себя однорядку, накинуд на плечи Ефимии и подозвал Михайлу и Андрея, чтоб они увели ее в избу к Даниле да поскорее сами возвращались.

Со всех сторон подбежали мужики. Вскоре набралось человек пятьдесят — и ружья верижников разобрал!..

Не успели третьи петухи допеть свои песни, как от часовни с апостолами и без песнопения вернулись верижники!..

Калистрат хоть и трусил, а вышел навстречу в облачении духовника и объявил волю апостолов:

— Молитесь, братия, порушилась крепость сатанинская, какую породил своей гордыней старец Филарет, отринувший Иисуса! Молитесь, и благодать будет. Жить будем миром и добром, а не пытками и кровью, какие учинял нечестивец Филарет, а вы сторожили те пытки с ружьями! Грех был! Великий грех! Ружья и рогатины — не вериги, а огонь и смерть. Пусть ружья носят правверцы семейные, а не пустынноики-праведники! С ружьями ли по земле Иудейской, Египетской и Вавилонской хаживали Моисей и сам Христос?

В разногослье, по-петушину и не дружно отвечали верижники:

— Филарет! Старец! Тако заведено было в Поморье!..

— Молитесь, молитесь, братия! Не ружьями молитесь, а перстами, как Спаситель заповедал!

Вержники нехотя расползлись по своим землянкам и избушкам. Ничего не подлаешь, придется молиться перстами. Но как же охотиться на зверье с голыми руками? Может, еще удастся вернуть Филарета в духовники, хотя на моленье возле часовни порешили: пусть духовником общины будет Калистрат, а Филарету — епитимья на три года за убиенных апостолов!..

### ХIII

Лопарева вели на веревке по степи, чтоб он указал, на каком месте Бог послал ему кобылицу с жеребенком.

Тащили да приговаривали: «Кабы всех бар вот так, веревками повязать да на рогатины вздеть. Хвально было бы Иисусу!..»

Росная степь умылась солнечными лучами и чуть обсохла.

За минувшую ночь праведники до того излушили барина, что он еле передвигал ноги. Не ругался и не проклинал своих мучителей. Успокоение и примирение настало. И вдруг показались верховые, и апостол Павел сказал, что надо подождать — не из общины ли?

Безбородый Лука приставил ладонь ко лбу, пригляделся:

— Вроде Третьяк с Михайлой Юсковым.

— Ври, — не поверил Ларивон. — Говорил же батюшка: Третьяку и все-му становищу Юсковых — каюк в нынешнюю ночь, и Калистратушке также. Потому и верижников с ружьями призвал, как тот раз, еще в Поморье, когда пожгли себя филипповцы.

— Третьяк, осподи помилуй! — ахнул верижник Терентий, помощник апостола Павла. — Михайла с ним, двое посконников и апостол Ксенофонт благодный.

Теперь и Ларивон видел: Третьяк скачет с ружьем и с рогатиной, и Михайла с ружьем и с рогатиной, и посконники с ружьями!

— Спаси Христос! — перепугался апостол Павел. — Откель у посконников ружья объявились?

«Посконниками» называли семейных правоверцев, землепашцев, ремесленников, пастухов, скотников. Им всем строго-настрого запрещалось брать в руки ружья. И только в становище Юсковых были ружья, потому что кузнец Микула — под папортом пустычника, и Третьяк тоже объявил себя верижником с ружьем. Хитрость Филаретову проведаль да воспользовался ею. Вот почему Третьяк советовал Лопареву примкнуть к верижникам и взять себе в тягость не борону, не чугунные гири, а ружье таскать!..

Лопарев до того обессилел, что не ждал спасения. Какая разница: сейчас ли его прикончат или к вечеру?

— Третьяк-то, Третьяк-то, а? — суетился Ларивон, не веря собственным глазам. — Живой еретик-то, живой!

Пятеро верховых все ближе и ближе. И ружья на изготовку. Только апостол Ксенофонт без ружья. Он и подъехал первым. Не торопясь спешился. За ним — Третьяк с Михайлой и двое бородачей-посконников.

Ксенофонт благодный указал рукой на Лопарева:

— Развяжите праведника.

Лобастый, лысый Павел поднял ладонь с разобщенными пальцами — между средним и безымянным, заявил:

— Еретиком объявился барин-то. И веру нашу отринул, и духовника ругал непотребно.

Ксенофонт также поднял ладонь:

— Сказано: развяжите и дайте ему ружье. Так повелел духовник, — объяснил Ксенофонт, и ни слова, что Филарет низвергнут.

Лопарев только покривил распухшие губы. Теперь он никому не верит. Руки у него до того отекали, связанные за спиной, что он едва ими шевелил. Вержник Терентий протянул ему ружье, но он не взял. С него хватит и той «охоты», какую он пережил за минувшую ночь.

— Бери, бери, праведник, — просил Ксенофонт, не внявший словам лысого Павла, что барин «еретиком показал себя».

— Зачем оно мне, ружье? — хрипло спросил Лопарев. — Меня и без ружья примут на каторге. В общине не останусь. Нет! С меня довольно. — И отвернулся.

Ксенофонт взял ружье у Терентия, потом у безусого малого Луки, а Ларивон понятился с ружьем в сторону.

— Самому батюшке Филарету, сиречь того, Спасителю нашему отдам ружье!

Ксенофонт молча отнес ружье в сторону, шагов на десять, и сказал Лопареву, чтоб он тоже отошел, потому — будет сказана воля духовника.

Стали лицо к лицу — пятеро подъехавших к четверем.

Ксенофонт указал на Лопарева:

— Собаки нечистые, как вы избили праведника, какой пришел в кандалы закованный искать милости, а не багогов! Ах вы собаки!.. А тебя, Ларивон, бить будем. Батюшка твой еретиком объявился! Исуса отверг, Бога отверг, и рога сатаны на лбу выросли!

От такого неожиданного сообщения гигант Ларивон лишился дара речи, а вместе с ним и его сообщники.

— Повергли крепость Филаретову, повергли! — возвысил голос Ксенофонт. — И ты, праведник, прости нас, грешных; сатано всех ввел в заблуждение да и в искус. Правил нами, яко зверь рыкающий. Нету теперь зверя. Веревками повязали и кляп ему в рот забили. Микула чепь стоготовит, и будет он сидеть на той чепи три года.

— Исусе!

— Духовник наш теперь — многомилостивый Калистрат, братия!

Ларивон чуть не упал от такого сообщения. Калистрат — духовник общины? Юсковский прихлебатель? Боров ушитанный!

— Неможно то! Неможно! — гаркнул Ларивон. — Не быть духовником Калистрату, кобелине треклятому!

Ксенофонт затрясся от подобного святотатства:

— Неможно, гришь?! Неможно?! Батюшку Калистрата — да погаными словами?! А ну, праведники, лупите гада Филаретова!

Ларивон отскочил и ружье поднял:

— Не дамся!

— Убьем, собака! — И Ксенофонт сам схватил ружье. (Апостол-то — да с ружьем.) — Убьем, слышишь? И Луку твою убьем, и чад твоих, и Марфу.

— Батюшка! — подскочил к Ларивону безусый Лука. — Молись! Али всем пропадать, што ли? Батюшка-а!

— На колени, собака! — кричал Ксенофонт. — Благостно тебе было с нечестивым Филаретом крепости держать да праведников поширать! Нету теперь той крепости, собака! На колени! Али не жить тебе и Луке!

Ларивон повалился на колени.

— Дай сюда ружье, Лука!

Лука передал ружье Ксенофонту и сам упал апостолу в ноги: помилуйте, мол, батюшку и меня с ним.

Но Ксенофонт разошелся. Где уж тут до милости, если Ларивон посмел поганым словом очернить духовника Калистрата!

— Бейте, праведники, пса Филаретова! Бейте его, бейте! Чтоб долго помнил. А ты, Михайла, и я ружья возьмем. Ежели он хоть рукой двинет, двумя пулями в башку ему!..

И тут началось поучение «Филаретовой собаки», Ларивона, самого ненавистного для всей общины — тупого и упрямого, ревностного исполнителя воли батюшки Филарета.

— Бей и ты, праведник, бей! — призвал Ксенофонт Лопарева, но Лопарев отвернулся и пошел в степь.

С него довольно! Довольно! Ему наплевать, кто теперь духовник общины — Филарет-мучитель или Калистрат многомилостивый, именем которого лущают Ларивона.

«Одну крепость заменили другой и возрадовались. Ко всем чертям!» Пусть хоть сам Христос явится к ним в духовники. Лопарев не отдаст ему поклона и не перекрестится ни кукишем, ни ладонью.

Единственное, что еще тянуло Лопарева в общину, — Ефимия. Надо же узнать, что с ней. О, до какой дикости и изуверства могут дойти люди! Надо вырвать Ефимию из общины. Пусть она узнает, что жить можно и без всенощных молитв и радений, без тьмы-тьмушцей. Если бы Лопарев сам не был

беглым каторжником, он бы увел Ефимию в город. Может, удастся скрыться в Варшаву? Достать бы подорожную бумагу и добраться до Варшавы. Там у него есть друзья. Он не предал их, нет!..

О чем только не думал Лопарев, бредя по степи. Третьяк нагнал его. На поводу еще одна лошадь — для Лопарева.

— Зело борзо! Садись, Александра!

Лопарев вскарабкался на лошадь.

— Нету теперь крепости мучителя, Александра! — возвестил Третьяк. — Калнстратушка сбил рога с Филарета, зело борзо. И ружья отняли у верижников. Пусть таскают на хребте бороны или железяки. Прижмем, собак, прижмем! Вся крепость на верижниках держалась. Ох, што они вытворяли в Поморье, кабы знал!

Лопарев помалкивал.

— Жалко благостную. Мучение приняла за всех...

— Ефимия?!

Лопарев дернул коня за ременный чембур и помчался рысью к становищу общины.

#### XIV

Возле избы Третьяка — бабий вопль по убиенному Веденейке...

Лопарев протиснулся в избу. Маленький стол убран. На лавке — тело Веденейки, того самого Веденейки, который перепугался, впервые увидев чужого человека. Кудрявая светлая головка, восковая свечка в ручонках, и около сына на коленях — Ефимия, укутанная по шее в тонкий холст: платья не могла надеть на пожженное и пораненное тело.

Посмотрела на Лопарева долгим-долгим взглядом.

Как она изменилась, Ефимия! Ни кровинки в лице. Удивительно спокойная и какая-то сумная, отрешенная.

Лопарев опустился перед ней на колени.

— Молилась за тебя, — тихо промолвила. — Пытали звери? Вижу, вижу! — А по щекам слезы, как горошины.

— Если бы я мог знать, Ефимия!.. Обманом увели в степь!

Ефимия смигнула с ресниц слезы, вздохнула, как будто что-то припоминающая.

— Нету у меня сына Веденейки. Удушили.

Что же ей сказать? Чем утешить? И есть ли утешение для матери, когда она стоит на коленях перед телом убиенного сына?

— Думала, убили тебя. Молилась, чтоб защитила тебя мать Божия. Ни о чем больше не просила Богородицу!.. Ни о чем более!.. За Веденейку молилась, чтоб вырос да проклял старца-удушителя!.. Не вырастет Веденейка. Не вырастет!

Слезы высохли на глазах Ефимии. Ей бы надо плакать сейчас, стенать, а глаза сухие, дикие, горящие холодным огнем.

— Жить надо, Ефимия! Ты помнишь, говорила так?

Ефимия покачала головой:

— Нету Ефимии. Нету. Огнем сожгли, погаными устами оплевали. Нету, нету.

Мгновенно помолчав, попросила:

— Отдай поклон Веденейке и ступай. Не зри меня, не зри!.. Тяжко мне. Тяжко. Сыми тяжесть жизни с меня, мать пресвятая Богородица. Сжался!.. Не надо жить мне, не надо! Не хочу!.. Иди, иди, Александра... Иди!.. Не песнопениями жизнь повита, а слезами, да горем, да смертью. Иди!

Лопарев наткнулся на какую-то старуху, ударился плечом о косяк и не вышел, а вывалился из сеней.

...Синели воды Ишима. Веяло свежестью реки. На отмели под водой сверкали камушки. Так же, как всегда, порхали над рекой птицы, а чуть поодаль, под навесистыми рябинами, резвилась рыба. А там, за Ишимом, — равнинная степь, и нет ей конца-краю. Есть ли там люди, на том берегу? Деревни, города? Ну а дальше? Что там дальше? Персия, что ли? Шахи с гаремами и со своей крепостью? И у них своя вера? Магометанская, кажется. Ну а что, если во дворце шаха кто-нибудь скажет: «Нету Магомета!» — на огонь поволочут или будут пытать каленым железом?

А река бормотала о чем-то, и кто знает, как далеко неслись ее прохладные воды.

## ЗАВЯЗЬ ПЯТАЯ

### I

Жизнь, как и река, — с истоком и с устьем.

У каждого — своя река. У одного — извилистая, петлистая, с мелководьем на перекатах, так что не плыть, а брести приходится; у другого — бурливая, клокочущая, несущая воды с такой яростью, будто она накопила силы, чтоб пролететь сто тысяч верст, и вдруг встречается с другой рекой, теряет стремительность, шумливост, и начинается спокойное движение вперед, к устью.

Есть не реки, а ручейки — коротенькие и прозрачные, как жизнь младенца: родился, глянул на белый свет, не успел налюбоваться им и — помер. Таким ручейком была жизнь Веденейки.

Если глянуть с истока, иной думает: нету конца-краю течению его реки — и он радуется.

В истоке не оглядываются назад. За плечами — розовый туман, и в том тумане — игрица, потехи, мать да отец, братья да сестры, бабушки да дедушки, прилжание иль лень — чем любоваться? Зато вперед глядеть радостно. Неведомые берега тянут к себе, новые люди, встречи и разминки — жизнь!..

С той поры, когда человек начинает ходить, он уже жизненспытатель, землепроходец, меряющий землю двумя стопами, а не четырьмя, как скот какой.

Только птица разве сродни человеку...

И чтобы ни в чем не уступать птице, человек еще в сказках взлетел на ковче-самолете. И тогда же подумал: есть ли кто равный мне? И ответил: нету. В том его сила и слабость.

Гордыня, властолюбие возносят иного на высоченную гору, и тогда начинается беда...

### II

Гордыня вознесла Филарета, и он возомнил о себе, что в него вселился святой дух и ему нет равных.

Попрал многих, оплевал, ожесточил, и его попрали. Тою же хитростью, какой он правил.

Калистрат перехитрил Филарета и сбил с него рога...

Опамятовался старец связанным и с кляпом во рту.

На другой день явился Калистрат с апостолами и объявил, что пустынные-верижники приговорили Филарета к епитимье на три года.

И тут Филарет подумал: устье близко...

Глянул вперед — страшно: смерть-то вот она, рукой достать.

Отогнал прочь окаянное видение и стал глядеть назад, в прошлое. Увидел себя парнем, холопом барским — нерадостно. На губе пробился ус, а в сердце любовное тленье. Огонь еще не зачался, а только чуть тлел уголек. Тот уголек заронила ему в душу холопка Дуня.



Вспомнил, как ждал, что из уголька возгорится пламя, да не дождался: холопку Дуню барин Лопарев выдал замуж за старого стасюлюбца, приезжего из Орла.

В сердце Филарета образовался камень. От тяжести того камня кровью налились глаза и отяжелели руки. Поджиг барскую маслобойню и убегал. Куда? По белу свету.

Потом странники. Такие же ожесточенные, обиженные жизнью.

— Спасение в старой вере! — вопили они, и молодой Филарет охотно принял старую веру, только бы не угодить в барские или царские холопы.

С того пошло...

Река в излучине точит берег, рвет его; обида и несправедливость ожесточают сердце. День ото дня сердце холодеет, твердеет постепенно, и тогда уже в нем не вздуешь огня радости.

И Филарет отторг радость.

— В мучениях пребывать должны мы, рабы Божьи. Спасение на небеси будет!

Старая вера затмила небо, и звезды, и жизнь.

Свиделся с равным себе по лютой злобе к барам и дворянам — с Емелей Пугачевым, беглым хорунжим из Казанской тюрьмы. Принял его как «осударя Петра Федоровича» и помог собирать войско...

Пламенем восстания обожгло щеки и душу — возрадовался.

Сладушку употребил в дело.

Пережил разгром праведного войска и ушел в странствие. Не один, с бабьей. Казачку Прасковеюшку прихватил с собой. Синеглазую казачку писаной красоты. С казачкой Хлопуша баловался. Хлопушу повязали, а Прасковеюшка Филарету досталась. Не роптала на судьбу праведница. Любви не было, обида и горечь поражения жгли сердце. Прожил с Прасковеюшкой сорок годов и ни разу не поцеловал в медовые уста.

### III

...В 1694 году в Поморье на речке Выге при впадении в нее реки Сосновки Данило Викулов основал первую староверческую пустынь. Раскольники там имели два главных монастыря — Выговский и Лексинский. В каждом из них была своя часовня с колокольней, кельи для белиц и монахов, больница для престарелых и убогих, гостиница для приезжих и много хозяйственных построек.

Монастыри подчинялись раскольничьему Церковному собору, где и занял почетное место духовника Филарет Боровиков.

Все важные дела — торговые, строительные, административные, религиозные и нравственные — обсуждались Церковным собором. Власть собора была всеобъемлющей.

Особенно строго собор следил за тем, чтобы ни в чем не нарушалась старая вера. Всякого уклоняющегося от старой веры доставляли в собор под караулом, принуждали к временному отлучению от общества, публичному покаянию, запирали в смиренную камеру с донной водой, а особо упорствующих живьем сжигали либо сажали на цепь, избивали палками, пытали огнем. Воров и насильников клеймили каленым железом и гнали прочь с Поморья.

Пустынь занималась скотоводством, морскими промыслами, торговала со многими городами, с Сибирью и даже с заморскими странами.

Жили богато, прибыльно, на широкую ногу. А те, что правили Церковным собором, слыли за земных богов, перечить которым нельзя и опасно.

Податей не платили, а сами получали мзду со всех раскольничьих мона-

стырей: с Волги, Камы, Белой и Малой Руси, Лифляндии; из Сибири получали медь и железо и в большом количестве золото.

Выговская пустынь стала потом центром всех раскольников.

Раскольники — участники многих бунтов...

Филарет в соборе вершил суд над еретиками с той же лютостью, какую перенял от существующей власти царя-анчихриста.

«Такоже крепость держать надо! Милосердия нету».

И гордыня свила гнездо в сердце.

И вот низвергнут... Легко ли?

Тяжко.

#### IV

Длинная-длинная ночь. Впереди — забвение...

На запястье левой руки — железное кольцо на зацепке. Обновка от Калистрата. От кольца — толстая цепь в десять аршин длины. В стену вбита скоба. К скобе цепь примкнута на увесистый замок. Микула Юсков услужил-таки!

Семнадцать суток на цепи. Люто. Люто.

И вспомнил, как в каменных подвалах Выговского монастыря по пояс в донной воде годами сидели еретики и он, Филарет-духовник, навеваясь в подвалы, думал: обвыклась, собаки!..

Гремя цепью, Филарет сполз с лежанки и встал на молитву.

У оконца еще одна лежанка, и на ней верижник Лука, блаудливый пес, которому Калистрат доверил приглядывать денно и ночью за Филаретом.

Лука проснулся от звона цепи, поднял голову от подушки. Филарет ехидно скрикнул:

— Что узрился, сучий сын?

Лука приподнялся на локте, отпарировал:

— Али те не спится без рогов-то сатаны? Благостно вышло: два раза трахнул посохом святой Калистрат — и роги сбил. Хваально.

— Пес рваный.

— Горбись, горбись, сатано! Молись, покель рука есть. Не будет руки — ногой будешь молиться.

У Филарета все молитвы вылетели из головы.

— Кабы общину на моленье призвать, я бы тебя с Калистратом по костям разобрал в едний час!

Лука заржал:

— Кабы у тебя рога выросли до неба, по тем рогам Ларивон поднялся бы на небеси, а с небеси головой вниз бы. Там Елисей встретил бы твою Ларивона чугушной гирею в тыщу пудов. Го-го-го!

Филарет вскочил на ноги, кинулся на Луку, да цепь удержала.

Лука покатывается от хохота:

— Тако, тако! Рви ее! Зубами спытай. Зубами. Спомни, как праведника Митрофана три недели держал на чеши и заставлял рвать ее зубами. Таперича сам рви! Ну, чаво?

У Филарета трясались руки и ноги — до того он рассвирепел. Долго не думая, повернулся задом, спустил холщовые портки, нагнулся и присоветовал:

— Глядясь в зеркало, собака грязная! Рожу видишь али нет?

Лука слетел с лежанки и — за железную клоушку, а Филарет в тот же миг, придерживая левой рукой портки, ухватил припасенную доску и успел отбить удар.

Поглядели друг на дружку, выругались, как умели, и разошлись по своим местам.

Так каждую ночь — миру нету...

Низвергнутый святой духовник — да под надзором блудливого Луки! Кто такое умыслил? Иуда Калистрат.

«Ох-хо-хо! Явился бы Мокешюшка со своей силушкой да вызволил бы меня из неволи, огнем пожгли бы отступников с крепости!» — стонал еженощно Филарет.

Еще до того, как Микула оборудовал Филарету надежную цепь, чтоб век не изнасил, побывал в избушке Лопарев...

Калистрат с Третьяком в тот вечер выпытывали у Филарета, где он прятал бумажные деньги и общинное золото, кроме того, что носил в карманках пояса-чресельника. Филарет упорствовал, прикидывался беспамятным, но когда сам Калистрат сунул в печку железную клюку и растопил печку, Филарет сдался и указал место в избушке, где было закопано в кованом сундучке общинное золотое достояние, скопленное за всю жизнь в Поморье.

Тут и появился Лопарев. Под левым затекшим глазом темнел синяк с грушу, губы еще не поджили, с коростами, но Лопарев покривил их в ядовитой ухмылке, когда взглянул на Филарета.

— «И возлюбил тя, аки сына родного», — напомнил Лопарев.

Филарет не оробел и ответил с достоинством:

— Яко сына, сиречь того — еретика и нечестивца. Также, барин.

— Что ж вы притворились? И милость оказали, и курицу убили в пост, и прятали под телегой? По нашей вере так: «Алчущего — накорми, жаждущего — напои!..»

Филарет прищурился:

— Свиныю поганую, какая рылом навоз роет, также хвально кормят: и в пост, и в мясоед, а потом на потребу тела пускают. Ведаешь ли то, барин чистенький?

Лопарев ответил со злобью:

— Теперь ведаю. Испытал и милость вашу, и доброхотство.

— Спытал, гришь? — Филарет поднялся с лежанки и, потрясая кулаком, заговорил: — Когда твой дед православный мово батюшку, холопа, да руками холопов батогами насмерть забил за едное слово, я также спытал и милость вашу барскую, и доброхотство ваше дворянское!

Сколько же горькой и жестокой правды было в ответе старца, что не обойти ее, не перешагнуть словоблудием!

«От барской крепости только и могла народиться вот такая Филаретова крепость, — неволью подумал Лопарев. — Где же правда-истина? Как ее утвердить на Руси, чтоб люди навсегда позабыли и про крепость барскую, и про ненависть Филаретову? И наступила бы жизнь вольная да радостная!»

И с тем Лопарев и ушел от старца...

## V

«Боже, Боже! На кого ты меня покинул?» — молился Филарет, отбивая поклоны, как вдруг на улице послышались голоса посконников, охраняющих избу. Филарет насторожил ухо и открыл рот — так слышнее.

— Какая ешитимья?! За што?! — узнал Филарет голос Мокея.

Лука подскочил на лежанке, да к двери. Перекладина на месте. Но удержит ли?

— Ври посконник! Убыю! Сей момент! — гаркнул голос Мокея, и Филарет притопнул:

— Тако, тако, сын мой! Убивай гадов ползучих! Убивай!

Голоса, голоса, но чужие, и слов не разобрать. И все стихло.

Раздался стук в дверь.

— Кто там? — окликнул Лука.

— Запрись покрепше, Лука, — раздалось в ответ. — Мокей возвратился с Енисея.

— Господи помилуй! — оробел Лука, крестясь.

Филарет воспрял. Ого! Мокей явился. Сын многолюбимый, сладостный, желанный. Богатырь-славунка.

— Как теперь запоешь, верижник окаянный? Погляжу-ко.

Трусоватый Лука не стал ждать, когда в избу вломится Мокей Филаретыч да «пропишет его в книгу животну под номером будущего века». Поспешно вынул из скоб перекладину — и был таков!

«Ага! Ага! Припекло нечестивца», — радовался Филарет, будто воскрес из мертвых. Теперь-то он покажет себя. Небу над Ишимом жарко будет. И Калистрата — на огонь, и всех проклятуших изменников-апостолов. «Ужотко покажу праведникам, сладчайшим, как на хворосте жариться. Ох, кабы лес тут был красный, как на Каме! Учудил бы огневище!» И тут же передумал. К чему огонь? Не слишком ли почтенной будет смерть на огне для апостолов-отступников, тем паче для Калистрата с Юсковым? «Не огнем — щипцами терзать надо. По два раза резать языки, как Ионе резали в Соловках. Пальцы ломать, чтоб хрустели. Иглы загонять под ногти. Ребра ломать, чтоб трещали».

Еще бы какую казнь придумать?

Но где же Мокей? Или к Ларивону пошел, чтобы сейчас же поднять верижников?

«Хвально то. Хвально», — переминался с ноги на ногу Филарет, поджидая Мокея с Ларивоном и с верижниками.

Пусть Калистрат отобрал ружья у верижников и отдал посконникам, — тем злее верижники. Они с топорами, с жердями побьют посконников. А сыновья-то какие у батюшки Филарета — богатыри. Прасковеюшка народила только двух казачат, но зато на диву всему Поморью. Особенно Мокей в силе. Равных нет.

Минуты ожидания тянутся муторно долго, как тропа в неведомое, будто течение времени остановилось.

«Где же они, сыны мои отрадные? Горлом бы надо подымать всех верижников. Святого повергли. Вошить надо, вопить».

Если бы не цепь! Он бы сейчас и мертвых поднял на всенощное судное молье.

И вот, подобно буре или черному вихрю, ворвался в избу Мокей. Голова под потолок. Без войлочного котелка, кудрявая, мокрая. Синие глаза вытаращены, дикие. Кожаные штаны, натертые от долгой езды в седле, вздулись пузырями на коленях. Ворот холщовой рубахи разорван от столбика до пупа. Богатырская грудь вздымается, как кузнечный мех. Из вытаращенных глаз будто льдом брызнуло на старца, и он попятился к лежанке. Только тут увидел Ларивона, перепуганного, притаившегося возле распахнутой двери.

Звякнула цепь. Филарет и сам вздрогнул от этого звука. Мокей устался на цепь и будто стал ниже ростом.

— Гляди, гляди, Мокеюшка! — гремел цепью отец. — Повязали меня еретики, собаки гряз...

— Убивец! — грохнул сын, потрясая пудовыми кулаками. — Убивец! Сына мово Веденейку удущил! А-а-а! Убивец!

Филарет повалялся на колени.

— Кабы ты... кабы ты... не батюшка мой!.. Кабы ты!.. — Мокей рванул половинку разорванной рубахи, обнажив волосатую грудь. — Убивец!..

Филарет съежился, тряс белой головой, бормотал молитву.

— Вера твоя... вера твоя... сатанинская!.. Как ты удущил Веденейку, сказывай? Сказывай, мучитель! Сатано треклятое, сказывай!..

— Исусе Христе! Исусе Христе! — бормотал Филарет, размашисто и быстро накладывая кресты.

Мокей глянул на иконы, на три свечи на Божнице, потом на отца и опять на иконы, и вдруг рванулся в передний угол, сорвал большого Спасителя и одним махом о стол — икона в куски разлетелась, и столешня проломилась.

— Исус твой милостивый и ты с Исусом — убивцы! Кровопивцы! Убивцы! — орал Мокей во все горло, хватая икону за иконой и разбивая их о стену так, что щепы брызгали.

Ларивон, неистово крестясь, подхватился и кинулся бежать.

— Убивцы! Убивцы! Нету Бога, нету! Не верю! — еще раз выкрикнул Мокей и, потрясая кулаками, пошел из избы. Ударился головой о верхний косяк, выпрямился, схватил продольный косяк, вырвал его и тогда уже, пригнув голову, ушел...

Возле избы не оказалось ни одного караульщика — все разбежались. И в становище — ни души.

— Подошли все, или как?

Постоял, подумал, остывая на воздухе.

Ах да! Ларивон сказал, что Ефимию апостолы пытали огнем как еретичку, потом назвали праведницей, после того как удавили Веденейку, и что Ефимия теперь лежит в избе Третьяка, а возле нее беглый каторжник, барин какой-то, Лопарев, и что батюшка Филарет будто из беглых холопов помещика Лопарева. Мокей так и не уразумел, у какого Лопарева отец был крепостным? У этого ли, что заявился в общину в кандалах, или у какого другого. Пошел к становищу Юсковых. Косяк от двери нес в правой руке, как пруттик. Ни тяжести, ни удобства для драки. Но если кого умилостивить по башке — душа до рая небесного долетит быстрее пули из ружья.

— Веденейка мой!.. Веденешка!.. Чадо мое светлое да разумное, где ты? Погибель пришла, погибель! Чрез Исуса, паче того — чрез Бога!.. Проклинаю-у-у-у! — гаркнул в небо и погрозил звездам березовым косяком. Если бы мог, посшибал бы звезды, рог кособокого месяца и дырку проломил бы в тверди небесной, чтобы трахнуть по лбу Спасителя и Бога заодно: отца и сына! — Молятся вам! Молитвы творят! А вы — сатано, но не боги! Сатано! Не верую боле, не верую!

Даже собаки и те попрыгали от ярости Мокея Филаретыча.

В становище Юсковых всполошились поморские лайки, но ни одна не отважилась подступиться к Мокею, будто нюхом чуяли — добра не ждаты.

Мокей постоял возле изгороди, поглядел туда-сюда, потом пнул ногою изгородь, повалил ее и вошел в ограду.

Миновал избу Данилы-большака, избу Микулы, полуземлянку Поликарпа, с которым вернулся из поездки на Енисей, опрокинул мимоходом кожаные мяки и, размахнувшись косяком, ударил по кадке с водой. Клепки от кадки разлетелись во все стороны с той же легкостью, как дробь из ружья.

Из-за сарайчика вышли четверо с ружьями.

— Опамятуйся, Мокей! — узнал голос Третьяка.

— Што-о-о?! Где Ефимия, Третьяк?

— В моей избе лежит. Ты же знаешь, как ее жег огнем твой батюшка.

— Нету батюшки! Нету. Сатано есть, — ответил Мокей, подобно раскатам грома. — Низверг я вашего Исуса! В щепу обратил. Не верую в Бога, слышите? Не верую!

— Опамятуйся, Мокей!

— Што-о-о?! — Мокей поднял над головой косяк. — С ружьями вышли? Четыре на одного? Еще Исус с вами? Ну, пуляйте! Не убьете враз — не жить вам всем, говорю.

Третьяк кинул ружье к сараю и пошел навстречу Мокею.

— Тут нету убийцев, Мокей. И сына твоего Веденейку не нашими руками удушили. И Ефимию, племянницу мою, не нашими руками жгли.

— О! — Мокей опустил косяк и бросил его в сторону, продолжая стоять. — Сына моего Веденейку!.. Чадо мое светлое! Удушили! — И, закрыв ладонями лицо, зарычал, сотрясаясь всем своим мощным телом. — Кто возвернет мне Веденейку? Кто? Красавца моего? Кто возвернет?! Иисус Христос или сатано?! Кто?!

Молчание в ответ.

— Кто возвернет Веденейку?!

Михайло Юсков подошел к Мокею, спросил:

— А кто возвернет мне Акулину со чадом?

Мокей уставился на Михайлу и, преодолевая тяжесть на сердце, переспросил:

— Какую Акулину?

— Бабу мою со чадом. Али не знаешь Акулину, на которой я женился, когда вышли с Поморья?

— Акулину? Померла, што ль?

— Твой батюшка огнем сожег яко еретичку и чадо также. Уже семь недель прошло.

Мокей сграбастал себя за волосы и готов был оторвать собственную голову, изрыгая проклятия на отца-убийцу.

— Буде, Мокей. Буде. Нету у нас этой крепости, зело борзо. Порушили.

— А Бог есть? Иисус Христос есть?

— Не богохульствуй, Мокей. Срамно так-то.

— Срамно?! Удушить малое чадо во имя Иисуса — то не срамно? Можно? Иисус повелел? Давайте мне твоего Иисуса, я его не на Голгофе распинать буду, я его...

Мокей не умыслил, какую бы казнь свершила над убийцем Иисусом.

— Где Ефимия?

— Сказал же: в моей избе лежит.

— Пытал ее сатано огнем?

— Пытал.

Мокей направился к избе, Третьяк за ним. Не надо бы тревожить больную Ефимию, и без того до смертушки запутанную. Но Мокей твердит свое:

— Погибель пришла мне, Третьяк. Вижу то. Чрез отца своего треклятого. Веровал в него, яко в Иисуса. А кто они теперь — Иисус и батюшка мой? Тати али того хуже. Попрал их, изверг из души!

— Не кричи так, Мокеюшка. Говорю же — Ефимия дюже хворая: у смерти на оглядах.

— Ладно. Кричать не буду, Третьяк. Нутром гореть буду.

Третьяк первым прошел в избу. От сальной плошки в избе густой полумрак. Справа — малюсенькая глинобитная печь с подом (хлеб-то надо печь); слева — кухонный стол с кринками, чугунами один в другом, деревянные ведра. В избе троим не повернуться — до того тесно. Только у печки пятючок, где еще можно стоять. Все остальное занято пятью коваными сундуками с рухлядью и двумя лежанками из березовых кругляшей с толстым слоем умятого ковыльного сена, а поверх сена — пуховые перины. Наволочки на подушках шиты древнерусскими узорами, одеяла с лисьими подбивками, легкие, удобные. Покрывала и рухлядь — голландские. Третьяк не обошел себя, когда от Церковного собора плывал в Голландию с пушниной и с рыбой от собора. «Мужик оборотистый — жить умеет», — говорили в Поморье про Третьяка. Одна беда: сыские царские собаки могли накрыть Третьяка, приговоренного заочно к повешению. Много он учудил в Москве и много добра награбил, породнившись с французами!..

Мокей сразу увидел Ефимино — подружню свою, из-за которой однажды пограл волю родителя, а если к тому пришло, пограл бы и Бога.

Захолонуло сердце, как только встретил черный, текучий, отчужденный и в то же время наполненный через края смертным страхом взгляд Ефимиин.

— Не пугайся, — вывернул из нутра и тяжело вздохнул.

Голова Ефимиин до щек утонула в пуховой подушке. Волосы на лбу кудрявились в кольца. Глаза ввалились, щеки впали, резко обозначились скулы, и сама такая непонятная, льдистая, будто впервые увидела богатыря Мокея.

На другой лежанке проснулась баба Третьяка, Лукерья, телесая, успевшая натянуть до шеи одеяло и накинуть на русые волосы черный платок. Рядом с Лукерьей — две девочки, беленькие, одна на другую похожие, как близнецы. Возле дверей остановился Третьяк и только что перешагнувший порог любопытный и настороженный Лопарев в однорядке, без войлочного котелка.

Для Мокея существовала только Ефимия — ее бледное, исхудалое лицо, чуть горбатящийся красивый нос, ямочка на подбородке и белые руки поверх шелкового синего одеяла. На коленях одеяло приподнялось шатром.

Мозолистая рука Мокея закрыла, как черным камнем, белую руку Ефимиин.

— Вот и возвернулся я с Енисея, — сообщил, и кадык передвинулся на его толстой шее. — Ведаю теперь хитрость сатано, ведаю!.. Знать, убивство обдумал загода. Наказывал, чтоб я не возвертался с Енисея — место обживал бы со товарищами. Двух кого послал бы в общину, а четырнадцать осталось бы на новом месте. Умыслил, убивец!.. Умыслил, трекалыйтй. А я вот возвернулся — нутро болеть стало. Места себе не находил в тайге дремучей. На зверей хаживал, а рогатина в руке дрожала. От смутности все, должно. Чужа, беда где-то. А где? Не мог понять. Думал, с общиной што. Вот и поспешил обратно с Поликарпом и Варласием Пасхой-Брюхом. Одиннадцать там осталось в тайге. Двух медведи задрали. Также вот.

Ефимия слушает, а в глазах испуг мечется.

— Боишься вроде?

— Чего мне... бояться? — И тут же подумала: «Отрекалась же, отрекалась от Мокея на судном спросе, а руку отнять не могу».

— Сатано пытал тебя?

— Глядеть хошь?

— Покажи.

Ефимия молча откинула одеяло — гляди, мол, кожь словам не веришь. Грудь вспухшие, пожженные клошкой, затянулись черными коростами, как зимняя кора на плакучей иве. И на животе такие же коросты и опухоль. И на плече рубец от пастырского посоха.

Закрылась, сказала:

— Ступай теперь. Благодарствуй батюшке Филарету Наумычу, яко праведнику пречистому. — И, закрыв глаза, прикусила губу, чтоб сдержать слезы.

У Мокея сами по себе поднялись кулаки и в горле костью застряла злорада. На пропыленных медным загаром щеках вспухли желваки. И борода будто задымилась рыжим пламенем.

— Кабы он... не батюшка... по ветру бы развеял пеплом!

Помотал головою, спросил:

— Кто из апостолов сполнял волю сатаны? Кто жег тебя железом? Калистрат?

— Нет, Калистрат не жег.

— Кто? Сказывай! За твои коросты, за Веденейку удушленного нонешнюю ночь суд буду вершить. Один супротив всех верижников и паче того — апостолов. Супротив бород сивых и чужунных! Обмолочу головы, а потроха в землю втопчу на три сажени. Сказывай!

Глаза Ефимиин распахнулись от ужаса. Знала: глагол Мокея не по ветру бьет, а по живому телу. И если Мокей поднял руку, жди: смерть будет. Сколь

раз сама ждала смерти! Но рука Мокея знала-таки меру для бабы своей: спу-  
скала силу, не доходя до тела.

— Сказывай! Али мало тебя жгли?

Ефимия горестно вздохнула:

— Оттого и крепость народилась. Тиранство — за тиранство. Око за око,  
зуб за зуб. К погибели то приведет, не к жизни. Как бары да дворяне тиранят  
народ, так и сам народ промеж себя стал тиранить друг друга, да мучить, да  
изводить. Не по-Божьи то! Исус заповедовал...

— Нету Исуса! В щепы разлетелся! — бухнул Мокей, как молотом по на-  
ковальне.

Лукерья с перепугу икнула и, не успев перекреститься, нырнула под одея-  
ло, а за нею — девочки.

Третьяк набожно перекрестился:

— Опамтуйся, Мокей. Опамтуйся. В избе-то у меня — да экое богохуль-  
ство. Неможно так, zelo борзо.

Мокей гавкнул, не обернувшись:

— Выдь за дверь!

— Изба-то моя, Мокей. И баба моя тут со дщерями.

Мокей что-то хотел сказать Третьяку, но увидел чужого человека, боль-  
шеголого, глазастого — не посконника-образину и не верижника. Не тот ли  
барин Лопарев, про которого говорил Ларивон?

— Хто такой?! — И толстые брови Мокея сплывались. — Чо молчишь?  
Али язык за дверью оставил?

— Лопарев, — последовал ответ.

— Барин?

— Беглый каторжник.

— Из бар да на каторгу — дивно. Таперича праведник, сказывают? И пач-  
порт пустытника занимел?

— Не праведник и не пустытник.

— И то! — хмыкнул Мокей. — Из бар да в праведники — небо хохот-  
ать будет. Ведомо, каковы бары да дворяне! Холопов бьют, холопов жрут и  
на холопах выезд совершают, как на собаках лопари возле Студеного моря.  
Слыхал про лопарей? Дикари, а чище бар и дворян, паче того — царя и ан-  
чихристовых попов.

Ефимия хотела защитити Лопарева, но побоялась перечить Мокею: как  
бы хуже не было.

Мокей посопел, кивнул головой:

— Ступай из избы, барин. Аль ты от сатаны народился — зришь чужую  
подружню в постели да без платка?

Лопарев перемял плечами и ушел. Мокей кивнул Третьяку, и тот не стал  
ждать, когда непрошенный гость даст пинка.

— Барина зрить — свою душу зорить, — проворчал Мокей, закрывая  
дверь, а тогда уже вернулся к Ефимии.

— Вержников молотить буду. Апостолов! Также обмолочу, яко ячмень  
из гумна.

Ефимия приподнялась на подушках, думала, чем бы укротить ярость чело-  
века, потерявшего голову.

— От зла зло творить будешь. Под Богом ходишь, вспомни!

Мокей pokrивил губы:

— Нету Бога, Ефимия! Нету! Не видывал, не зрил за тридцать годов. Сы-  
на мово и твою, Веденейку кудрявова, под Исусом удавили. И Бог то зрил, и  
силу дал душиателям. Такова Бога, паче с ним Исуса — пинать надо, в землю  
вогнать на три версты, в геенну огненну ввергнуть, в смолу кишучу!

Ефимия не на шутку перепугалась и заслонилась ладошками.

— Что испужалась?



— Не богохульствуй!

— Али Бог повязал тебя веревками на Лексе и тащил пытать в подвалы собора?! Бог тебе жег каленым железом перси и чрево? Зрила Бога али сатану? Нет Бога, Ефимия. Омман едний, как перст вот.

— Изыди, изыди! Исуса — да погаными устами! И гром тебя не ударил!

Мокей осклабился:

— Не ударит небось. Нету у нево грома. Нету у нево молний. Нету у нево ушей. Нету у нево глаз. Пустошь едная. Исус от книг пришел со Богом своим. От Библии той да Евангелия. Умыслили звери. Туман напустили, чтоб люди за тот туман огнем себя жгли, молитвами да постами морились да младенцев душили. И то есть Бог? И то есть Спаситель?!

— Свят, свят, свят!

— Али ты веруешь опосля железа? Опосля Веденейки? Озрись, отринь туман тот!

В глазах Ефимии пламя гнездо вьет. Мокей ли рядом? Не сатана ли в образе Мокея и с бородой Мокея?

Лукерью под одеялом трясет лихорадка — до того перепугалась.

— Час настал, откроюсь тебе, — продолжал Мокей. — Отринул я Бога, когда ништо парнишкой ходил. Батюшка тогда в Большом соборе на Выге духовником был, пытки учинял еретикам. Водил меня в каменные подвалы, чтоб я потом также изничтожал еретиков. Зрил, зрил!.. Кости ломали тем еретикам, языки щипцами вытаскивали и ножом отрезали, уши резали, под ноги гвозди загоняли и жгли, жгли. Как тебя вот. Каменел потом от страха. Падучая стала бить, и батюшка отослал меня к охотникам-верижникам на море. И думал с той поры: Бога нет!.. Лютость и зверство едное, чтоб веру одну держать.

И, потрясая кулаками, спросил:

— А к чему та вера, скажи? Туман тот? Не принимаю тумана. Жить вольным хочу, яко птица: лба не крестит и пост не блюдет, а под солнцем ликует.

Ефимия судорожно сжимала руку рукою. Если бы давно вот так открылся Мокей! Вечно молчал, сопел себе в бородку, свирепостью душил, а от сердца слова ни разу не обронил.

— Озрись, озрись, Ефимия! Отринь туман тот. Клятву дам: на руках носить буду. В городе жить будем. Без Бога, без Исуса.

Ефимия готова была втиснуться в подушку:

— Не будет того, не будет! Изыди, изыди! Богородица пречистая, спаси мя!..

Мокей глянул на иконы в переднем углу:

— Пощепал бы их! Со бородейцей, со святыми угодниками, со Исусом. Ладно, молнсь.

И ушел.

Ефимия не могла оторвать взгляда от двери, за которой скрылся Мокей.

Он ли был в избе? Мокей ли?

## VI

Не удалось Мокею обмолотить апостолов и верижников. Как только высунул голову из сенной двери на улицу, в тот же миг в шею впилась веревка. Не успел рукой взмахнуть, как дыхание перехватило. Третьяк постарался с Микулой.

Захлестнув удавкой, повалили и руки заломили за спину да веревками связали. И ноги стянули в кучу.

— Не удушили? — пыхтел Микула.

— Экого в час не удушишь, — ответил Третьяк и чуть отпустил веревку на шее Мокея. Тот со свистом набрал воздух, узнал Юсковых.

— На огонь поволокете? — спросил. — Исус-то, он с огнем да с ворами и грабителями за одним столом трапезу правит.

Третьяк, долго не раздумывая, завернул в сени, нашарил там какую-то тряпку, помойную, должно, и этой тряпкой упаковал срамную пасть богохульника. Подняли и потащили к избе Филаретовой на судный спрос...

По всей общине — вопль и стон...

Мыслимое ли дело: еретик пощепал древнейшие иконы! Такого не зрели отроду до нынешнего века. Старушонки ревели в голос. Старики изрыгали проклятия. Молодые мужики и молодухи набожно крестились. Ну а пустычники-верижники — тут и говорить нечего: источались в вопле, как ветер в свисте в зимнем лесу.

Со всех землянок и избышек бежали мужики и бабы к избе Филарета, чтоб откреститься от еретика и отвести от себя кару Господню.

Возле избы Филарета, на той самой телеге, где когда-то скрывался беглый каторжник Лопарев, соорудили стол, накинув на телегу скатерть, а на ней — щепы от древних икон. По краям телеги свечи зажгли.

Сытый чернобородый Калистрат, умильный и благодостный, торжествующий свою полную победу над Филаретом, возвышался возле телеги в облачении духовника. И крест золотой на цепи, и посох новый с золотым набалдашником от старого, и голос зычный, и в академии побыл к тому же. По всем статьям — архиерей.

Мокея поднесли к телеге, развязали ноги.

— Выньте кляп, — повелел Калистрат и приказал, чтоб привели старца Филарета.

Низвергнутый духовник идти не мог: паралич хватил. Правая рука и нога чужими стали и рот перекосялся. Легко ли было пережить, как сын Мокей щепал самого Иисуса?!

Отца и сына поставили рядом. Двое верижников поддерживали старца под руки.

Калистрат помолчался, начал спрос:

— Сын ли твой Мокей стоит рядом?

У Филарета что-то забулькало в глотке, не разобрать.

Калистрат протянул руки к общинникам:

— Братия и сестры многомилостивые! Зрите, зрите, вот он, пред очами вашими старец Филарет. Поднимали вопль, што я под срудом держу Филарета и посох отобрал силой, а того не ведаете, как я сбил тем посохом рога сатаны с башки старца.

Пронесся глухой стон: «Оглаголать, оглаголать еретика», — что означало: обвинить.

И Калистрат «оглаголивает»:

— И вот, братия и сестры, заявился ноне вечером Мокей, сын Филаретов. Кабы старец не осквернил Иисуса, и творца нашего, и духа святого, разве свершилось бы экое святотатство?! Зрите, иконы наши в щепу обратились. Образ Спасителя...

Калистрат перечислил иконы.

Суеверная толпа старообрядцев придвинулась к телеге, требовала выдать еретика Мокея, чтоб тут же растерзать его и в Иишме утопить.

Протодаьяконский бас Калистрата угомонил единоверцев:

— Волки вы али праведники? Под Богом вы стоите или под сатаной? — и ткнул ладонью в небо.

Мокей слушал, понимал и ухмылялся. Калистрат дурачит мужиков и баб, а сам себя почитает «вседетельным» — совершенным.

— Ты веруешь в Бога, Мокей, сын Филаретов? — толкнул бас Калистрата.

— А ты веруешь, вседетельный Калистратушка? Али притвор едный, штоб брюхо набить дармовой снедью? Эко! Он верует! Чей крест носишь? Филаретов! Четыре фунта золота! С этим крестом отец мой Казань брал, а ты его себе нацепил. Хвально!

Калистрат затрясся от злобы:

— Веруешь в Бога али нет? Глаголь, брыластый сын еретика!

— Ты сам брыластый боров!

Как можно стерпеть такое поношение? Духовник Калистрат — да брыластый — толстогубый, значит, срамной!

— В третий раз вопрошаю: веруешь в Бога?

— А ты сам зрил Бога? Исуса зрил? Угодников зрил? И где они, сказывай! На небеси? На тучах али под тучами? На звездах сидючи али под звездами?

— Еретик, — возвестил Калистрат.

— Также ты, брыластый еретик, паче того — мытарь хитрый!

— Еретик, еретик, промеж нас, братия! — орал Калистрат.

— Брыластый боров, вор, мытарь, крыж римский! — отвечал Мокей.

Верижники попадали на колени от богохульства Мокея. Старухи визжали. И варуг возле телеги появилась Ефимия в черном платке, укутанная до шеи в синее покрывало. Как она в таком одеянии прошла к телеге, никто не заметил. Приблизилась к Калистрату, распахнула на груди покрывало, спросила:

— За что мне перси жгли железом, Калистрат, скажи? И ты зрил то и молчал. Смотрите люди, как мне праведники Тимофей, Андрей и Ксенофонт жгли железом перси и на иконы молились. Смотрите! И под теми иконами сына моего и Мокея, Веденейку, подушкой удавили. Бог ли то заповедовал, скажите?!

Толпа притихла, замерла.

Старухи испуганно отпрянули: срам-то какой! Ефимия-то совсем сдурела — голые перси выставила на судном моленье!

— Голюю меня пытали старцы, жгли огнем да на иконы молились. И то творилось по воле изгоя Филарета, сатано треклятого! И Бог то заповедовал, скажите?

У Калистрата жилы вздулись на лбу. Он до того взмок в своей иоановской верблужей рубахе, что даже чувствовал, как по ложбине спины течет пот.

— Мучение ты приняла во имя Господа Бога нашего, Ефимия! — ответил Калистрат и гаркнул во все горло: — Помолнися, братия и сестры, за мученицу Ефимию!

Помолились, пропели аллилуйю.

— Поди теперь, Ефимия. Негоже стоять так-то, — погнал Калистрат.

Ефимия не уходила.

— Мокея развяжите. Не делайте суд Божий своими руками. И сказано в Писании: «До семи ли раз прощать брату моему, согрешающему против творца нашего?» И сказал Исус: «Не говорю до семи, а до семидесяти раз». Тако ли в Писании, Калистрат?

Калистрат подтвердил.

— Сына мово и Мокея дуушили. Чей грех?

— Изгоя Филарета! Сатано!

— У сатано были руки старцев: Тимофея, Ксенофонта, Андрея. Пошто не судите их, мытарей?

Верижники закричали: гнать бабу! Но Ефимия требовала свое:

— Не судите мытарей, не судите Мокея. Иконы он порубил в беспамятстве. И Бога отринул от тяжести. Пусть идет в мир и там узнает: есть Бог или нету. Развяжите его!

Третьяк подскочил к племяннице, чтоб увести ее, но помешал Лопарев.

— Мокея судите — судите меня! — кричала Ефимия. — Жгите огнем, и тогда погибель всем будет за мытарство, тиранство! И сказал Исаяй...

Калистрат сообразил, что решение надо принимать немедленно и что брыластого еретика Мокея не удастся сжечь, если оставить в живых Ефимию. А разве можно тронуть благостную мученицу, не посрамив самого себя?

— Братья и сестры, — затянул Калистрат, — отторгнем еретика, яко не бывши с нами. Уйдешь ли ты сам, Мокей Филаретов, али гнать тебя батогами связанного?

Мокей умоляюще воззрися на Ефимино.

— Подружия моя, Ефимия, пусть со мной уйдет. Не жить ей с вами, мучителями! Уйдем, подружия.

Ефимия откачнулась, молитвенно сложив руки на груди. А со стороны женщин и даже старух пронесся вопль:

— Не уходи, благостная! Не уходи. На кого ты нас покидаешь, скажи?

— Со Исусом оставайтесь! — ответил Мокей. — Со Калистратом-гордоусцем.

— Батогами гнать еретика! Батогами!

— Подружия, уйдем! — звал Мокей супругу свою.

— Не будет того, Мокей Филаретов. Не была я твоей подружией, а черной рабыней, сенной девкой в избе Филаретовой. Веденейку мово мучитель отторг от груди моей и удушил! Не стало Веденейки, чужие мы вовсе, Мокей Филаретыч. Прощевай! Пусть настанет в душе твоей просветление.

— Оно у меня настало, — не сдавался Мокей. — Озрись, может, и ты станешь, как я.

— Не будет того, не будет!

Ничего не поделаешь. Надо уходить одному без подружин. И тяжело, и горько.

— Дозвольте на могилке чада мово побыть, — попросил Мокей и, общинники разрешили ему погостить на могилке сына.

До солнцевсхода Мокей просидел со связанными руками на холмике могилы, и кто знает, что он передумал за это время?!

Сготовили Мокею лошадь в седле, на которой он вернулся с Енисея, положили в мешок каравай хлеба, сушеной рыбы и только тогда развязали руки. Третьяк и два надежных посконника стояли с ружьями, предупредив, если Мокей заартачится, стрелять будут.

Ефимия тоже пришла проводить Мокея.

— Пусть дорога твоя будет светлой, яко солнышко, — пожелала Ефимия, низко поклонившись. — Прощевай!

— Прощевай, подружия!..

Мокей погнулся в седле, тронул поводьями. Ларивон на лошади поехал провожать его.

## ЗАВЯЗЬ ШЕСТАЯ

### I

Черной застывшей рекою прорезался по степной равнине Московский кандальный тракт.

Два конца у тракта, как у веревки, да концов не видно.

Поверни коня на закат солнца — в Тюмень уедешь, а там через Урал на Волгу иль в Москву, в Суздаль, в Поморье — куда угодно.

По изведенной дороге легче ехать, было бы куда. Мокей подумал, повернул солового коня на восход солнца.

Ларивон помалкивал. Как там ни толкуй, а брат — еретик, древние иконы пощипал, Бога отринул.

Надолго ли расстанутся? Кто знает! Может, навсегда.

— Как теперь жить будешь, Ларивон?

Ларивон перекрестился:

— И жизнь, и смерть в руке Бога.

Мокей покособочился в седле:

— Богу молись, а за ум берись, скажу. Третьяк с Калистратом прибрали общинное золото, гляди, как бы холопом не стал у Третьяка.

— Холопом не буду.

— Зри за Третьяком. Волк зубастый, хвост — лисицы.

Ларивон понимает: хвост у Третьяка что у лисицы, а пасть зверя.

— Ежли узришь ощеру, шибани по башке да общину на свою сторону перетяни. На новом месте дом поставь о пяти стен, какой был в Поморье. Может, понаведаюсь к тебе на Енисей.

— Дык говорили же: место приглядели не на самом Енисее, а в тайге?

— Тамошнее Енисейским прозывается. Как у нас Поморьем.

— Тако!

— Батюшкин крест золотой сдери с брыластого.

— Духовник он таперича, брыластый, как сдерешь?

— Верижников зуди.

— Неможно. Ересь будет.

Мокей уставился на старшего брата огненным взглядом, да разве прожжешь шкуру Ларивона?

— Рухлядь твою Третьяк не ворошил?

— Эва! У Третьяка своей рухляди много. На пяти рыдванах тащил. Али запамятовал?

— Гляди! Деньги запрячь в землю. Паче того — золото.

Ларивон вытаращил глаза:

— Откель деньги? Золото? Разве батюшка дозволил бы, штоб утаить кусок от общины? В ремне золото носил да в кованом сундучке. Третьяк с Калистратом взяли.

— Дурак! Кругом общинанный. Чем жить будешь? Третьяк общину порешит, и ты в холопах будешь ходить.

И тут же достал из потайного карманка в очуре штанов несколько золотых и бумажных денег, припрятанных на черный день.

— Бери! Да штоб Третьяк не унохал.

Ларивон запрягал деньги, подумал: ладно ли будет, если утаить от общины?

— Тот барин, Лопарев, к Ефимии льнет?

— Из-за того и батюшка пытал ведьму, штоб порешить всех одним часом. И барина, и Третьяка, и всех пудов Юсковых. Через них пришла напасть. Барин-то у Данилы Юскова живет, а к Третьяку на оглядку ходит. К Ефимии, значит. И пачпорт достала барину от Юсковых, и сговор имели, как порешить духовника да Калистрата в чин возвести.

Мокей долго молчал, раздвывая ноздри. Понаведаться бы тайно в общину да захватить барина возле Ефимии — и одним разом отправить обоих на небеси.

«Озрись, отринь туман тот», — вспомнил Мокей и содрогнулся: как жить без Бога? У кого просить милости и кому грехи отдавать? «Единый, как перст. Конь подо мной да степь предо мной». Не до Ефимии в такой час. И без того неведомо, куда ехать, где жить и что в изголовье положить. Камень ли, ком сена или взять у кого подушку!

— Прощевай, Ларивон!

— Прощевай, Мокеюшка. Опамятуйся да покаяние наложи на себя, и Бог простит, может.

Поклонились друг другу и разъехались.

## II

Смятение в душе Ефимии. И в жар, и в холод кидает..

«Озрись, отринь туман тот!» — бьет, бьет нутряной вопль Мокея.

«Нету Бога! Сына мово и твое, Веденейку, под Исусом удавили!»

Правда в том, и горечь в том. Сама себе не верила. Накишь слоилась на сердце, истекая скупыми слезами.

Вспомнила, как Амвросий Лексинский, потрясая перед нею Библиями на

разных языках, вошел в пещере: «Блуд, блуд, скверна книжников, а не Божье слово». И Ефимия боялась тому поверить: правда ли то, что Библия и откровения апостолов в Евангелии не Божье слово, а скверна книжников? Думала: Амвросий из памяти и разума выжил, потому и отринул Бога. И все-таки тянулась к Амвросию: слушала неистового старца, а потом записывала в тетрадку все его богохульства — не для предательства Церковному собору, а для собственного разумения.

И вот Мокей, сын Филаретов. Не открывал разночтения и путаницы в Святом писании на разных языках, а просто нутром, жизнью своей пронзил, прозрел, и — отринул Бога «яко не бывши». Не потому ли он, Мокей, терпеть не мог, когда она, Ефимия, говорила ему про Писания? «Не мое то дело, — обычно отвечал он. — Писанием зверя не убьешь и рыбу из моря не выловишь».

И вдруг открылся. Нежданно-негаданно. Налетел, как черная буря, переполошил все становище древних христиан и, будто копытом, ударил по тверди небесной, и не стало там ни Бога, ни Спасителя, ни святого духа, ни Божьих угодников.

Ефимия содрогнулась от страха...

И не одна Ефимия...

Подобного Мокея никак не ожидал встретить Лопарев. Он думал, что Мокей — первобытный космач, такое же непроторенное существо, как и его старший брат, Ларивон Филаретыч, а тут — богатырь-силушка, низвергнувший богов и, как обухом топора, со всего размаха трахнувший по самой крепости. «Это же сам Пугачев или Стенька Разин, — думал Лопарев, когда Мокей прогнал его из избы, чтобы он не зрил подружью в постели без платка. — Если бы нам такого Мокея на Сенатскую площадь — поражения бы не было. Пестель убоился поднять такого Мокея, потому и отказался призвать народ к восстанию. А без таких Мокеев Русь не обновить и самодержавие не свергнуть». И тут же возразил себе: «А что будет с нами, с просвещенными дворянами? Или так же, как Мокей — иконы, пощипают всех на лучину? Резня будет, кровь будет. Много крови будет».

Нет, еще не созрел народ для такого восстания. Можно ли допустить жесточайшую резню, какую учинил Пугачев и все его войско? «Не с дикарством поднимать народ надо на обновление России; не тащить на престол «справедливого осударя-батюшку Петра Федоровича», а чтоб из самого народа вышли справедливые правители России; не тираны, каким показал себя корсиканец во Франции, а такие, как русский академик Михайло Ломоносов!»

Крепко задумался беглый колодник Лопарев; себя он увидел в Мокее и невольно признался, что нет в нем такой решительности и необоримой силы, как в Мокее. «Это же ураган! Тайфун. Одним махом покончил со всеми богам и святыми угодниками».

И когда Третьяк призвал Лопарева вязать Мокея, Лопарев наотрез отказался: — Или тебе жаль крепости, Третьяк? Тогда зачем посадили на цепь Филарета?

— Не то глаголешь, барин, zelo борзо! — осерчал Третьяк. — За святотатство, какое учинил в моленной избе сын Филаретов, суд вершить будем. Всем миром! На огонь поволокем гада Филаретова! Ужо устроим огневище, барин!

— А я вам говорю, — не троньте Мокея! Или ты такой верующий, Третьяк, что без тех икон жизни не мыслишь?

— Мои мысли со мной останутся, барин. А тебе присоветую: не являйся на судное моленье; худо будет. Праведников с веры не совратить тебе, барин! Точно так же сказал бы сам Филарет...

Лопарев не принял участия в разбойничьем нападении на Мокея, но сразу

же, как только его потащили на судное моленье, долго не раздумывая, пошел в избу Третьяка.

Ефимия, конечно, не слышала, что случилось с Мокеем. Лежала высоко на подушках и горько плакала.

— Ты, Александра? — тихо спросила. — Беда грянет, беда!.. Чую сердцем — Мокеюшка чью-то кровь прольет и сам погибнет.

Лопарев сказал, как скрутили Мокея и потащили на судный спрос.

— Третьяк с Микулой? — переспросила Ефимия. — О мать Божья, изгои окаянные! Не дам Мокея! Не дам сатанинскому судилищу!

Лукерья стала уговаривать Ефимию, чтобы она не вставала, но разве есть сила, которая могла бы остановить благодетную Ефимию?..

Судный огонь не занялся...

Третьяк с духовником Калистратом проклинали Ефимию, а более того барина Лопарева. Как быть с бариним? Если прогнать из общины — не выдаст ли он, что в общине много беглых каторжников, а самого Третьяка давно ждет петля?

За Лопаревым установили строжайший надзор.

Ефимия, только Мокей уехал, ушла к себе в избенку, поставленную им самим, и закрылась там; даже возлюбленного кандальника не пустила к себе.

Третьяк ругался:

— Во спасение еретика поднялась с постели да в срамном виде явилась перед общиной! Али мало того, как Мокей терзал тебя шесть годов? Как изгалялся над тобой? Кого спасала? На огонь бы еретика, удавить бы, иуду!

Ефимия ответила:

— Не Бог глаголет твоими устами, дядя Третьяк, а нечистый дух, да корысть, да лихонимство.

Так оно и было. Хоть лютую крепость держал Филарет, да Третьяк с Юсковыми озирались, как бы посконники и верижники не общипали! И вот настала разминка. Третьяк взял вожжи в свои руки, мало того — золото. И немало. Филарет с Филиппом-строжайшим двадцать лет собирали: торг вели с заморскими странами, чтоб накопить много золота, потом бы ружья и пушки тайно приобрести и тогда уже из Поморья двинуться со своим войском не на Москву, а прямо на Петербург проклятый! В самое гнездо англичриста.

Третьяк потирал руки: благодетно вышло! Сундучок золота у него в руках. Калистратушка пусть носит крест золотой: четыре фунта! Немало. Хватит духовнику. Сумел бы с толком распорядиться крестом. А вот сундучок тяжелехонек. Община пока что в смятении — тридцать три дня минуло после того, как свергли Филарета. А вдруг потребуют: отдай, Третьяк, общинное достояние! «Зело борзо! Мешкать никак нельзя. Богатство-то экое!» А тут еще Ефимия заперлась в Мокеевой избушке. Что она задумала? Не поджидает ли Мокея? А вдруг Мокей явится ночью да с ружьем и топором, застигнет врасплох Третьяка с Калистратом, сведет в кучу, ударит, как горшок о горшок, и дух вон!

«Умыслила, умыслила, болящая», — стонал Третьяк, успев отполовинить общинное достояние из кованого сундучка. Поговорил с Калистратом, и установили караул возле Мокеевой избушки. Четырех посконников ставили ночью, трех — от зари до зари.

В двух крохотных оконцах Мокеевой избушки ночами не гасли свечи. Под оконцами — старая рябина, и на ее ветках, склонившихся к окопечкам, играли световые блики, от чего листья казались серебряными.

— Сколь свечей-то пожжет, болящая, — кричал жадный Третьяк. Потом спросил у Марфы Ларивоновой: много ли свечей в избе Мокея?

— Да весь воск там, — сказала Марфа.

— Много ли воску?

— Пуда три али четыре. Мокей сам притащил тот воск из города Тюмени.

Третьяк схватился за голову: три пуда воска! Богатство-то какое! Попробовал отобрать воск, но племянница не открыла дверь.

— Воск Мокеев и мой. И рухлядь в избе Мокеев и моя.

— Общинное! Общинное! — тужился дядя Третьяк.

— Тогда и твоя рухлядь, дядя, общинная. И воск у тебя общинный. Пуда два будет. Сама видела. Отдай свой воск и рухлядь всю, и я отдам свой воск и рухлядь всю.

Такого отпора Третьяк не ожидал от племянницы.

— Блаудница, нечестивка, — ругался он, жалуясь Калистрату. Вот, мол, спасли ее от побелели, от сатаны Филарета, а она тут же отрыгнула благодать и заперлась в избе мучителя. — Поджидает зверя, ехидна! Ежли явится, заглохнет пули, тать болотная!..

Третьяк и Калистрат успели забыть, что если бы Ефимия назвала их имена на судном спросе, давно бы им не топтать землю. Теперь, оказывается, они спасители Ефимии.

### III

Калистратушка бороду холит да в Юсковом становище пироги жрет. Апостолов-пустынников, учинявших тайный суд при Филарете, прогнали из общины: «Ступайте странствовать, яко праведники Иисусовы». И те, как ни тягостно было покидать общину, накинули котомки на плечи и подались на все четыре стороны.

Верижников и тех Калистрат обжал: «Богу молитесь, а за топоры беритесь». И повелел пилить дрова в соседней роще, чтоб всем избам хватало на зиму.

Третьяк правил хозяйством. До Третьяка главенствовал сам Филарет с Ларивном, а тут, на тебе, хитрущему Третьяку Калистрат передал вожжи. Известное дело: Третьяк Юсковых не обойдет, мощну набьет, лучшие куски сожрет, а других морозить будет, поститься заставит да еще холопами сделает.

Беда, беда!

Старики наведывались в избу к Филарету, да тот ополоумел будто. Глядит, слушает, а у самого рот набок и звуки вылетают бессловесные. Глагола лишился. Ларивон примолк, погорбился и покорно гнул хрип на общинных работах.

По избам и землянкам смятенне. Не стало крепости Филаретовой! Блауд, блауд. Еретики обьявятся и веру порушат!..

Роптали и молились за старца Филарета, чтоб Бог послал ему глагол и силу, как в Поморье, чтоб огнем пожечь Юсковых с Третьяком и Калистратом.

Парни с белицами грищами тепились, да еще и песни украдкой пели. Слыхано ли? «Гам, где веселье, там и сатаны радень».

Ходоки с Енисей: Поликарп Юсков, Варласий Пасха-Брюхо, прозванный так за обжирание пасхальными куличами, сказывали про Енисей, где остались одиннадцать ходоков обживать место: «Места на Енисее как наши, поморские. И лесу красного — видимо-невидимо, и река огромная, и рыбы много, и паче того — зверя в тайге».

Вольной волюшки — хоть захлебнись.

Верижники приступили к Калистрату: ехать, мол, надо на Енисей, там и Беловодьюшко для спасения душ.

Но как же ехать, глядя на мокрую осень и на зиму?

— Ехать, ехать! — орали верижники. Им-то что: встал, встряхнулся, в мокротуны обулся — и все сборы.

Третьяк образумил:

— Зимовать где будете? Со еретиками-щепотниками в деревнях? Али под небом да под снегом? Не подохнете ли, яко тараканы? На Ишиме в землю зарылись, землянки да избушки понастроили, ячмень в землю усы клонит, пшеница на сорока десятинах стеной стоит. Бросить все али огнем пожечь?



Остались зимовать.

В сухую погоду, до того как подошел ячмень, поморские круглые копы сена перетасили на волокушах к скотным пригонам, а для дойных коров устроили навесы из жердей. Все мужики и подростки работали от темна и до темна. Более двухсот коров в общине да столько же лошадей. Было за тысячу коров, да в Перми сожрали.

Третьяк с верижниками Гаврилой и Никитой ездили в большое село на тракте, продали там сырые и выделанные кожи, отмятые овчины, масло и закупили у тамошнего купца сахар, крупу разную, железо для кузницы и кто знает что еще. Узнай у Третьяка!

Время подоспело осеннее, переменчивое. То дождь моросит, то пасмурь темнит, то ветер полощет.

Лопарев прилепился к Микуле — водой не разлить. И в кузнице работают вместе, и ляды точат, и брагу пьют. Общинники роптали: не вышло праведника из барина. И руки белые, и говор не мужичий, и про молитвы, должно, ни разу не вспомнил, если только знал их. При Филарете так бы не было: старец не терпел белокожих еретиков.

Ефимия тем временем отсиживалась в Мокеевой избушке, и кто знает, что она там делала? «Сорокоуст справляет», — говорил Третьяк.

#### IV

Настало утро сорокоуста...

Третьяк собирался ехать в город Ишим и позвал к себе Калистрата, Микулу и Лопарева.

Лукерья отварила по-башкирски барана и подала его на серебряном подносе царской чеканки и росписи. Лопарев догадался: не иначе как из кремлевской добычи поднос, как и кубки для вина.

Вместо лавок — кованные сундуки.

Из серебряных кубков вино пили, не брагу, серебряными ложками юшку хлебали и серебряными вилаками мясо в рот таскали.

Для поездки в город Третьяк вырядился в пласовые шаровары, в красную рубаху под широким ремнем на чреслах, и поддевку Лукерья достала суконную, отменную, Бог знает, с чьих плеч стянутую. Калистрат и тот преобразился. Власяницу из конского волоса давно сбросил, а надел из черного пласа рубаху с широкими и длинными рукавами, шитую на манер боярских. Золотой крест на цепи так и сверкал на черном пласе.

Верижники Никита и Гаврила, едущие в Ишим с Третьяком, потчевались отдельно. Лукерья соорудила для них стол на перевернутой кадушке, застланной дорогой скатертью.

За такой-то трапезой и застала гостей у Третьяка племянница Ефимия.

В суконной однорядке с перехватом у пояса, в черном платке, повязанном до бровей, с большим глиняным горшком в руках, Ефимия быстро и резко взглянула на всех от порога, как кипящей смолой окатила, и, поклонившись в пояс, молвила:

— Есть ли кому аминь отдать?

— Спаси Христос! — подхватил Третьяк, ответно кланяясь. — Слава Исусу — милости сподобились. Думал, запамятовала про дядю-то, зело борзо.

Ефимия открыла горшок поминальной кутьи и зачерпнула деревянной ложкой отваренную пшеницу.

— Помяни, дядя, убиенного сына мово Веденейку в нынешнее сорокоустное утро.

— Господи помилуй, запамятовал. — Третьяк размашисто перекрестился.

— Дай ложку — кутью положить. — И опять Ефимия будто черным хлыстом стегнула по ушитанному и потному лицу Калистрата, по медной бороде

Микулы и по пунцовому, отдохнувшему от невзгод лицу Лопарева и как бы невзначай глянула на стол, полный яств и вина.

Третьяк принял кутью в свою ложку. Лукерья тоже взяла и на два серебряных блюда попросила положить кутьи для дочерей, которых не было в избе.

Под Лопаревым будто горел сундук — до того ему было стыдно. А ведь знал: в сундуке украденное общинное богатство спрятано. И все-таки он не в силах был оторваться от сундука. Сколько же спокойного презрения было во взгляде Ефимии! Так смотрят святые на грешников перед тем, как спровадить их в геенну огненную.

— Ты ли здесь, Александра Михайлович, который приполз к нам в общинку, в цепи закованный?

Лопарев едва продохнул стыд:

— Я, Ефимия. — И вышел из-за стола.

В глазах Ефимии — кружевной узор затаенной обиды и горечи.

— Прости меня, грешницу. Не признала тебя. Помянешь ли сына мово Веденейку, удушенного под иконами руками праведников Иисусовых? Ты же не сидел в ту ночь на судной лавке, помянуть без злобы можешь. Ты же не ходил за Веденейкой в избу Ларивона, помянуть можешь. Глаза твои не зрели, как два кровожадных коршуна исполняли волю сатаны и три коршуна зрели то убийство с судных лавок, помянуть можешь! Ты же не вырвал посох из рук сатаны, когда над твоей головой закружилась черная смерть, и не ты кинулся спасать свое тело лютотой хитростью! Не ты заставил апостолов петь тебе аллилуйю и не повесил себе на шею золотой крест сатаны. С тем крестом Филарет смертью смерть правил. Ажецаря тащил в Москву. Хитростью хитрость покрывал; и зло было, и горе было. Не царя надо было тащить на престол, а вольную волюшку. И ты, Александра, пошел против царя, против сатанинского престола, чтоб на Руси не зрели тьмы, а было бы утро и благодать. И за то заковали тебя в цепи. Помянешь ли сына мово Веденейку, праведник?

У Калистрата глотка пересохла и с лохматых бровей соль стала капать — до того он взмок.

Третьяк не посмел перебить племянницу, но готов был сожрать ее вместе с глиняным горшком паршивой кутьи: «Оглаголала, оглаголала духовника, паскудница!»

Хоть Ефимия не назвала имени Калистрата, да кому не понять, о ком речь — ченье вела?

Лопарев взял со стола чеканенную ювелирщиком ложку, но Ефимия оттолкнула ее.

— Твоя ли это ложка? — спросила. — Твое ли здесь серебро и золото? Иль ты побывал в Московском кремле, во дворах князей Кусковых, Юрьевых, Скобельцыных и серебром запасся?

У Лопарева за плечами крещенский мороз — пробирает до позвоночника, до ребер.

— Прими кутью из моей ложки. — И поднесла сама ложку пшеничной каши. Лопарев быстро перекрестился... щепотью и сказал, что пусть душа Веденейки возрадуется в царствии Божьем.

— Благодарствую, дядя, за поминки сына мово Веденейки.

— Нехорошо так, Ефимия, — остановил Третьяк, — от солнца глядишь, зело борзо.

Ефимия сверкнула черными глазами:

— Или в одной твоей избе солнце, дядя? Оно и у меня бывает, и по всей общине. Люди-то ропщут, слышал? И мукой обделяешь, и крупой, и мясом, и хороших коров раздал по богатым посконникам да себе под начало взял. Ладно ли так? Общиною живем, а у тебя вот на столе и яства, и вина, и сахар, и мед, и хлеб белый. Откель?

Третьяк готов был треснуть от злобы.

— Кабы не племянница ты мне...

— Огнем сожег бы? Али ножом зарезал?

Третьяк попятился от такого удара.

— Бесстыдно так глаголать, Ефимия! Я те отец опосая отца. А ты!.. Спаси Исусе! Болящая ты. Не от души реченье твое, а от болести. Прощаю то, зело борзо.

У племянницы передернулись пухлые губы.

— Али ты хошь приравнять Третьяка с голопузыми посконниками, которые жрать умеют, а на работу пуп болит? Общинное делим по разумению. Третьяку — долю Третьяка, Микуле — Микулану. Лодырю дам — лодырную. И того много.

— Хлеб-то общинный, дядя. И скот общинный.

— Дык што? Да не все люди одинаковы, говорю. А яства и вина на столе моем не общинные. На рухлядь свою выменял у купца. Также вот.

— Грешно, дядя, об одной оглобле в рай ехать.

Третьяк с остервенением плюнул.

— Худая та птица, зело борзо, которая гнездо свое марает.

— Худая, дядя, худая, — поклонилась племянница. — Та птица коршуном прозывается.

Повернулась и пошла к двери.

— Погоди, благодная! — поднялся Микула. — Меня-то за што обошла кутьей? Али я душил Веденейку? Али воссочувствовал душителям?

Ефимия обернулась с порога:

— Вошь Акулины со младенцем слышу, дядя Микула. Вопит Акулина-то, вопит. Со чадом вопит. На небеси вопит! — Ефимия ткнула пальцем вверх. — Может, вспомнишь, дядя Микула, кто помогал Ларивону тащить Акулину с младенцем на огонь, и смерть стала? Вспомни да прокляни того учителя. Радость тебе будет!

И — хлоп дверь. Серебро зазвенело...

Микула не сел — упал на сундук.

Лопарев быстро оглянулся и тоже — за дверь.

Калистрат вытер рукавом пот с горбатого носа и, опустив глаза, увидел на черном золотой Филаретов крест, икнул и перекрестил рот.

Молчали.

Верижник Гаврила вдруг вспомнил:

— Барин-то щепотью крестился, когда кутью ел.

— Кукишем, кукишем! — подтвердил Никита.

Третьяк рад был сорвать зло на Лопареве:

— На барина понадейся — на веревке будешь али цепями забрякаешь, зело борзо. В общине проживает, а голову набок держит. Как-то будет опосая?! Уйдет из общины да заявится ко губернатору с повинной: вяжите, мол, да милайте, из побега возвращаюсь с прибылью! Возьмите, скажет, сотню казаков, поезжайте в общину, и там пятьдесят семь каторжных скрывается, зело борзо. Сыскные собаки не взяли, а я вот, скажет, один всех накрыл. Хвально то будет. Хвально.

Каторжники Микула, Гаврила, Никита вытаращили глаза на Третьяка, переглянулись, будто сами себя увидели в цепях.

— Господи помилуй! — помоллся Микула.

— Спаси Христос! — помолился Никита.

— Господи прости, я про то не раз думал, — помоллся Гаврила.

Третьяк зло рывкнул:

— «Думали!» Не думать, а по-Божьи надо: сатанинское — сатане спровадить, зело борзо.

Понимающе притихли...

## V

— Прости меня, Ефимия!

— За что прощать? Али ты свое серебро разложил и сам себе гостей выbral на праздничную трапезу?

— Ты — святая!

— Если бы я была святая, не так бы отпотчевала. Я бы дядю параличом разбила. И руки, и ноги отняла бы. Чтoб он лежал на своих сундуках и не зрил, как свинья, неба!.. Тяжко на душе моей, Александра, когда вижу, как правит хозяйством Третьяк. И как он прибрал общинное золото. Сколько того золота, ведаешь? Сундучок видел? Более трех пудов золота в том сундучке? Филарет с Филиппом-строжайшим народ мытарили. Поморцев, рыбаков, пустынников гоняли за данью на Волгу и в Сибирь, чтобы скопить то золото, а потом на восстание поднять народ. На доброе дело копила, а коршуну в руки досталось, слышь. И тот коршун — дядя мой. Легко ли?!

— Как же быть?..

— Не ведаю. Ни умом, ни сердцем. Молюсь, молюсь, а тяжесть лежит на сердце. Еще буду молиться. До той поры, пока не настанет просветление.

— Ты и так за эти сорок дней столько молилась, что просто страшно. Надо подумать да поговорить с народом.

— Ох, Александра! Народ-то темный, забитый. То Филарет мучил и страдал, то хитрый Калистрат увещевает и тьмой глаза застилает.

— Тогда... уйдем из общины. Нельзя жить вот в такой малой общине, оторвавшись от всей жизни. Надо жить со всем народом, со всем светом.

— Не будет того!

— Но почему? Почему?!

— Община наша — спасение от мирской скверны. От царской и барской неволи. От царских судов и каторги. Нету, Александра, вольной воли за общиною. Али ты не в цепях приполз? Кто заковал тебя в цепи?

— Не все же в России закованы в цепи...

— Не все, не все! Потому — смирились и силу свою во зло себя обратили. Развратом живут, блудом, пьянством да лихоимством. Иные по избам-клетям прячутся, как раки в речных норах. И то жизнь? И то вольная волоушка?

— Неправда, Ефимия. Клянусь девятью мужами славы!.. Я знал в Петербурге людей благородных и высоких в деле. Я встречал Пушкина — стихотворца. Если бы ты знала, какие он стихи пишет! Есть честные люди в войске, в гвардии, в мореходстве. Да мало ли где!

— Не для меня то, Александра.

— Почему?

— Я кровью своей поклялась на греческой Библии, что никогда не уйду из общины. Словом, разумением своим, как умею, буду помогать бедным людям.

— Амвросий предал тебя!

— Не предал, не предал! Имя мое назвал в соборе. Как назвал? Не знаю. Пытку не перенес и назвал. Но не во зло мне. Кабы во зло, отрекался бы от еретичества и сидел бы в каменном подвале. А его сожгли и пепел развеяли по морю, значит, не отрекался. И я не отрекусь от своей крови.

— Не знаю, что тебе сказать. Вижу, так жить нельзя. Сама подумай: уйдете в тайгу, и будет та же крепость, как при Филарете. Сейчас Калистрат и Третьяк, а потом...

— Молиться буду, молиться! И Бог пошлет мне просветление. Верю, Господи! Верю!..

А Лопареву послышалось: «Не верю, не верю! Есть ли ты, Господи?..»

— Пойдем, погляди, как люди живут...

Спустился в землянку. Спертый, затхлый воздух и сумерки среди бела дня. Вместо двери — камышовый полог вподроста. Лопарев вдвое согнулся,

пролезая в землянку за Ефимией. Ни лежанки, ни рухляди. Сразу от порога — дымная печурка. Сверху — дыра в накатном потолке, чтобы дым из печурки выходил на волю. На умятом сене — пятеро малых полутолых ребятшек, девочки или мальчики, не разглядеть впотьмах. Три сколоченных плашки вместо стола. Чугуны, пара кринок, краюха углистого хлеба, состряпанного вместе с охвостьями и землей.

Старуха и молодая баба упали на колени:

— Благостная, благостная!

— Что же вы на коленях? Сколько раз говорила!.. — Ефимия назвала по имени и отчеству старуху и молодую бабу в поскони и, открыв горшок, угостила кутьей.

Помянули Веденейку.

Ефимия спросила:

— Хлеба-то у вас, видно, нету?

— Есть, есть, благостная! Слава Богу.

— Напополам с землей?

— До нови, до нови терпеть надо.

— Молоко берете от общинных коров, или у вас на семью корова?

— Нету молочка-то. Нетути. Батюшка хозяин сказал: масло копить надо для торго.

— У вас же была корова?

— На общину взяли. Батюшка хозяин повелел.

— У вас же мужик и два парня. Где они?

— Сено мечут у пригонов.

— Господи! Разве на таких харчах можно работать?

— Отчего ж, благостная? Сила-то не от харчей, а от молитвы. Молюсь вот. Денно и ночью, — тараторила старуха.

Лопарев погорбился от ужаса. Какая же неописуемая покорность и смиренность! «Так повелел батюшка хозяин!» Третьяк, значит.

И в следующей землянке то же самое. Сумерки, хламье и нищета беспросветная. Вместо старухи — болезненная баба да трое ребятшек, один другого меньше. Такой же крохотный столик, краюшка землистого хлеба и надрывный чахоточный кашель хозяйки.

— Ну а мужик где?

— На общинной работе, благостная.

Лопареву послышалось: «На барщине». Не у помещика Лопарева, а у злодея Третьяка!..

И еще одна землянка, и еще... Нищета, нищета. Сумерки. Забвение и молитвы. Раболопная покорность.

— Я больше не могу, — отказался Лопарев от пятой землянки. — Не могу, не могу! Это же, это же кошмар! Нищенство!

Ефимия печально вздохнула:

— Нищенство — не грех, коль все нищи. Да не все в общине худо так живут — то грех. Одним — три куска. Говорят, мало! Дай еще три. Другим — ни одного, не роищут, молятся...

Заглянула в горшок — кутьи осталось на доньшке.

— Пойдем, Александра. Есть еще одна изба, куда мне не пойти одной, ноги не понесут. А идти надо.

Ефимия молча повела к берегу Ишима и свернула к избе Филарета.

— Да ты что, Ефимия! — остановился Лопарев.

— Надо. Надо. — И подошла к сенной двери. Толкнула — дверь закрыта изнутри. Лопарев двинул в дверь ногой, и тогда кто-то вышел в сенцы.

— Кто там?

— Это ты, Лука? Открой мне, Ефимии. Иду с поминальной кутьей.

— Кого поминаешь?

— Сорокоуст по убиенному Веденейке.

Молчание. Верижник, наверное, думает: открыть ли?

Лопарев еще раз толкнул ногой дверь.

— Батюшка Калистрат наказал, чтоб я никому не открывал. Помяну Веденейку без кутыи.

— Али ты еретик, Лука?

— Пошто еретик? Пустынник.

— Как ты мог запомнить, пустынник, что перед поминальной кутьей все двери открываются настежь? И кто дверь не откроет, тому всесветное проклятье, яко еретик. Открой сейчас же! Или я подниму всю общину и выставлю тебя на судный спрос как еретика.

— Иисусе Христе! — перетрусил Лука. — Погоди маненько, благостная. Я сейчас!

Ждали долго. Лопарев со всей силы начал бить в дверь. Лука наконец вернулся и, чуть приоткрыв дверь, протянул глиняную чашку для кутыи.

Ефимия отстранила чашку.

— Старцу несую поминальную кутью, — сказала и рукой толкнула дверь. Лука попытался закрыть, но Лопарев нажал и оттеснил Луку.

И каково же было удивление Ефимии, когда на лежанке верижника Луки она увидела мордастую, льноволосяю, не первой молодости вдовушку Пелагею!

— Ах ты блудливый кобель! — накинулась на Луку. — Такой-то ты пустынник? Среди бела дня да в покаянной избе, где людей жгли железом и смертью пытали!.. Чтоб глаза твои треснули, козел ты бородатый! Для святой кутыи двери не открыл, а блудницу на постель положил!

Лука бух на колени да к ногам Ефимии:

— Помилуй меня, грешного! Околдовала меня блудница, околдовала. Крестом не отмолился и батогом не отбился!

— Врет, врет, кобеллина! — подскочила Пелагея. — Сам заманил меня, штоб я зрела, как он будет беса гнать из сатаны Филарета.

Только сейчас Ефимия взглянула на Филарета. Не признала даже, до того старик переменялся. Будто ссохся за сорок дней — кожа да кости. Сидит на лежанке сторбившись и неотрывно глядит на Ефимию. Что было в его взгляде? Страх ли? Отчаяние? Или позднее раскаяние в злодеяниях?

— Беса гнал? — не поняла Ефимия.

— Гнал, гнал! — застегивала Пелагея кофту. — Плетью лупил да приговаривал: «Алгимей, алгимей!»

На столе ременная плеть.

Ефимия взглянула на пять большущих костылей в стене. Давно ли она вела на этих костылях и Филарет с апостолами терзал ее тело, плевал в душу?

Три шага. Всего три шага до лежанки старца! Но как тяжело пройти три таких шага!

Железная цепь. Руки Филарета в рубцах и кровавых полосах. И на лице такие же полосы. Не чужь под собою ног, Ефимия подошла вплотную и взглянула на согбенную спину старца. Вся посконная рубаха запеклась от крови. Не сегодняшней, давнишней. Вот как обернулась для Филарета его собственная крепость!..

Ефимия хотела сказать Филарету, что она прокляла его, и пусть он отведает кутьи по удушенному внуку, и пусть кутья застрянет у него в горле. Но ничего не сказала.

— Батюшка Калистрат повелел лупить, — оправдывался Лука. — И Третьяк также приходил и лупил сатану. И чтоб я кажинный день споведывал мучителя.

— Мучителя? — У Ефимии задрожали губы. — Все вы треклятые мучители! И нету у вас ни совести, ни сердца, ни души! Сатано вас породил на

белый свет, и сгинете, яко не бывши, — и ткнула пальцем в грудь Луки. — Пусть тебя на том свете так же лущают бесы, как ты...

И, не досказав, быстро ушла из избы, так и не угостив никого кутьей.

В избушке Ефимии гостевали старухи — поминали Веденейку.

Лопарев поклонился старухам, остановившись возле порога.

Стены избушки увешаны сухими целебными травами. Глинобитная маленькая печь, сработанная Мокеем, ухваты, кочерга, чугуны, медный самовар, чайник, глиняные кринки. Пол застлан ковыльным сеном, а поверх сена — самотканые половики. На лежанке гора пуховых подушек, цветастое одеяло, на крючках зимние шубы.

Войдя в избу, Ефимия молча сняла иконку Богородицы с младенцем, поклонилась старухам:

— Благодарствую за поминание сына моего Веденейки. А теперь ступайте. Я молиться буду.

Старухи ушли.

Она будет молиться! До каких же пор? С ума сойти можно!

— Послушай меня, Ефимия!

— Не говори, не говори. В душе у меня черно и камень лежит. Нету силы жить, Александра! Нету! Зреть народ во тьме да в забвении тяжело. Тяжко! Не зри меня. Ступай.

Она была, как мечта, вся из противоречий. Ее нельзя было судить, как не судят малое дитя за ослушание.

— Ефимия!..

— Поцелуй меня и ступай.

Лопарев схватил ее, прижал к себе и все целовал, целовал в щеки, в глаза, в губы, куда попало. Иконка упала на пол.

— Пусты, пусты! Богородица пречистая, помоги мне!

— Я не оставлю тебя. Не оставлю. Довольно молитв. Хватит! Жить надо. Жить, жить! вспомни, какая ты была в роще. Тогда ты вся светила, как солнце!

— И солнце в тучи заходит.

— Не вечно же оно бывает в тучах?

— Не вечно. Может, и на моей душе настанет просветление. Погоди.

— Вместе будем ждать. Я же муж твой. Ты же сама сказала, что я муж твой. Иль забыла?

— Нету покоя на сердце, Александра! Нету. Одной надо побыть. Не хочу, чтоб ты зрил меня в смятении да в тумане. Пусть я для тебя буду всегда как небо без туч.

— Тогда не гони меня.

— Не буду гнать, не буду. Только дай мне отстоять всеобщую молитву.

— Нет, нет, нет!

— Молю тебя, дай мне одну ночь! Одну ночь! На теле моем сошли коросты от огня, и рана зажила от посоха сатаны, а в душе раны кровью точат. Те раны закроются, если Богородица пречистая услышит мою молитву.

— Ты же столько молилась, а разве она услышала?

— Услышит, услышит!

— Будем вместе молиться. Вместе!

— Нет, нет, нет! Нельзя молиться вдвоем, коль души разные. Ищу я, ищу, а чего — сама не знаю. И нет мне покоя. Ты видел, как люди по землянкам живут? В коростах, голодом и холодом, а дядя Третьяк обжирается да бедных мытарит. Таковую ли я крепость просила у Господа Бога, когда на костылях прокляла Филарета-мучителя?

— Есть одно спасение — уйти из общины. Послушай меня...

— И не говори! Не соврадай, Александра. Или ты сам от сатаны наро-

дился? Как я могу уйти, если кровью поклялась? И как уйти от бедных людей, которым я помогаю лечением? Неможно! Нет, нет!

— Если ты поднимешься против Третьяка и Калистрата, они убьют тебя, Ефимия. Неужели ты этого не видишь?

— Не убьют! Не убьют! Разве убил меня Филарет? Огнем жег, посохом ударил, да мимо!.. А что теперь? Сам в рубцах и в крови. А я живая. И жить буду. Дай мне одну ночь. Одну только ночь!

— Если ты меня сейчас прогонишь, я пойду, подниму общинников и скажу, что Третьяка с Калистратом надо прогнать из общины.

— Ой, ой! Что ты! Никого, никого не поднимаешь, а сам себя погубишь. Нельзя так.

— А как надо? Как?

— Не ведаю. Буду молиться.

— О!..

— Не мучай меня, жену свою. Дай мне одну ночь.

— О!..

И, как пьяный, вышел из избы.

Долго стоял на берегу Ишима. Чужой он, чужой в общине. И никогда не сумеет быть своим для таких вот темных и забытых людей. И даже Ефимию не понимает.

«Уйти мне надо. Уйти!» Но куда?!

## VI

Попутный ветер толкал Мокея в спину да насвистывал: «Сибирь, Сибирь!»

— И без того ведомо: Сибирь. Да не пропаду, может?

Ехал, ехал — и все один на тракте. Пустынность. Под вечер показался встречный обоз. На телегах везде тюки с шерстью, навьюченные под бастрики. В каждой телеге пара лошадей. Мокей поздоровался с купеческими обозниками и попросил воды.

— Эко! Угораздило тя, — миролюбиво проворчал усатый мужик с бритыми щеками и крикнул первой подводе: — Попридержи, Захар! Человек воды просит.

Обоз остановился. Усач налил из лагуна воды в медную кружку и подал Мокею. И все это без креста и спроса, не то что в общине батюшки Филарета.

— Далече едешь, паря?

— На Енисей-реку.

— В тридевятое царство, можно сказать!.. А мы вот, паря, из Ишима тянемся на Тюмень. На ярманку поспеть надо. Ноне богатощая ярманка будет.

Что за ярмарка? Мокей не знал. Думалось, вся Сибирь голая, как ладонь, да каторжная. А вот тянется обоз из Ишима на осеннюю ярмарку.

Вспомнил, как ехал с единоверцами ходоком на Енисей и далеко объезжали сибирские городишки, чтоб не опаскудиться среди щепотников. Изредка навевывались в деревни за хлебом и мясом и то боялись как бы не оскверниться. А ведь и в городах люди живут, только без свирепости, без огня. «Филипп-то как пожег единоверцев!» И будто перед глазами поднялось языкастое пламя сосновых срубов и оттуда, из огня, несло радость песнопение...

Как же так? Одни живут вольно, походя не крестят лоб, не творят всенощных служб и не думают, что они великие грешники и что им уготована геленна огненная; другие сами себя терзают, носят вериги, орут о спасении. А от кого спастись?

Как осенние листья падают с дерева, так постепенно Мокей отряхивал страхи Господни, запреты, жадно приглядываясь к людям.



Долго гостевал в Ишмие — малом деревянном городишке на бойком тракте.

На постоялом дворе Мокей спал под санным навесом со щепотниками, кои кукишами крестились, табак смолили, аж дым из ноздрей валит, и в Бога ругался до того отчаянно и срамно, что у Мокея дух захватывало.

От общения с проезжим текучим людом у Мокея голова кружилась: до чего же разный народ проживает на белом свете! И татары, и киргизы, и чалдоны, и все текут, бурлят, каждый разматывает собственную жизнь, нимало не беспокоясь: угодно ли то Иисусу. Или он морду отворотил от такого народа?

Заглянул Мокей в киргизскую харчевню. Дивился, как люди в теплых бешметах жрали барана на большущем медном блюде, хватая мясо руками, и сало текло им до обнаженных локтей. Табак жевали и тут же плевались на пол. Срамота! А живут же, живут!

«Нету Бога, нету! — оседало решение, и Мокей, обретая новую силу, не знал еще, куда ее употребить. — Кабы подружия Ефимия со мной, и сатано не одолел бы нас!..»

Но подружия Ефимии не было.

## VII

Под вечер в субботу на постоялый двор заехал ночевать обоз омского купца Тужилина на пятнадцати подводах. Всю ограду забили телегами с кладью да еще три телеги остались на улице возле ограды.

Красномордый купец в яловых сапожищах по пахи, в суконной поддевке под красным кушаком шутки ради вызвал охотников бороться и четырех мужиков положил на лопатки.

— Налетай, тербень кабацкая! Спытай силушку! — куражился купец, бритощекый и бритоусый.

Мокей посмеивался себе в красную бороду: поборол бы купчину, да вот беда — обличность у купца бабья.

Купец и сам заметил Мокея возле крыльца:

— Эка бородинца огненна! Не хопь ли силушку спытать? Поборешь — рублем одарю. Не поборешь — нужник заставлю чистить.

Купеческие возчики с подрядчиком и постоялыми людьми тормозили Мокея: спытай, мол, не под бабой лежать!

«Сатано в искус вводит, — думал Мокей, — али я убоюсь нечистого? Отринул самого Бога и нечистого также отрину!»

Купец наседа:

— Ай-я-йй, борода! Плечищи-то звон какие, а силушка мякинная, што ль?

Долговязый подрядчик в поддевке верещал в самое ухо:

— Не бойся, мужик. Гаврила Спиридоныч жалостливый — не убьет небось. Полежишь маленько на лопатках, а нужник ночью почистишь. Чаво там! Плевое дело.

— Спытай, паря! Спытай! — подталкивали купеческие возчики.

Купчина махнул рукой:

— Ладно, борода! Не будешь нужник чистить. Дам тебе урок: на Ишим за водой с ведрами на коромысле сходишь, бабье дело справишь.

Мокей решил: если сатана вызывает на бой, ничего не поделаешь, надо помериться силой. И вышел на круг. Боднул купца глазами:

— Обличность у тебя бабья, купец. Хоть бы усы сберег, чтоб зрить: не с бабой ли буду бороться?

Возчиков смех прошиб.

Купчина рявкнул:

— Чаво ржете, мякинные утробы? А ты, борода, погоди зубоскалить. Погляжу на тебя, как ты под бабой ногами сучить будешь!..

— Не замай! — остановил Мокей. — Ты дал урок, теперь мой урок слушай. Веруешь в Бога?

Купец вытаращил глаза:

— Давай бороться, а не лясы точить.

— Скажи наперед: веруешь в Бога али нет?

— Ну, верую! — И купец перекрестился... двоеперстием!

Мокей испуганно отшатнулся: «Единовец! Мыслимое ли дело? Бриттошский и бриттоусый! На постоялом дворе — да в единоборство со щепотниками?»

— Али ты старой веры?

— Твое какое дело, какой я веры? Моя вера самая праведная.

Мокей глухо проговорил:

— Тогда пускай тебе, купец, твоя праведная вера поможет на спине не лежать. А я тебя без Бога бороть буду, слышь?

Мужики притихли: к чему речь такая? Бога-то не надо бы трогать.

Купчина не сразу сообразил, что ему сказал бородач.

— Как так без Бога? Или нехристь?

Мокей чуть призадумался: кто же он теперь, отринувший Бога? Как ни суди, а крещен на самой Лексе.

— Хрещен, да... отринул, — натужно вывернул Мокей. Врать он не сподобился. Что думал, держал на сердце, то и на язык ложилось. Гольщиком шел по миру, глядите, мол, весь тут.

— Кого «отринул»? — донимал купчина.

— Бога.

Мужики возле телег испуганно забормотали. Шутейная борьба, а разговор-то вышел нешутейный. Безбожник объявился на постоялом дворе.

— Бога?! — собрался с духом купец. — Да ты татарин али хто?

— Не зришь, что ль? Русской, а веры был старой, христианской, какая опосля Никона в Поморье да в скитах сохранилась. Да я отринул то. Веру, и Бога, и самого Иисуса. Как не бывши.

— Хто «не бывши»? — тарашился купчина.

— Иисус не бывши. И Бог такоже. Придумка книжников да глагол верижников, какие умом рехнулись. Вот и побори меня, купец, да не один, а с Богом, со Иисусом, в какого веруешь, хоша и борода у тебя нету. Бабья образина-то. А я без Бога положу тебя, знай!

Мужики глухо проворчали: шутка ли — изгальство над Богом, над Иисусом Христом (для них не Иисус, а Инисус)! Кто-то сказал, что надо бы проучить рыжую бороду да шинков надавать из ограда. Кушца тоже пробрало до костей. Озверел.

— Без Бога, гришь? Без Иисуса? — и, оглянувшись на мужиков, призвал: — Будьте свидетелями, православные христиане! Биться буду с безбожником смертным боем. Слышали, как он святотатствовал? Хто экое потерпит?

— Бить, бить надо!

Мокей ничего не понимал. Только что собственными ушами слышал, как ругались и в Бога, и в мать Богородицу, и вдруг все ополчились на него, как на волка.

— В Бога материтесь, а за Бога...

Мокей не успел досказать — купчина ударил в скулу. Чуть с ног не слетел.

— Луши его, Гаврила Спиридоныч! Луши!

— Смертным боем безбожника...

— Под сосало ему, под сосало! — орал со всех сторон.

На крыльцо из постоялого дома и из трактира на верхнем этаже выбежали сенные девки, целовальник, заезжий лабазник, трактирщик, и все они подбадривали купчину Гаврилу Спиридоныча, чтоб он проучил смертным боем бородатого безбожника.

## VIII

И пошло, завертелось, закружилось возле крыльца!..

Схватились грудь в грудь, отскакивали, снова сплывались, хватали друг друга за глотки, но держались на ногах.

Мужики со стороны, особенно возчики и приказчик, поддакивали купцу Гавриле Спиридонычу, готовые сами вязаться в драку и отбить почки и внутренности безбожнику. Со всей улицы сбежался народ к постоялому двору. Глазели, дивились, возгораясь жаждою настоящего смертоубийства. От одного к другому, как по веревочке, неслось, что купец бьется смертным боем с безбожником, какого свет не видывал.

Мокей собрал всю свою силушку и сноровку в драках, чтоб не поддаться купчине, а положить бы его на лопатки без кровопролития да прижать к земле, чтоб он пришел в сознание.

— Без Бога, гришь? Не бымши, гришь? — осатанел купчина и, изловчившись, ударил Мокея в нос и в губы — кровь брызнула. Заехал, как кувалдой. И тут терпение Мокея лопнуло. Ахнул купчину в скулу — челюсть вывернулась. Падая, купец ударился затылком о железную чеку возле ступицы заднего колеса телеги и руки раскинул.

— Убивство! Убивство, православные! — заорал приказчик.

— Сусе Христе! Сусе Христе!

— Станового позвать! Станового!

— Вяжите разбойника!..

Мокей отпрыгнул к телеге, возле которой лежал купец, крикнул:

— Не лез я с кулаками, али не зрили?!

Кто-то запустил половинкой кирпича. Мокей успел уклониться, и кирпич угодил в кушца — башку проломил.

Приказчик успел достать ружье, или ему кто подал, Мокей того не знает и не сообразил даже, что было прежде: грохот ли выстрела или сильный толчок в правое плечо.

Выстрел из ружья образумил всех...

Сенные девки, подобрав длинные сарпинковые юбки, с визгом побежали на второй этаж постоялого дома, а за ними — лабазник, трактирщик, а целовальник кинулся прочь из ограды. Вскоре в ограде остались только возчики купеческого обоза и долговязый приказчик с ними.

— Шутейно, шутейно, а тут — на тебе! Смертоубийство! — бормотал один из возчиков.

— Шутейно? Али не видели, как разбойник кирпичом саданул по голове Гаврила Спиридоныча?! — подсказал приказчик, и возчики, сообразив, притихли: кирпич-то запустил один из них, свой брат.

Прислонившись к телеге, ухватившись за пораненное плечо, Мокей качал головою. Разве он зачинщик драки? Разве он ударил кирпичом? «Убивец, убивец!» — кричат. Кто убивец? Он, Мокей? Да как же это так! «Неможно то, невозможно. Напраслина», — ворочалась трудная мысль, как вдруг в ограду беркутом влетел становой пристав, усатый, как морж, и шашку из ножен, а за ним два стражника с ружьями.

Приказчик и возчики купеческого обоза одним дыхом гаркнули, указав на Мокея:

— Убивец!

Мокей слушает и не понимает: оказывается, он сам полез с кулаками на кушца Тужилина за то, что тот верующий в Бога, а он, Мокей, безбожник, потому и убил кушца кирпичом. И что приказчик, защищая себя и возчиков от разбойника, выстрелил в Мокея из ружья.

— Не убивал кушца! Не убивал! — проговорил Мокей, но становой пристав не стал слушать.

— Связать!..

Стражники, выставив ружья, крикнули долговизому приказчику и возчикам, чтоб те скрутили веревками разбойника.

— Неможно то! Неможно! Напраслина!

— Заррублю, собака! — И пашка станowego пристава взлетела в воздух.

Мокей шагнул под пашку:

— Руби, сатано! Руби!

Пятеро возчиков с приказчиком еле совладали с Мокеем, хоть тому и подбили правую руку. Мокей отпинавался, повалил трех себе под ноги и кинулся было бежать через телеги, но его схватили, повалили между двух телег и связали.

Суконная однорядка Мокея прилипла к окровавленной рубахе. Становой пристав послал за лекарем и за урядником.

Когда явился лекарь и урядник, прежде всего подняли тело купца Тужилина, составили протокол об учиненном смертоубийстве заезжим на постоялый двор разбойником, у которого не оказалось ни подорожной, ни вида на жительство, и он не назвал ни своей фамилии, и ни того, откуда и куда едет. По всем видам — чистый варнак. Потом лекарь промыл и перевязал огнестрельную рану на плече Мокея, и тогда уже стражники отвели арестованного в острог.

Если бы Мокей сказал, что он из общины поморских раскольников, переселяющихся на Енисей, тогда бы, возможно, не определили его сразу в разбойники и в беглого каторжника, по понятным причинам скрывающего свою подлинную фамилию и место постоянного жительства.

Становой пристав знал, что в семидесяти верстах от города, на берегу Ишима, остановилась община раскольников из далекого Поморья. Было предписание тобольского губернатора учредить строжайший надзор за общиной еретиков, именующих царя анчехристом и совершающих молебствия по уставу раскольничьего Церковного собора.

Становой пристав с урядником и стражником дважды навестили общину, разговаривали с духовником Филаретом и строго упредили, чтоб никто не отлучался от общины без его дозволения и, самое главное, поскорее бы убралась с берегов Ишима подальше от Тобольской губернии. «Отправляйтесь на Енисей, там места хватит для всех еретиков». Пусть, мол, раскольниками ведает енисейский губернатор Степанов.

И вдруг следователь Нижней земской расправы Евстигней Миньч, толстенный, щекастенный, с ехидными ноздрями человек, не мытьем, так катаньем лезущий в чины губернского земского суда, чтоб перемахнуть из Ишима в Тобольск, опарашил станowego пристава неожиданным сообщением: разбойник, учинивший смертоубийство, как о том показали возчики купеческого обоза, сказал, будто он «отринул старую веру, поморскую», а значит, не из той ли он общины еретиков, какая с прошлой осени поселилась на берегу Ишима?

Становой пристав замахах руками:

— Ну, батенька ты мой, перехватил, перехватил! Знаете ли вы тех космачей? Это же не люди, а бревна неотесанные. Как свалили с пней, такими в мир пошли. В сучьях, лохматыми, неотесанными дикарями. Видел я их, батенька ты мой, и скажу вам по секрету: если бы вас хотя бы на неделю оставить в той общине, вы бы пардону запросили. Да-с, милостивый государь! Сие вам не Петербург! Они бы вас уморили на всеобщих молениях и радениях, и вы бы продолжили себе лоб двумя перстами. И на коленях накатали бы вот такие мозоли. Ха-ха-ха!

Евстигней Миньч не сдавался:

— И все-таки, смею заметить, образина разбойника раскольничья. И бограда, и сам этакая непроходимая дикость!

— Беглый каторжник, вот кто он, батенька ты мой, — заявил сведущий становой пристав. — Верное слово, каторжник. И если угодно, на его со-

вести немало убийств! Обратите внимание на мешочек, в котором разбойник хранил деньги. Из какой кожи спшит, как вы думаете?

Евстигней Миныч над этим вопросом еще не задумывался.

— Из человечесей кожи, батенька ты мой. Да-с! Есть такой обычай у вечных каторжников: если они кого заподозрят в предательстве, то мало того что удуют раскаявшегося в злодеяниях, так еще живьем сдерут со спины кожу и пьют потом из этой кожи подобные мешочки. Да-с! Звери, батенька ты мой. Соболаговолите узнать, из кожи какого каторжника мешочек у разбойника. Тонкими намеками, так сказать, паче того — хитростью, Евстигней Миныч. Да-с!

Евстигней Миныч ушел от станowego изрядно посрамленным и долго потом сидел в своем кабинете, разглядывая и так и сяк злополучный мешочек разбойника.

Странная штука: шкура мешочка шершавая, чуть желтоватая, пупырчатая, наподобие змеиной. Не может же быть, чтобы человеческая кожа была вот такая пупырчатая, изжелта? Или кожа вечных каторжан именно такая, и он, Евстигней Миныч, человек из Санкт-Петербурга, не знает еще всех тонкостей каторжанской кожи?

Делать нечего, надо установить, из кожи какого каторжника спшит мешочек, и постепенно, исподтишка допытаться, кто же он, сам разбойник? Многих ли он отправил на тот свет после побега с каторги? Один ли он орудует в Приишимье или где-нибудь у него есть разбойничья ватага?

## IX

Трудную ночь провел Мокей в остроге. Мало того что правой рукой не пошевелить и плечо вспухло от раны, так еще клопы донимали. Не выдвывая, чтоб паскудность ползала целыми полчищами! По стенам, по голым доскам, заменяющим кровать, и сыпалась с потолка, как чечевица. Мокей отряхивал клопов с рубахи, давил с остервенением и всю ночь топтался на ногах.

Думал и про убиенного купчину. Не он же убил! Навет — чистое дело. Должны же подтвердить мужики, что не он убивал. Они же видели со стороны. Пусть власти спрос учинят трактирщику. Мокей видел его на крыльце. И сennyх девок спрысят. Те обязательно скажут, кто кинул в Мокея кирпич и угодил в башку купчине.

Утром в бревенчатую каталажку явился урядник при пашке, а с ним пятеро стражников с ружьями. И цепи принесли. Благо в этапных тюрьмах от Санкт-Петербурга до Тихого океана не было недостатка в кандалах.

— Неможно то! Неможно! За безвинность в цепи не куют! — отпрянул Мокей, но его прижали к стене и, как он не сопротивлялся, связали, а потом пришел кузнец с инструментом и оборудовал Мокею обновку от царя-батюшки — век не износит.

Когда вывели Мокея из каталажки, само небо будто лопнуло от негодования за учиненную несправедливость и ударило громом. Стражники с ружьями перекрестились. Мокей обрадовался: гремит небо-то, гремит!

«Хоть бы прибило!»

Громом не прибило, а дождем прополоскало. С бороды ручьями лилась вода. С войлочного котелка дождь лился за шиворот. Плечо заболело от взмокшей повязки, но Мокей не обращал внимания: не такое переживал!..

В новом деревянном доме Нижней земской расправы Мокея встретил следователь Евстигней Миныч до того радостно, будто к нему привели не убийцу-разбойника, а ближайшего родственника.

— Милости прошу ко мне в присутствие. В кабинетик. В кабинетик, — приглашал Евстигней Миныч, и даже лысина его стала розовой от умления. Сам распахнул дверь кабинета, куда и ввели Мокея, усадив у стены на деревянный стул.

Один из стражников попросил дозволения выйти в коридор и там закурить.  
— Закурить? — Евстигней Миныч хитро прищурил зеленоватые глазки. — Курите здесь, в присутствии. И угостите человека, — показал рукою на Мокея.

— Не потребляю, — отказался Мокей.

— Не курите? Или бросили?

— Отродясь не курил?

— И водочку не потребляете?

— Не потребляю. Срамно то.

— ...Ах, вот так! Совершенно правильно — срамно. Я придерживаюсь такого же мнения. Не курю, не пью. Потому — родитель мой держался старой веры. Слыхали про такую веру?

— Отринул то.

— Кого «отринул»? Старую веру?

— Бога со угодниками и со Иисусом также. Как не бывши.

— Безбожник окаянный, — проворчал стражник.

Евстигней Миныч строго заметил стражнику:

— А вот этого я вас не просил делать: вставать ваши замечания. Попрошу впредь молчать.

— Слушаюсь, ваше благородие.

«Эко благородие лысое да мордастое!» Мокею впервые в жизни довелось встретиться с представителем власти Российской империи, и он еще не знал ни чинов, ни рангов людей, вершащих расправу над нижним сословием — крестьянами.

— Начнем с вашего кошелька. — Евстигней Миныч показал Мокею мешочек. — Из какой кожи он шит, любезный?

Мокей подумал: отвечать или нет на спрос? Если бы он был в общине единоверцев, понятное дело, молчал бы. Ну а тут как быть?

— Пошто в цепи заковали? Не убивец я!

Евстигней Миныч сладостно пропел:

— Но ведь купец Гаврила Спиридоныч Тужилин убит? Не так ли? Понятное дело, в драке. Но ведь убит.

— Не я убивец, говорю. Откель кирпич у меня взялся бы?

— Вот я и буду вести дознание, чтоб установить, кто же убил купца. И если вы невиновны, будете оправданы и цепи снимут. Но для того, чтобы доказать, что вы не убийца, дознание должно установить, кто же истинный убийца.

— Возчик купеческий шибанул кирпичом. Также было.

— Прекрасно. Так и запишем в протокол. Но прежде всего надо установить, откуда вы приехали в Ишим, куда едете и где взяли вот этот кошелек с тремя золотыми и серебром три рубля с пятиалтынным. Откуда такие деньги?

— Того не будет.

— Чего не будет?

— Дознания. Ни к чему то, скажу. Еду по Сибири место глядеть. Более ничего не скажу, благородие.

— А вот кошелек ваш сказал нам кое-что, представьте! Он шит из кожи убитого каторжника. Не так ли?

— Эко! Умыслили. Из лебединой кожи шит.

— То есть как из лебединой?

— Из лебедей, какие в Поморье залетают. На озера там.

— Так вы из Поморья?

Молчание.

— Это же очень далеко!

— Не близко.

— Так и ехали один?

И тут Мокей признался:

— С общиной ехал. От самого Поморья. И на Енисей потом ездил место

глядеть. Возвернулся в общину, и беда пришла: сына мово Веденейку, чадо милое да разумное, старцы-сатаны под иконами удушили!.. Оттого и Бога отринул. За душегубство то. И ушел из той общины, яко не бывши там.

— Удушили сына? Вашего сына? Веденейку? Но за что же? За что?

— За туман тот, за Бога того! Под иконами на тайном судном спросе удушили!.. Чадо мое махонькое, благодное, по шестому году! Яко от еретички народился. И Бог то зрил и силу дал душителям!..

Евстигней Минныч посочувствовал:

— Сына вашего! Веденейку! По шестому году... Какое горе!

Мокей ответил стоном:

— В грудях кипит. Исхода не вижу от такого горя. Туман будто перед глазами.

— Понимаю, понимаю...

Евстигней Минныч обрадовался. На первом же допросе тонким ходом он раскрыл преступника: кто он и откуда! И мало того, получил ошеломляющее сообщение об убийстве ребенка в общине еретиков. Это же дело для Верхней земской расправы! Губернатору доложат, и он, Евстигней Минныч, сразу вырастет на целую голову. Как же будет посрамлен становой пристав, почитающий себя за знатока каторжан!.. Надо сию минуту идти к исправнику и сообщить потрясающую весть. А там — выезд с исправником в общину раскольников, дознания, и под стражу возьмут не только одного разбойника!..

— Вы сказали, что сына вашего Веденейку удушили под иконами на тайном судном спросе. Но, помилуйте, что же мог отвечать ребенок?

Мокей спохватился, да было поздно.

— Про чадо мое спросу не будет, благородне. Мое чадо — мое горе. Не вам то ведать.

— Как же так не нам? Кто же должен наказать преступников?

Мокей подумал. В самом деле, кто же должен наказать душителей Веденейки? Бог? Мокей отринул Бога. Общинники? Они готовы были растерзать самого Мокея. И убили б, если бы не подоспела подружия Ефимия.

— Мое горе со мной в землю пойдет, — решил Мокей. Нет, он не назовет никого из общины. Ни подружии, ни бесноватых апостолов, ни Третьяка с Миколой.

— Так, значит, вы из общины раскольников, которая остановилась у Ишима?

— Про общину спроса не будет.

— Как так не будет?

— Не будет, и все. Про купца спрос ведите.

— Нет, нет, любезный. Прежде всего мы установим вашу личность, опознаем, возьмем под стражу душителей вашего сына Веденейки, а тогда и про убийство купца будем говорить.

— Не будет того! Не будет! — гаркнул Мокей.

— Позвольте нам знать, как вершить дознание!..

Евстигней Минныч потирал руки. Он сейчас явится к исправнику — и тогда...

## ЗАВЯЗЬ СЕДЬМАЯ

### I

Ефимия молилась, молилась...

Кутаясь в суконное одеяло, подложив под ноги Мокееву меховую тужурку, не поднималась с коленей седьмые сутки. Рядом поставила глиняную обливную кружку и медный чайник кипяченой воды, сухари в плетеной корзиночке, вот и вся снедь для епитимьи. Теряя силы, падая головой в землю, мгновенно засыпая. Час-два забытья, и снова молитвы и земные поклоны. Ноги

то деревенели, то отходили. Правая рука до того отяжелела, что с трудом подымалась, чтобы наложить крест. Много раз прочла по памяти Псалтырь, откровения апостолов, а просветления не было.

Виделся Веденейка. Кудрявый, говорливый, как перевозанный ручеек в камнях, синеглазый, как Мокей. Вспомнила, как Филарет гнал ее от сына, чтоб не искушала чадо. Но она постоянно тянулась к сыну, и Марфа Ларивонова помогала в том. Веденейка у груди лежал, как вечное тепло, чем жива мать.

Удушили Веденейку...

«Под Исусом удушили. И Бог то зрил и силу дал душителям...»

Чадо. Жутко.

«Есть ли ты, Боже?»

Ни ответа, ни успокоения.

В переднем углу на Божнице не осталось ни одной иконы, какие когда-то повесил старец Филарет. Ефимия убрала их, упаковав в дерюжку, и перевязала веревкой.

Молилась только своей иконке — Богородице с младенцем.

Если свечи, догорая, гасли, Ефимия, ползком добиралась до лавки, зажигала новые, ставила на Божницу, опять падала на колени, отползая на свое место.

Трижды за неделю в избѹшку стучался Лопарев.

— Ефимия, ради Бога, открой! Ты же уморишь себя на молитве! Разве это нужно Богу, подумай? — увещевал он, получая неизменный ответ:

— Не говорить нам, Александра! И зрить тебя не могу. Если кто вломится в избѹ, огнем себя сожгу. Не трожьте меня, и Господь пошлет мне просветление...

Но увь! Просветления не было.

Как там случилось, Ефимия и сама толком не знает. Вскоре после полуночи, сгорбившись на коленях, Ефимия забылась в тяжком сне, и вдруг почудилось ей, как в избѹ налетели черные коршуны и, свистя крылами, кружились, кружились. «Ехидна, ехидна! — кричали черные коршуны. — Змея стоглавая! Кара тебе, кара!» Потом все стихло и с шумом распахнулась дверь. Вошел Филарет. Белая борода тащила через порог. Старец подобрал бороду руками, поклонился Ефимии, потребовал: «Оглаголь апостола! Оглаголь!» — и тут же исчез, как дым ползучий.

Ефимия протянула руки к иконке, лик Богородицы посветлел, и уста открылись — живая будто.

«Слушай меня, благодная, — молвила Богородица. — Праведница ты, си-речь того — мученица. Господь покарал мучителя твоего — глагола лишил и руку отнял, чтоб не крестился еретик. Не зрить мучителю царства Господня! Гордыня обуяла мучителя. Железо железом правил. За око око рвал. За ребро ребро ломал! Не по-Божьи то, по-бесовски. От гордыни и лютоости. Еще скажу тебе, благодная: Третьяк, дядя твой, со Калистратом погубят общину. Калистрат нацепил себе на грудь крест золотой. С тем крестом старец-мучитель огнем огонь крестил, смерть сеял вместо жита, и стала возле него пустыня. То исполнится при Калистрате: пустыня будет!..»

Слушай меня, благодная! Как лист рябины росой умывается, так и ты прозреешь, и благодать будет. На грудь надень рябиновый крестик, и ты очистишься. Покой и твердь — счастье твое».

Ефимия очнулась от забытья, испуганно перекрестилась: «Знамение было, знамение!..»

Поспешно подползла к лавке и поглядела в оконце — тут она, рябинушка. Сияет будто. Ефимии невдомек, что за окном сизая рань рассвета и на отпотевших листьях рябины — световые блики. Она видит свое: рябина воссияла. В переплетении ветвей увидела крестики. Множество крестиков. И Богородица с младенцем стоит под рябиной и зовет:



«Выйди ко мне, благостная! Спасение будет под рябиной!..»

Ефимия отпрянула от окна, вскрикнула:

— Богородица пречистая, прозрела я! Прозрела! — И, не помня себя, кинулась к двери. Долго возилась с запорами, наконец открыла дверь, ушла на пороге, тут же вскочила, забыв про одеяло, и в одной нательной рубашке подбежала к рябине, обняла ее и медленно, боком повалилась возле рябины, теряя сознание.

Один из караульчиков заорал что есть мочи:

— Ведьма! Ведьма! Ведьма! — И дай Бог ноги.

Вслед за ним очнулся от сна Микула. Увидел что-то белое под рябиной и вскинул ружье. «Спаси Христос!» На счастье Ефимии, Микула до того перепугался, что, взведя курок, забыл поправить кремь. Трижды щелкнул, а ружье не выстрелило. «С нами крестная сила!» — попытался Микула и, бросив кремневое ружье, приударил такой рысью, что на рысак не догнать.

Переполох караульчиков разбудил Ларивона. Мокей, может, явился?

Выскочил из избы да — к Мокеевой. Дверь распахнута, горят свечи, а в избе никого.

Со всего становища бежали люди. Тут и Ларивон увидел Ефимию под рябиной и подскочил к ней.

— Ефимия! Ефимия!

— Слышу, слышу, Богородица пречистая! — отозвалась Ефимия, подняв голову. — Ларивон? Ты што здесь? Видение было мне!.. Богородица явилась под рябиной!.. Третьяк и Калистрат погубят общину. Народ надо созвать на всенощное моление, и я скажу волю Богородицы.

Ефимия даже не подумала, что ночь минула и настало утро...

Суеверные старообрядцы ахнули: «Погибель будет! Погибель!..» Калистрат не на шутку перепугался и приказал, чтоб сейчас же несли Ефимию в избу: «Она сама не в себе».

Хитрый дядя Третьяк только что вернулся из города Ишима с верижниками Никитой и Гаврилой и прибежал к избе Мокея запыхавшись.

— Глядеть за ней надо, глядеть, зело борзо!

Человек шесть верижников подвинулись к Третьяку. Зло на зло катят. Готовы лезть в драку.

— Благостная Богородицу зрила, а ты ее порочишь! Через тебя погибель будет!

— Через меня? — гаркнул Третьяк. — Через Мокея-еретика погибель ждите! Пошто отпустили еретика? Мы вот с мужиками в Ишим ездили и узнали там: Мокея в чеши заковали. Кушца проезжего убил, зело борзо!.. А вдруг проведают, что Мокей из нашей общины, тогда каким крестом открестимся от стражников да урядников, от станowego да исправника али губернатора?!

Вержники притихли: правда ли то? Ужли Мокей в цепях, как убивец?..

## II

Третьяк с Калистратом накинулись на Ефимию: и такая, и сякая, и Богородицу опорочила срамными устами, и никакого видения не было. Сама себя уморила на молитве, ума лишилась да еще навела смуту на единоверцев паскудным речением. И что, если будет совращать людей, ее свяжут, запрут в землянке и епитимью наложат.

Ефимия отбивалась, порываясь убежать из избышки, чтоб поднять общину, но Третьяк с Лукой силою уложили в постель и держали за руки.

— Притихни, зело борзо! — рычал Третьяк.

— Коршуны! Коршуны!

— Умучилась, благостная, — трубил Калистрат, осеняя себя ладонью, а

Ефимии виделась сатанинская цепоть. — Отоспись, Ефимия, и будет мир на душе твоей.

— Изыди, алгимей! Шепотью крестишься, иуда! Вижу, вижу! Ко лбу несешь ладонь, а большой палец подогнул к двум перстам, гордоус треклятый!

— Повязать ее надо, Третьяк.

— Надо, зело борзо! Лука, кликни Гаврилу и Никиту!

Никита и Гаврила — ближайšie помощники Третьяка и Калистрата — стояли в сенцах. Явились по первому зову. Веревки в Мокоевой избе не сыскали. Схватили рупник и, как ни плевалась Ефимия, связали ей руки, а потом укутали в одеяло и опеленали поверх одеяла холстом. Ни встать, ни сесть.

— Алгимей! Алгимей треклятые! — кричала Ефимия, бессильная вырваться из тенет мучителей. — Не радуйтесь, что повязали меня! Не радуйтесь! Слово Богородицы из уст в уста пойдет по всей общине!

— Не Богородицы, а срамницы!

— Ругай, ругай, дядя. Не скрывать тебе черную душу пред Господом Богом. Нету в тебе Бога, а корысть одна да жадность! В чьих руках общинное золото, которое ты с Калистратом забрал у Филарета? Где оно, то золото? Твоим ли потом и кровью добыто оно?

— Ефимия, замолкни! Кляп в рот забью! — вскипел Третьяк, выкатив черные глаза.

Тут и явился Лопарев. Он еще не знал, что произошло и отчего поднялась община, и вот увидел Ефимию скрученной. Кинулся к ней, но Третьяк схватил его за плечи.

— Ступай отсель, барин! Не твое тут дело, зело борзо!

— Александра! Спаси меня! Видение было мне. Богородицу зрела и реченье слушала. И сказала Богородица: Третьяк с Калистратом погубят общину. Оттого и повязали меня.

— Ступай, барин! — гаркнул Третьяк, толкая Лопарева к двери. — Худо будет, зело борзо.

— Не стражай, Третьяк, убери руки! За что вы ее мучаете? И не стыдно вам, мужчины? Пятеро против одной! Не много ли? Так-то вы повергли крепость Филарета? Это и есть, Третьяк, вольная волошка?

Ноздри хищного носа Третьяка раздулись, и сам он весь сжался, напряжился.

— Не замай, барин!

— Понимаю, — кивнул Лопарев. — Это вы умеете: убивать, мучить, истязать. Не мало ли для того, чтобы называться человеком, Третьяк?

Кто знает, чем и как ответил бы взбешенный, позеленевший Третьяк, успевший опустить руку на костяную рукоятку поморского ножа в ножнах, подвешенного к широкому филаретовскому ремню, если бы не ввязался сам духовник.

— Не огнем правят жизнь, человеке, — пожурил Калистрат, — ты вот зришь повязанной эту мученицу. А ведаешь ли ты, что она повязана во спасение, а не во зло? Не злорадастуй словом, раб Божий. Мнишь себя человеком образованным, а всех нас дикарями зришь. Тако ли? Вот верижник Лука. Хитро ли сказать — дикарь! А ведомо тебе: у дикаря Луки родословная такая же древняя, как и сама Русь христианская?! Назови фамилию и род Луки в Петербурге, и твоя фамилия Лопарева потемнеет, как медь в сырости. Да, отринул Лука и род свой древний, и фамилию, и званье, какое получил в Санкт-Петербургском университете, и сам пришел в Поморье спасать душу...

Лопарев зло усмехнулся. Вержник Лука, как о том говорил Третьяк, бежал в Поморье из Петербурга, совершив двойное смертоубийство: единоутробного брата зарезал и отчима, которым удалось захватить родовое имение покойного отца Луки. И Лука остался при высоком звании князя... без наследства.

Калистрат не обошел и собственную персону. И он, из древних дворян Могилевской губернии, вхож был в дома Орловых, Анненковых и многих других, блестяще закончил курс духовной академии и был бы теперь архиепископом или профессором богословия академии, да отказался от всех почестей и званий и ушел искать спасение в старой вере...

Лопарев успокоил:

— Я ничего не порочу. И мысли такой не держу — порочить. Я вот вижу, пятеро повязали одну женщину. Разве это достойно мужчин и тем паче столбовых дворян?

— Врешь, врешь, дядя! — выкрикнула Ефимия. Лопарев не слышал, что сказал племяннице Третьяк. — Ума я не лишилась! Врешь, врешь, треклятый. Волк ты, не человек. Али ты не грабил Москву с французами? Не убивал русских, какие шли на смерть за Русь? Убивал, убивал! Помню, помню. И в общине учинишь смертоубийство. Волк ты, волк!

— Змеища! Ехидна! Тварь! — Третьяк схватил племянницу за горло и удушил бы, если бы Лопарев не оттолкнул его прочь. Третьяк боком ударился о стол и, напряжись, как тигр, бросился на Лопарева, выхватив из кожаных ножен кривой нож: «А, барин!.. В кровь твою барскую!..» И не успел Лопарев отскочить в сторону, как Третьяк по-разбойничьи, из-под низу, вонзил ему нож в грудь.

Лопарев успел схватиться за руку Третьяка с ножом и медленно осел у ног верижника Луки и Калистрата. Те попятились к лежанке Ефимии. «Сусе Христе! Сусе Христе!»

Ефимия завопила, завопила...

Лука с Гаврилой кинулись к двери и столкнулись с Микулой.

— Беда, беда! — протрубила Микула, не переступив порог. — Казаки и стражники к становищу подъехали! Мокея в цепях привезли на телеге. Беда! — Казаки?! Стражники?! — переглянулись верижники.

Микула увидел Третьяка с окровавленным ножом и был таков — убежал без оглядки.

— Господи помилуй! — молился Калистрат.

До Третьяка наконец дошло: казаки и стражники в общине. Бежать надо! Сию минуту. Убийство-то вот оно, свежее, не остывшее.

Вылетел из избы вслед за верижниками. «Стойте! Куда вы, нуды? Вместе надо!» — И верижники задержались у берега Ишима.

Ранняя стынь. Над Ишимом туман белесый. Третьяк хватанул сырого осеннего воздуха и вот вспомнил, что где-то на берегу две лодки, на которых общинники рыбачили. Где они, те лодки?

— Лодки! Где лодки?

У верижников цокают зубы. Третьяк-то с ножом!

— На лодках спустимся ниже по течению, переждем!.. Уедут, собаки! Мокей-то Мокей, а?! Всех оглаголет!

Туман. Туман. Белым чубом вьется. Берега застилает.

Бежать, бежать, бежать!..

Ефимия назовет Третьяка убийцей и тогда — цепи, дознание, и Третьяку болаться на перекладине. Вспомнил про общинное золото! Золото! Сундук золотом! Успеет ли?..

Из Мокеевой избы несется вопль:

— Спа-а-а-сите-е-е! Спа-а-а-сите-е-е!..

Но где же лодки? Выше или ниже по течению?

### III

Избушки, березы, пни, землянки, мычащие коровы у пригонов, табун лошадей у берега Ишима — и ни души.

Ни единой души во всем становище.

Тридцать конных казаков спешили у рессорных тарантасов исправника и станowego.

На двух телегах стражники с ружьями. И Мокей в цепях.

Исправник сошел с тарантаса, огляделся. Поджарый, немолодой, в форменной шинели и подполковничьих погонах.

Становой пристав — грузный, усатый, страдающий одышкой, сообщил исправнику, что сейчас все «ископаемые космачи» попрятались в своих норах и только силой можно вытащить их на белый свет, но нет, к сожалению, такой силы, которая бы заставила тех космачей заговорить.

— М-да-а, пожевал тонкими губами исправник.

— Духовником у них чудище бородатое, — продолжал становой. — Нет никакой возможности разговор вести — необозримая тупость. Глядит в землю да долбит лоб ладонью.

— М-да-а.

И через минуту.

— Гнать бы их с берегов Ишима.

— Совершенно верно, ваше высокоблагородие. Гнать надо. Гнать, гнать.

Исправник подошел к Мокеевой телеге, где в этот момент крутился до-тошный Евстигней Миных.

Изрядно измученный за полторы недели Мокей, в той же суконной одно-рядке и в кожаных штанах, притворился усталым, ничего не смыслящим, по-тому и не ответил сразу на вопрос исправника: из этой ли он общины?

— Тебя спрашиваю, рыло! — взвинулся исправник. — Ты из этой об-щины?

— Не ведаю, благородие.

— Как так не ведаешь? Здесь удушили твоего сына?

— Навет. Чистый навет, благородие.

Исправник распорядился:

— Пошлите казаков, пусть кого-нибудь вытащат из этих нор.

— Слушаюсь!

Но не успел становой отдать распоряжение казакам, как явился Калистрат. Сам духовник! Лобастый, чернобородый, раздувая ноздри горбатого носа, по-просил дозволения говорить с начальником.

Исправник подошел к бородачу с золотым крестом.

— Спасите, ваше высокоблагородие! — И Калистрат бухнул лбом в начи-щенные до блеска сапоги исправника. — Спасите, ради Христа! Отрекаюсь от сатанинской веры! Отрекаюсь! Ко православному христианству возвернусь. Искуплю грех свой тяжкий. Семнадцать годов мытарился со старообрядцами в Поморье, искал спасение души, а нашел зверство единое, душегубство, ти-ранство, какое учинял сатано Филарет. Отрекаюсь!.. Спасите, ради Христа! Припадаю к стопам вашим!..

Ошарашенный исправник так и не уразумел: кого спасать и от кого спасать?

— Кто вы такой? Поднимитесь и говорите толком.

— Не смею подняться — спасение прошу, — отвечивал Калистрат, об-метая собственной бородой пыль с сапог исправника.

— Спасения?

— Православие приму. Старообрядчество дикое отторгну, яко сатанинское верованье.

— Похвально. Чем могу, тем буду содействовать вашему возвращению в православную церковь. Однако кто вы такой?

— Имя мое, под каким был в духовной академии, Калита Варфоломеевич Вознесенский, дворянин Могилевской губернии. В 1811 году, в день рож-дства Христова, был рукоположен в протопопы и оставлен при академии. Гордыней своей обуянный, расторг духовные узы, отрекся от православия и ушел искать спасения в раскольничьем Церковном соборе Поморья, где и сыскал себе погибель.

— Вот как! — Исправник переглянулся со становым. — Что ж, буду лично говорить с архиереем Тобольским. — И покрутил стрелки белых усов. — Поднимитесь, Калита Варфоломеевич. Посмотрите на арестованного. Не из вайей он общины?

Что там глядеть, если под Мокеевым взглядом за десять сажень у Калистрата-Калиты по спине холода гуляет.

— Безбожник то и еретик по имени Мокей — сын сатаны Филарета, который был духовником общины.

— Он убежал из общины?

— Прогнали за святотатство: иконы в цепю обратил.

— Вот как?! — удивился исправник. — Он говорит, что его сына какие-то старцы удушили под иконами.

— Удушили. Сам сатано Филарет удушил. Отец его.

— Где он — Филарет?

— На цепь посажен за смертоубийство. Пытки учинял раскаленным железом, на кресте распинал, огнем жег людей и чадо сына своо Мокея по шестому году удушил.

— Ну и ну!.. Дела...

Становой погнулся под свирепым взглядом исправника. Кому-кому, а становому достанется!

Мокей рванулся с телеги, откинул прочь двух стражников и, гремя цепями, одним взмахом руки опрокинул исправника, но не успел схватить Калистрата: тот кинулся в сторону, как жеребец от прясла, — только борода раздувалась от ветра.

Казачи сбили Мокея с ног и поволокли к телеге, насовывая ему под мышки.

— Привяжите его к телеге! — приказал исправник. И, обращаясь к становому: — Что вы тут смотрели, дважды побывав в общине? Или доверились тому «духовнику», который, как вы говорили «долбил лоб двумя перстами»? А что творилось за спиною духовника, видели?

— Виноват, ваше высокоблагородие.

— Старик вы, извините. Напрасно я вам доверился. Вот следовательно земской расправы сразу раскусил, что дело тут уголовное, вопиющее!..

— Вопиющее, вопиющее, — гнулся становой.

Евстигней Миньч рабелепно помалкивал, потупя голову: он будет отмечен, и потому покорность — верная стезя на ступеньку Верхней земской расправы.

Посрамленный Калистрат-Калита вернулся, не преминув сказать, что Мокей еще в Поморье исполнял волю своего отца-духовника и многих будто бы удушил собственноручно.

— Брыластый боров! Иуда! — орал Мокей.

— Есть тут кто-нибудь старший? — спросил исправник.

Калистрат поклонился.

— Меня избрали, да открекаюсь я. Открекаюсь! Филарета на цепь посадил, а каторжные по воле ходят. С ружьями и с ножами. Каждый час смерти жди.

— Каторжные? Какие каторжные?

— Числом на пятьдесят семь душ. Беглые каторжные. Вот сейчас произошло смертоубийство. Третьяк, который скрывается под фамилией Юскова, бежал из Москвы после французов. Изменщик и грабитель. Фальшивые деньги делал с французами в Преображенском монастыре и расправу учинял над русскими офицерами, какие верой и правдой служили Отечеству. Приговорен был к смерти через повешение, да бежал в Поморье с богатой воровской рухлядью и там скрылся в общине Филарета Боровикова. И сам Филарет — беглый пугачевец. Духовником был у Пугачева.

— Што-о-о?! Духовник Пугачева?! — поперхнулся исправник.

— Сущую правду глаголю, ваше высокоблагородие. Этот Третьяк, про

которого сказал, зарезал беглого каторжника Лопарева, государственного преступника, осужденного на двадцать лет каторги за восстание в Санкт-Петербурге.

— Лопарева?! Здесь Лопарев?!

— Здесь. Филарет сокрыл в общине. Как и всех других каторжных. Пятьдесят семь душ. Кабы я не поверг мучителя Филарета, сам бы не жил. Смерть перед глазами стояла. Потому — у Филарета были верижники с ружьями и ротатинами. Не уйдешь и не убежишь. Отобрал я те ружья, да Третьяк раздал посконникам каторжным и беглым холопам.

Исправник вытер батистовым платком пот с лица. Вот так дела! Да тут всех подряд надо заковать в кандалы и гнать на каторгу. Как же община прошла столько губерний в России, дотянулась до Сибири и никто не сумел раскрывать преступников?! А вот он, исправник, только явился в общину...

Ах да! Здесь скрывается Лопарев! Когда еще сбежал с этапа, и вот сыскался. И где?

— Где он, Лопарев? Где?

— Зарезал его Третьяк. Сейчас зарезал и убежал. С ножом убежал. Вон в той избе произошло смертоубийство. С ножом убежал. Господи помилуй!

Исправник круто повернулся к казакам:

— Десять казаков за мной! А вы смотрите здесь! — кинул становому. — Пашки наголо!..

Туман, туман. Молоко льется над берегами Ишма...

#### IV

Он еще жив, Лопарев. Он еще жив, жив! Он должен жить. «Милый мой, муж мой! Пусть смерть возьмет меня, а тебе будет жизнь», — бормотала Ефимия, перевязывая отбеленным рушником пораненную грудь Лопарева.

Ларивон и Марфа развязали Ефимию и теперь помогали ей.

Лопарева положили на постель. Рушник пропитался кровью. Кисти рук ослабели, и Лопарев не в силах удерживать жену свою, Ефимию. Падает куда-то вниз, в черную бездонную пропасть, в вечное забвение, а в ушах шумное течение Невы в половодье. Сразу и вдруг пришла смерть! Он еще так мало жил на белом свете.

— Ты должна... ты должна...

— Молчи, молчи. Не надо говорить. Сама умру, а тебе жизнь верну. Богородица пречистая, помоги мне! Вразуми мя, дщерь свою слабую и несчастную!..

— Не надо молить! Никто их не слышит! Ни Бог, ни Богородица.

— Не говори так. Не говори.

— Нету Бога, Ефимия. Нету, нету, нету!

Раздались бухающие шаги в сенцах, стук, грохот, в избу ворвались казаки с обнаженными пашками, исправник, а за его спиной — «брыластый бор» — Калистрат-Калита Варфоломеевич Вознесенский, дворянин Могилевской губернии, беглый протопоп.

Бледная, обессиленная за недельное радение Ефимия попыталась к лежанке, заслоня Лопарева.

— Взять! — ткнул исправник на Ларивона.

— Это не Третьяк, ваше высокоблагородие. Это старший сын Филарета-пугачевца.

— Там разберемся. Уведите его к становому.

Трое казаков повели Ларивона. Марфа со слезами поплелась следом.

Исправник подошел к Лопареву.

— Лопарев? Так вот вы где оказались, Лопарев! Достойное нашли себе пристанище. Достойное. — И кивнул казакам: — Двое останетесь здесь.

Ефимия подошла к Калистрату и плонула ему в лицо.

— Хриstopродавец! Алгимей трекалтый! Убивец сына мово! Трекалтый убивец!

Один из казаков оттеснил Ефимию от Калистрата.

— Убивец! Убивец!

— Не убивец я, Ефимия. Не убивец! — оправдывался Калистрат. Чего доброго, самого повяжут. — Филарет удушил твоего сына. Сатано! Али забыла?

— Ты убивец, ты! Кобелина трекалтый. И Акулину со младенцем огнем сожег на березе, и Елисея на кресте удушил. Убивец!

— Кто эта женщина? — спросил исправник.

— Бесноватая, ваше высокоблагородие. Ума лишилась. Жена Мокея Филаретова. Сына ее удушил старец, и ей груди жгли клюшкой, и на веревках висела. Я ее спас от смерти.

— Ты убивец, убивец! Не меня спас, а сам себя в духовники возвел и крест золотой отобрал у Филарета!..

— Взять ее!

Как Ефимия ни вырывалась от казаков, как ни умоляла исправника оставить ее возле умирающего Лопарева, — увели из избы.

По всей общине — смятение, страх и отчаяние.

Мужики, особенно беглые каторжники, пользуясь туманом, распозлись кто куда. И в степь ушли, иные бродом махнули за Ишим, в рощу, а Третьяк с тремя верижниками удрал по Ишиму на двух лодках.

Духовник Калистрат всех огаголивает. Пятерых каторжников успели схватить: Микулу, Поликарпа Юскова, Пасху-Брюхо, Данилу Юскова и Мигай-Глаза — многодетного посконника, когда-то отправившего на тот свет управляющего именем на Тамбовщине...

Посконников стаскивали в круг, как баранов. Бабы исходили визгом. Ребяточки ревели.

Конные казаки объездили окрестности на десять верст, но никого не скакали из беглых каторжан.

Велика ковыльная степь!..

Калистрат знал, что Третьяк, опасаясь, как бы посконники не набрали силу да и не прижали его, у многих отобрал ружья, а куда спрятал — неизвестно.

Перевернули всю рухлядь в становище Юсковых, особенно в избе Третьяка. Забрали на три телеги добра. Кованый сундучок с золотом из рук в руки перешел к исправнику.

Лукерья Третьяка с девчонками обеспамятела от рева: голыми остались.

Под вечер Калистрат подсказал исправнику, что ждать ночи никак нельзя: каторжные верижники, отчаявшись, могут напасть ночью и перебить всех. Подсотни каторжных? Где-то они спрятались?

Исправник и сам о том подумал — своя шкура дороже полсотни каторжанских шкур.

— Вы останетесь здесь с двадцатью казаками, — умилился исправник опального станого.

— Слушаюсь!

А чего же больше? Не перечить же заслуженному подполковнику, герою Отечественной войны с Наполеоном, побывавшему даже в Париже с русским войском!..

Вскоре после полудня Лопарев скончался, и тело его положили на поморскую телегу, укрыв дерюжкой. В Тобольск повезут, в острог, даже мертвого. Опознать надо и бумагу отправить в Санкт-Петербург. Пусть порадуетса его императорское величество, самодержец всея Руси!..

Старца Филарета с цепью на руке усадили на одной телеге с сыном Мокеем, спина в спину.

Ефимии исправник разрешил сесть на телеге возле тела Лопарева.

Юсковых — Данилу, Поликарпа, Василия повязали одной веревкой. И вдовца Михайлу прихватили — свидетелем будет по делу об убийстве Акулины с младенцем.

Десять поморских телег потянулись степью к тракту, а там дальше — в Тобольск.

Истопным воплем огласилась вся Приишимская степь...

Ночью становой пристав с казаками жгли сено и обнаружили сразу пятерых беглецов — в стогу прятались. Повязали спина к спине и отпотчевали плетями без жалости.

На другой день исправник поджег еще один стог сена, и опять двоих выловили, а один сгорел, не вылез. Кто? Неизвестно. Верижник каторжный, наверное.

Бабы и мужики подступили: не жгите сено. Чем скот кормить? И сами назвались разворошить все стога...

На четвертые сутки, до того как из Тобольска вернулся исправник с казачьей сотней, становой со своими казаками успел повязать тридцать семь беглых каторжников. Выслужился-таки и милости сподобился от исправника.

Вместе с исправником и казачьей сотней в общину явилось духовенство, архиерей с двумя священниками, военный врач и Калистрат с ними. Теперь уже не «многомилостивый батюшка Калистрат», а духовное лицо при архиерее — Калита Варфоломеевич Вознесенский, ставший потом воинствующим обличителем раскольников, автор незавершенных записок про Филаретовскую крепость, удостоенных особого внимания обер-прокурора синода. «Быть Калите архиереем», — будто сказал обер-прокурор, читая его записки.

Следом за исправником с казаками и духовными особами пожаловал и сам губернатор. Надо же взглянуть на ископаемых единоверцев Филарета, духовника Пугачева, некогда докатившегося со своим войском до берегов Ишима!

Немало богатой рухляди доставил исправник и в дом губернатора, конфискованной у беглого опаснейшего преступника Третьяка Данилова!..

На поиски Третьяка с верижниками-каторжниками кинулись казаки по всей губернии. Кроме того, надо было захватить беглых апостолов Филарета, оглаженных Калистратом как опасных преступников, на чьей совести немало убийств и самосожжения филипповцев, единомышленников духовника Филарета.

Пожалуй, никто не проявлял такого усердия по службе, не считая Калистрата-Калиты, как до того неведомый, а теперь всем известный чиновник Евстигней Миных Скарედнов, успевший за четыре дня получить ошеломляющее повышение по службе. Из уездного захудалого городишка Евстигней Миных перемахнул по воле губернатора в помощники губернатора по Верхней земской расправе! Ему доверен высший суд в губернии над нижним словом...

Экипажи, экипажи, экипажи...

Сытые, любопытные, не ведавшие ни нужды, ни забот, пожилые и старики, в мундирах и золотых галунах, и даже молодые чиновные люди расположились на берегу Ишима, невдалеке от знаменитой избы духовника Пугачева, угощались, пили дорогие вина; повара готовили отменные закуски и обеды, а тем временем казаки с исправником и становым приставом вытаскивали из землянок, избушек старух и стариков, мужчин и женщин, подростков и малых ребятишек — «еретиков-раскольников» — и гнали их к той самой березовой часовенке, где когда-то старец Филарет творил всенощные молитвы, и они пели славу «Исусу сладчайшему, пресладкому!..»

В свите губернатора было немало губернских светских дам, в том числе и губернаторская дочь на выданье, которую сопровождал сам Калистрат-Калита в избу «духовника Пугачева»...

— Это те самые костыли? — шурилась близорукая, тонкая в перехвате



губернаторская дочь. — Ужасно, ужасно!.. Но какая же нищета, Боже мой! И здесь жил сам духовник Пугачева, тот Филарет?

— Жилище, достойное алгимея, — отвечал Калита.

— Что значит «алгимей»?

— Мучитель.

— Как это выразительно — «алгимей»!.. Я его должна видеть. Непременно. Он не убежит из острога?

Нет, конечно, не убежит. Калистрат-Калита в том уверен. Из царской крепости не всегда удается убежать.

— Та женщина, как ее? Ефимия! О! Интересное имя. Она висела на этих костылях? Ужасно, ужасно!

Побывала губернаторская дочь и в избе Ефимии. Щупала пуховые подушки, разглядывала вышивки на полотенцах, зимние пубы на крючьях и особенно заинтересовалась пучками сухой травы, развешанной на стенах. Калистрат сказал, что Ефимия была лекаршей всей общины.

— Знахарка? Вот интересно! Она старуха?

— Нет, Ефимия — не старуха. Еще молодая и даже красивая особа, если ее отметил своим вниманием беглый каторжник Лопарев.

— Какая романтическая история! Беглый каторжник, дворянин, влюблен был в замужнюю женщину, знахарку. Она его не околдовала?

Калистрат охотно сообщал, что Ефимию сам старец Филарет на судном спросе огагодал ведьмой и что Ефимия на пытке отреклась от своего мужа Мокея, того самого убийцы омского купца Тужилина, отпетого в Тобольском соборе как святого мученика, принявшего смерть от еретика-дьявола. И так по всем избам.

Ходили, брезгливо морщились, щурились, а в избе Даниила Юскова разворошили кованые сундуки и унесли все, что «само прилипло к рукам».

Тем временем после сытного обеда и разговора на религиозные темы губернатор с его преосвященством архиереем снизошли до «стада еретиков». И такие, и сякие, и разэтакие! И если сейчас же не раскаются во грехе и не вернуться в лоно православной церкви, то всем им уготована геенна огненная, где они будут жариться и париться до нового светопреставления.

Еретики слушали и молчали.

И Калистрат-Калита сунулся со своей проповедью, но не успел сказать десяти слов, как полетели в него комья земли и проклятия со всех сторон: «Иуда, иуда! Брыластый боров! Сатано ты проклятый! Иуда, иуда!» И Калистрат, отплеываясь, поспешно отступил.

Преосвященству угодил комом земли в нос, и лысый старик, зажав нос платком, проклял «дикое стадо сатань». И губернатору припачкали мундир. «Пороть, пороть всех!» — приказал губернатор, торжественно удаляясь.

Сразу же после отъезда высоких гостей началась порка.

Казачьими плетями и помполами да по мужичьим костлявым телесам, аж свистело. По полсотни ударов каждому, а некоторым по сотне, глядя у кого какая морда. Бабам и даже старухам и тем уделали казачьих плетей.

Беглых каторжников пороли с особенным усердием — век будут помнить милость тобольского губернатора и «вольную волошпку»!..

Беглых каторжников утнали в Тобольск.

Становой пристав, по указанию губернатора, с двадцатью стражниками посланся в соседней деревне, в двадцати семи верстах от становища раскольников, и должен был вести неустанный надзор за общиною и переписать всех «посконников-еретиков» по приметам, если откажутся назвать свои имена, и список представить в канцелярию губернатора.

Вошь, вошь, вошь!..

Из крепости Филаретовой да в крепость царскую. Из огня да в полымя!..

## V

Дни, дни, дни...

И пасмурь, и солнце, и приморозки осенние.

Опечаленные старообрядцы-филаретовцы, преданные изменщиком Калистратом, убрали ячмень и пшеницу, сложили в поределой роще и огородили жердями.

Из-за нехватки хлеба пшеничные снопы тащили по избам и землянкам, сушили и вымочивали вальками, чтоб сварить кашу из пшеницы. Жить-то надо!..

Во второй половине октября, еще до снега, из Тобольска вернулись десятка два мужиков, Ларивон с ними, помилованный губернатором «за непроходимую тупость и глупость», старец Данило Юсков — «и без того скоро Богу душу отдаст», вдовец Михайла Юсков на одной телеге с печальной, притихшей Ефимией, от которой он в Тобольске не отходил ни на шаг, чтобы сама на себя руки не наложила.

Ни в Верхней земской расправе, учинившей суд над апостолами, убийцами Веденейки, и над Мокеем, ни в самом городе, где жила в казенной заезжей избе, Ефимия не обмолвилась ни единым словом обвинения апостолов. Тиранили ее на осмотрах, не один раз заставляли открыть груди, чтоб поглядеть следы от клошки, сколько раз в суде напоминали ей об убиенном Веденейке, чтобы она выступила со своим карающим словом свидетельницы и потерпевшей, но ничего не достигли. «Зреть вас не могу, анчихристы! Не вам судить Филаретову крепость, коль сами людей держите в острогах да в цепях да на каторгу шлете!» — только и сказала судьям Ефимия, за что и удалили ее с судебного заседания.

Третьяка с верижниками Лукой, Гаврилой и Никитой тоже доставили в Тобольск. Схватили в каком-то киргизском ауле.

Третьяка и Луку заковали в цепи и повезли в Петербург, наверное.

Калистрат сподобился в священники собора, и бас его гремел теперь на всю губернию: «Иисусе сладкий, Иисусе пресладкий, Иисусе многомилостивый!» И в том помог Калистрату-Калите четырехфунтовый золотой крест, переданный им с нижайшим поклоном и раболепием в старческие руки Тобольского архиерея.

Старец Филарет не дождал до конца следствия — скончался в остроге. С того дня, как упрятали в острог, он не выпил ни единого глотка воды, не съел куса хлеба. Сам себя уморил. Без стона. Без вопля.

Апостолов Тимофея, Ксенофонта, Павла и Андрея сыскали в одной деревне, недалеко от города Ишима, и доставили в Тобольск на суд. Батюшка Калистрат, которому они поклялись, что будут «он и они — одно тело», оглагодал их во всех тяжких преступлениях, и Верхняя земская расправа приговорила старцев к вечной каторге.

«Алгимей, алгимей треклятый!» — стонали апостолы в остроге.

## VI

На другой день после возвращения из Тобольска Ефимия собралась в ту трактовую деревню, где обосновался со своими стражниками становой пристав. «Благословлю единоверцев, когда их будут гнать на каторгу», — сообщила Михайле Юскову.

Михайла вызвался увести Ефимию на телеге, но она наотрез отказалась. Пешком ушла.

В тот же день, под вечер, Ефимию доставили в избу к становому, и тот накинулся на нее: как смела покинуть общину без его дозволения?

— Не каторжная я, не арестантка. Где хочу, там и хожу. В деревню пришла вот.

— Врешь, врешь! Явилась, чтоб встретить каторжных еретиков? Вижу, вижу!

— Али кому заказано глядеть на каторжных, когда их по тракту гонят да в этапные остроги запирают?

Глядеть, конечно, никому не заказано, но если Ефимия замыслила содействовать побегу, то пусть не думает, что это ей удастся. «И ты цепями загрмишь!..»

Ефимия согласилась поселиться в богатой крестьянской избе доверенного казака, где проживал один из стражников. Куда бы ни пошла — и стражник следом.

Минуло недели полторы, когда стражник сообщил Ефимии, что из Тобольска ожидается большой этап каторжных. «И твой, наверное, припожалует».

— Благодарствую за доброе слово, — поклонилась Ефимия и с утра вышла за околицу деревни к этапному острогу — деревянному бараку за высоким забором из сосновых брусьев, заостренных сверху.

Узел Ефимии, в котором она несла для каторжников хлеб, сухари, отварное мясо, пяток вареных кур, сам становой пристав проверил: «Как бы нашильник не передала».

День выдался сумрачный, ветреный. Ефимия укрылась от ветра в будке для часового, покуда этапный острог пустовал, и неотрывно глядела на черный тракт.

Под вечер показались этапные. Она их услышала и увидела...

«Тринь-трак, тринь-трак, — вызванивали безрадостную песню тяжелые цепи, и такие же тяжелые думы угнетали Ефимию: «Доколе цепи звенеть будут, Господи? Слышишь ли ты?!» И вспомнила Лопарева. Давно ли то было? Давно ли потчевала кандальника отварной курицей и сидела с ним ночью возле телеги, когда раздался вопль Акулины с младенцем?! Давно ли? И вот не стало ни крепости Филарета, ни самого Филарета нету в живых, и возлюбленный Лопарев нашел неожиданную смерть в ее избе. «Богородица пречистая, зрела ли ты убийство? Пошто дала силу разбойнику с ножом? За што караешь меня, скажи?!»

Никакого ответа. Только звон кандалов на тракте.

Впереди — трое верховых в шинелях и с ружьями. За ними каторжники, по три в ряду. Мокей с Микулой шли головными, и между ними еще какой-то богатырь. За их спинами — верижники Никита и Гаврила и апостол Ксенофонт. А вот и знакомые посконники, с которыми шла от Поморья. И Поликарп Юсков, и Трохин, и Пасха-Брюхо, и Мингай-Глаз! Сколько их? Полсотни душ! И всех их оглагодал иуда Калистрат многомилостивый!..

Мокей, Микула и все единоверцы глядели на Ефимию, как на чудо, осеняя себя крестами. Не видение ли?

Ефимия стояла на коленях и молилась.

Подъехал верховой стражник в серой шинели на карей лошади и, взмахнув плетью, крикнул:

— Пшла, пшла, баба! Чаво молишься?

Баба ни слова в ответ.

— Пшла, грю! — И хлестнул плетью.

Ефимия не ойкнула, только чуть вздрогнула.

Мокей рванулся было к подружии на выручку, но удержали Микула и верижник Гаврила со спины.

— Р-р-растопчу, стерва! — Стражник направил коня на Ефимию, но конь понятился, как перед высоким барьером. Ефимия даже не подняла голову. — Да ты што, баба? Пшла, грю!

— Топчи, топчи! Бей плетью, руби пашкой. Исполни волю сатаны, и благодать тебе будет от царя-батюшки.

— Эв-а! — покосился стражник. — Али у те кто из сродственников в каторжных?

— Муж мой.

— Эва! Который?

— В первом ряду. Дозволь передать узел.

— Не положено. С начальником говори, с офицером.

Подъехал конвойный офицер. Что еще за женщина с узлом? Тут и становой пристав подошел. Так, мол, и так. Жена одного из каторжных, Мокея Боровикова, осужденного в Тобольске за убийство купца Тужилина на вечную каторгу. Узел ее тщательно проверен.

— На ваше усмотрение, — отговорился грузный становой, а сам в сторону: пусть конвойный офицер решает, допустить или нет жену на свидание с каторжником.

— Не будет свиданки, говорю. Ступай, баба! — И, подобрав поводья солового иноходца, поехал сбочь строя этапных, усталый и злой как черт, отупевший от непрерывного звона кандалов.

Мокей неотрывно глядел на Ефимию. «Подружия моя, подружия! Едная на всем белом свете. Не зрить мне тебя до скончания века. Кабы раньше пригладался к тебе, подружия, понял бы тебя нутром, разве была бы мне каторга? Подружия! Прости мя», — думал Мокей, стиснув зубы. И вдруг как волною ударило: «Благостная! Благостная! Иисусе Христе! Благостная!» И, гремя цепями, каторжные, вчерашние общинники, попадали на колени и молились, молились, будто зрели не Ефимию, а Богородицу пречистую, сошедшую с небес на кандалный тракт.

Один из апостолов Филаретовых, Тимофей, затянул псалом: «Восстань, Господи, во гневе твоём, подвигнись супротив врагов лютых, сиречь еретиков-щепотников, и дай им суд и кару!..» — И гаркнул на всю степь: «Кару, кару, кару!..»

— Молчать! Молчать! — метался на коне конвойный офицер и хлестал каторжных плетью.

Пешие стражники ошетинились ружьями.

— Гнать бабу! Гнать! — рыкнул офицер, налетев на Ефимию с плетью, но не ударил. Двое стражников подхватили Ефимию под руки и поволокали по тракту в сторону деревни. Саженой на двести отнесли и там бросили вместе с ее узлом. Она тут же поднялась и пошла следом за стражниками.

— Стерва баба, н-назад!

— Иду назад. А вы вперед гнали.

— Поддать, што ль! — И поддали Ефимии, но разве ее устрасишь такой поддачкой, если раскаленной клюшкой Филарет не мог исторгнуть из ее груди вопля?

Пришлось одному из стражников караулить Ефимию, а другой ушел загонять этапных в острог.

Всю ночь Ефимия провела у острога, прячась от стужи возле высокого забора.

На зорьке, когда над степью курился туман, поднялись каторжные. Слышались хриплые голоса стражников, унтеров, а потом и звон цепей. Ефимия опять вышла к воротам острога. «Иди, иди, холера! До чего же ты вредная баба! Вот зайвится из деревни старший офицер, заработаешь порку. Чистое дело — заработаешь!»

Отдохнувший в деревне старший конвойный офицер на этот раз смилостивился, заговорил с Ефимией. Кто? Откуда? Далеко ли та община раскольников, где скрывались беглые каторжники? И правда ли, что общиной правил духовник самого Пугачева и что они, общинники, будто бы шли в Сибирь, чтобы поднять каторжан на восстание?

Ефимия сказала, что они шли в Сибирь, на Енисей, в тайгу, спастись от

анчихриста и что никому зла не сделали, а жили тихо и мирно, и за все в ответе перед Богом.

— Говори! Слышал, как вы там жили в общине! И сами себя терзали, и архиерея с губернатором закидали грязью. За такое дело — всех на каторгу! — И, помолчав, спросил: — А где та баба, которую на суд привозили в Тобольск? Ребенка ее удашили какие-то апостолы, и ей груди прожгли — вчистую изуродовали. Живая?

— Живая, — тихо ответила Ефимия.

— Не убежала из общины?

— Куда же ей бежать?

— В монастырь ушла бы в православный. В Томске есть такой монастырь.

Ефимия просила дозволения проводить мужа Мокеев по тракту. «Там я уйду в свою общину. Пешком сюда пришла, чтоб повидать мужа и проводить его».

— Чудище твой муж. Бревно.

— Какого Бог дал.

— Ищи другого. Самое время. Из вечной каторги не возвращаются. Понимаешь?

— Одна буду жить.

— Ребятишек много?

— Много, — соврала Ефимия, а в сущности сказала правду: мало ли она выходила ребятишек от смерти за долгую дорогу от Поморья?

— Сожрут тебя каторжные. Не боишься?

— Меньше мучиться, барин, коль сожрут.

— Ладно. Разрешу тебе идти рядом с мужем, только придется обыскать тебя всю до нитки. Чего доброго, напильник передашь или какую-нибудь пакость. Согласна? Имей в виду, баба, при обыске раздену. Или проваливай дальше!

Ефимия побожилась, что с ней нет никакой пакости. Но разве конвойный начальнику поверит? Ни Богу, ни брату, ни матери родной такие люди не доверяют. Испытанное дело. Каторжных гнать из губернии в губернию по Сибири — не солому везти по тракту.

Как ни стыдно было, а пришлось Ефимии раздеться в караульном помещении. Обыскивать вызвали одну из благородных арестанток — шла на вечное поселение. Тут же сидел и сам конвойный начальник. Таращил глаза на Ефимию да причмокивал губами: так бы и сожрал.

— Красотка ты, скажу! А? Какая, а?

— И не стыдно вам, ваше благородие?

— При моем деле стыд вышел из употребления. А что у тебя за рубцы на груди и на животе? — И подошел посмотреть. Ефимия готова была выдрать ему глаза, но стерпела.

— Э, да не тебя ли жгли, баба? Чистое дело, тебя!

— Отроду такие рубцы. Отроду.

— Ври! Или я сам не клеймил шкур каторжанских? Трудно было, а? Ревела?

— Радовалась и молилась.

— Ну, ну. Не пугайся и не ерпенься. Выгоню из караулки, и пометешься одна по тракту. Я всех щупаю, баба. Такая моя должность. По грудям-то не видно, чтоб у тебя было много ребятишек. Меня не обманешь — свою бабу имею. Трех народила — и титьки опустила, как и должно. А ты красотка.

Стыд и срам, а что поделаешь? Вот они какие, слуги анчихристовы! Есть ли у них совесть? Или они ее потеряли еще в утробах своих матерей?

Из караульного помещения, когда этапные выстроились перед выходом на тракт и телеги с поклажей и с больными выехали за ворота, конвойный начальник сам вывел Ефимию к Мокееву:

— Молись Богу, бревно! Жена твоя — сто сот стоит, если явилась проводить тебя, чудовище.

Мокей не успел ничего ответить, как Ефимия опустилась на колени, прекрестилась и поцеловала кандалы на его ногах.

— Подружия! Их ли лобызать?!

— Долго тебе их носить, Мокеюшка. Дай Бог, чтоб не погубили они в тебе живую душу. Оттого и поцеловала их — не чувствуй их тяжести.

Мокей трудно заклопал носом:

— Подружия моя! Едная! Не зрил ты, не понимал!.. Мытарил, яко алгимей треклятый!..

— Поцелуй меня, Мокеюшка. Сколь не виделась?

Знала же, не забыла, что Мокей никогда не целовал ее. И умел ли, отважный и бесстрашный поморец?

Гремя цепью, Мокей несловко поднял руки, обняв Ефимию, как мог, и прильнул к ее устам — не оторвать. «Подружия!.. Едная!.. Светлая!.. Благодная!..»

И кандалники-единоверцы Микула, Никита, Гаврила, Пасха-Брюхо, Мигай-Глаз и многие, даже чужие и неведомые для Ефимии люди, глядя на нее и на Мокея, горько заплакали и вспомнили, быть может, своих несчастных матерей, невест и верных подружий!..

— Пшли! Ша-гом арш! Арш! Арш!..

И разом, как колокольный перезвон, звякнули цепи головных каторжников, и постепенно, ряд за рядом, тронулся по тракту весь этап, растянувшийся на четверть версты.

«Тринь-трак, тринь-трак, тринь-трак...»

Путь сибирский дальний!..

Ефимия и Мокей шли, взявшись за руки. Впервые в жизни! И здоровущая ладонь Мокея показалась Ефимии такой нежной и жалостливой, что она не чувствовала ни ее тяжести, ни ее силы, как бывало не раз, когда Мокей хватал ее по-звериному, кидая наземь, как щепку.

Нет, он не убивец кушца. Шибанул кирпичом кто-то из купеческих возчиков, а на него свалили. В остроге толковали: писать надо бумагу царю. Да чего там! Лучше каторга, чем помилование царя-кровопивца.

Не забыл Мокей и про брыластого борова Калистрата.

— Зрила, сколько наших людей цепи тащат? Про апостолов глагола нету. Собаки! Не жалкую. А вот как Микула, Никита, Поликарп, Гаврила, Пасха-Брюхо, как другие верижники и посконники, — тех жалкую. Семьи остались. Ребятишки, бабы едные. Как жить будут? Мытарство, мытарство. Через кого погибель пришла? От брыластого борова. В милость вошел ко щепотникам, паче того — архиерее, собаке. На судилище всех оглаголал. Слышала? Кровь кипела — удудил бы. Да цепи вот!

— Так, Мокей. Цепи, — подтвердил Микула.

— И Бог то зрит и милостью осыпает мучителя, а праведники цепи тащат. Тако ли?

Ефимия вздрогнула. Сама о том не раз думала!

На привале попрощалась с Мокеем и со всеми единоверцами-каторжанами.

Этапные тронулись в путь...

— Прощевай, подружия! Навек прощевай! — кричал Мокей.

— Прощевай, Мокеюшка! Прощевай! Не зри небо в тучах. Не губи живую душу!

— Прощевай, благодная! — кланялись единоверцы.

Ефимия долго еще шла сбочь дороги.

«Тринь-трак, тринь-трак», — стучало железо в безмолвном просторе равнинной степи.

## АПОЛОГ

## I

Из сумерек тирании слышится вопль: «Велика Русь, а деться некуда!..»  
Остроги и цепи, стражники и жандармы, арестантские одежды и бубновые тузы на спинах каторжан: «По высочайшему повелению...»

Пятерых удавили на одной перекладине...

Тысячи забили шпицрутенами...

Сотни заковали в кандалы и угнали в Сибирь на каторгу...

Солдаты били в барабаны. Розовело небо.

«По высочайшему повелению...»

На руках цепи. На ногах цепи.

Зной и жажда.

Показалось какое-то поселение. Полз, полз к людям...

— Воды, воды, воды!..

— Изыди, сатано! Хлебай смолу кипучу!..

А розовое солнце так же поднималось над миром, как в то утро 13 июля 1826 года, и пятеро повешенных висели на пеньковых веревках на одной перекладине...

Кузнец Микула пилил заклепки.

«Дззз... дззз... дззз» — пел напильник...

— С той деревни и я родом. Там, почитай, вся деревня из Боровиковых состоит. Слыхал, может, от деда, как он выиграл в карты имение у помещика Боровикова? Эх-хе-хе! Житие барское да дворянское. Родитель мой, Наум Мефодьев, по прозванию Боровиков, старостой был на деревне. Слово такое сказал — два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно, и тут же смерть принял...

Небо перемигивалось звездами. Тишина. Истома. И вдруг в этой тишине раздалось долгое и трудное: «Ма-а-а-тушка-а-а! спа-асите!»

Судная ночь...

По всей России вопль и стон. От поколения к поколению одно и то же: холопы — под барином, барин — под царем, царь — под Богом, а Бога никто не видывал, никто его голоса не слыхивал.

Неистово, до иступления, молились в неведомое, не получая ни ответа, ни поддержки...

Из века в век: «Глас вопиющего в пустыне...»

В окружающей жестокости Филарет утвердил свою жестокость, чтобы сохранить общину. И он сумел это сделать, духовник Путачева. Через всю Россию-матушку провел единоверцев, и вдруг предательство брыластого борова Калистрата — и более полусотни душ обрели цепи. И сам Филарет — гордый и непримиримый старец — почил в каменном подвале Тобольского острога, и кто знает, где захоронили его бранные останки!

## II

Не стало крепости Филаретовой... В судной избе поселилась семья поморца Валявина — осьмнадцать душ. Лоб ко лбу, плечо к плечу. Пятеро мужиков — сыновья старца Валявина. Снохи, детишки, старуха на изжитии.

Дочь Валявина Акулину с младенцем сожгли, яко еретичку. Легко ли?

На костылях — рухлядь домашняя. На тех самых костылях, где совсем недавно исходила воплем Акулина, кряхтел апостол Елисей и мучилась благостная Ефимия...

Старик Валявин не стал молиться на испоганенные иконы — прорубил в

избе дырку на восход солнца: «Бог-то, он не в досках, а на небушке пребывает». И вся семья Валявина молилась в дырку, а потом и другие стали также молиться.

С того пошло новое верование — «дырники».

Данило Юсков уверовал в явление Богородицы под рябиной, хотя сама Ефимия молчала теперь про Богородицу. Данило Юсков рассудил так: Богородица сказала болящей Ефимии, что спасение будет под рябиной, значит, надо всем носить рябиновые крестики, тем паче рябина не кипарис, не благородный лавр, везде произрастает, и даже в Сибири.

Многие общинники нацепили на себя самодельные рябиновые крестики и собирались у старца Данилы слушать его проповеди и чтение Писания.

Рябиновцы не только усердно молились, но и прибрали к рукам лучших лошадей, коров, овец, и конная мельница с крупорушкой оказалась у рябиновцев. Так что в общине не раз вспыхивали потасовки. Мужики хватали друг друга за грудки, за бороды.

Бабы тоже не отставали — тайком уводили коров и телят к своим землянкам и клетям, всячески понося друг друга. Особенно враждовали рябиновцы с ларивоновцами. Ларивон явил себя духовником заместо упокойного батюшки Филарета, и к нему в избу стекались крепчайшие поморцы, совершали вседневные молебствия, проклиная вероотступников и более всех Юсковых, из-за которых будто пришла напасть на всю общину поморских раскольников.

Так мало-помалу единая крепость распалась на разные толки, но никто из общинников не явился с раскаянием в православную церковь и не примирился с царской властью.

### III

Лохматая, постылая осень.

Вчера еще над Приишимьем пролетела последняя связка курлыкающих журавлей, а ночью ударил приморозок с ветром — и Ефимия озябла в своей изюбенке.

Ночь тянулась, как суровье на кроснах, — однообразно и бесконечно. Скорчившись под рухлядь, Ефимия никак не могла уснуть и все глядела в квадратное оконце. Голые сучья рябины, качаемые ветром, тоненько царапали стекло. Когда-то ей привиделась Богородица под рябиной. «Не было того, не было! Туман единый да сон тяжкий».

Нет, она не запомнила свои молитвы. Всенощные, до измора тела и духа, недельные радения с тысячами земных поклонов, и никто не отозвался на ее молитвы — ни Бог, ни сын Божий Иисус, ни мать Божья.

«Веденейку удушили под Иисусом!..»

Если бы Иисус был камнем, то и камень треснул бы от горьких стенаний Ефимии и надрывного вопля Мокея.

Но камень не треснул, потому что и камня не было.

«Нет у него грома. Нету у него молний. Нету у него ушей. Нету у него глаз. Пустошь едкая. Иисус от книг произошел со Богом своим. От Библии той да Евангелия. Умыслили, звери!..»

И вот Ефимия осталась одна. Совсем одна в березовой изюбенке, продуваемой студеным ветром.

Не жена, не девица, не вдовица.

Мученица.

Тьма. Тьма. Забвение.

Жестокое одиночество и неприкаянность живой среди живых, «в тумане пребывающих».

Сплетаются два голоса. Она их теперь все время слышит. И днем, и ночью. «Не надо молитв, Ефимия! Никто их не слышит. Ни Бог, ни Богородица».



Может, это душа убиенного кандальника Лопарева тревожит сейчас Ефимию и не дает спать? «Мужем назвала, а женой не была». Не он ли, Лопарев, звал ее уйти из общины? Не родной ли дядя Ефимии зарезал Лопарева?

«Возлюбленный мой, муж мой, где ты? Как то случилось, Боже?! Видел ли ты, Боже, как злодей ударил праведника ножом и смерть стала?»

Отвечает Мокей громовым басом:

«Нету Бога, Ефимия! Нету! Сына мово и твово, Веденейку кудрявова, под Исусом удавили. И Бог то зрил и силу дал душителям. Такого Бога, паче с ним Исуса, пинать надо... Али ты веруешь опосля железа? Опосля Веденейки? Озрись, отринь туман тот!..»

Озрилась. И отринула.

За неделю ни одного креста не положила, ни одной молитвы не прочитала, ни одного поклона не отбила перед единственной иконой Богородицы. На приветствия единоверцев «спаси Христос» отвечала молчаливым кивком головы. И вот сейчас, лежа в постели, хотела бы помолиться, чтобы вздохнулось легче, да руки не поднять. Вера иссякла, как источник в Аравийской пустыне. Шли дожди — прохладною дышал источник. Настала знойная, иссушающая пора — ушел источник.

Одна!..

Печаль точит сердце, нужда — тело.

#### IV

Не посконью повязывают судьбы, а страданием и горем.

И чем тяжелее горе, тем крепче узы людей.

Плечом к плечу — легче жить.

Ни радости вечной, ни печали бесконечной.

Не одна же, нет! Люди кругом, или вот хотя бы вдовец Михайла Юсков каждый вечер навевается к Ефимии. То охапку дров несет, то свежей рыбы, то мяса, то муки, и все смотрит, как будто она, Ефимия, — солнце красное.

Молодой еще, красивый и неглухой мужик. Русая борода и вьющиеся на темени волосы. Мягкие, ласкающие синие глаза, как у покойного Лопарева, и тихая, застенчивая улыбка. Такой мужик воды не замутит и сам себя от обиды не защитит. Смиранный и робкий, а ведь Юсков же, правнук мятежного стрельца, помышлявшего убить Петра Первого, сын хитрущего Данилы, сумевшего до того разжалобить тобольского губернатора, что тот опустил его «успокоиться в общине».

В кого же он такой, Михайла?

Спросила:

— Часто ко мне ходишь, Михайла. Или сказать что хочешь?

Молчит и голову уронил.

— Али от скуки время цедишь сквозь пальцы? Говори!

— Прости ради Христа, благостная. Жить не могу, не зрив тебя хоть едний день.

— И в жены взял бы?

— Господи! Век бы молился. Едная на всем белом свете. Да разве мыслимо? Шутейно глаголешь.

— Пошто шутейно? Али я юродивая? И мне солнце светит.

— Кабы согласилась, да я бы, осподи прости, воскресе из мертвых. Без тебя нету жизни мне, скажу.

— И на смерть пошел бы за слово мое?

— Пошел бы!

— Не убоился бы?

— Хоть сейчас режь! Возьми нож и убей. Руки не подыму.

В пухлых губах Ефимии — тоскующая усмешка, а в черных глазах затаился огонь загнетки, когда в кучу собраны горящие угли.

Вот он, охотник-поморец! И на зверя с рогатиной хаживал, и по Студеному морю плавал, и от трудной работы рук не прятал за пояс, а сам за себя постоять не может.

— Вижу то, вижу, — горестно промолвила Ефимия, вздохнув. — Робкий ты и тихий. А я смелости жаду, не покорности. Пошто на огонь не пошел за Акулину? Пошто зрил убийство и рук не поднял? Младенца твоего сожгли, подружню, и ты то видел, а молитву творил всенощную. Пошто не отринул самого Бога за то убийство? Пошто не кинулся на апостолов треклятых, хоть бы потом смерть стала? Как можно жить так, Михайла?

У Михайлы глаза округлились и кровь ударила в лицо. Глагол-то Ефимии еретичный! Отринуть Бога — слыхано ли? Или для испытки духа обмолвилась Ефимия?

— Ступай, Михайла! Не тревожь душу. Не пара мне тихая птица без когтей, когда кругом кровожадные коршуны летают. Убийца твоей Акулины, брыластый боров, и теперь в холе проживает, а братья твои — Поликарп, Андрей, Микула — цепями гремят. Ах, если бы я родилась мужчиною!

И вдруг спросила:

— Пошто не убил брыластого в Тобольске, когда он наших единоверцев оглаголавил?

Легко сказать: убить самого Калистрата, проживающего в Тобольске под защитою псов царя-батюшки — казаков, жандармов и чиновников с губернатором!

— Веруешь ли ты в Бога, Михайла?

У Михайлы от такого вопроса в глотке пересохло.

— Спаси Христос, благодная!.. Как можно!.. Испокон веку!.. Что б! Как можно!..

У Ефимии отвердел взгляд и стал жестким, давящим.

— Когда жгли Акулину со чадом твоим, молился?

— Спаси Христос!.. Всенощная шла!.. Как же не творить молитву?

— Просил смерти аль жизни чаду своему?

Михайла вытер рукавом посконной рубахи пот с лица, еле ответил:

— Обеспамятствовал на моленье-то! Страхи Господни!..

— И Бог зрил тот огонь, и слышал вопль Акулины со чадом, и не ударил апостолов громом, и не залил тот огонь дождем? За рекой в ту ночь дождь шел.

— Не ведаю, благодная.

— Я зрела тот дождь и молила Бога, чтобы он залил судный огонь, да не случилось то. Отчего так, скажи?

— Не ведаю, благодная.

— Ведать надо, Михайла! Кабы был Господь на небеси, не стало бы смерти для Акулины со чадом, а была жизнь. И Веденейка мой не лежал бы во сырой земле, а пребывал бы возле груди моей. Али мне не жгли тело именем Исуса? Али я не висела на костылях, а Исус зрил меня с икон и громом не ударил апостолов? Пошто так?

— Не искушен я в Писании, благодная!

— Писание! — Ефимия покачала головой. — Блуд в том Писании да скверна книжников. В Писании глаголют пророки да апостолы: раб — живи рабом, господин — проживай господином. Тако ли надо жить? Хошь ли быть рабом, холопом?

— Лучше смерть, а холопом не буду!

— Тогда ты не веруешь в Бога, Михайла! Бог заповедовал чрез своих пророков, чтоб ты рабом был, ярмо на шее таскал. Али ты от знатного рода корень ведасшь? Али твой родитель — князь? Как ты можешь проживать

вольно, коль от холопа произошел на белый свет? Стань рабом, как Господь Бог велит!

Михайла опустил голову, сопит думает. Трудно, с оглядкой. Правда ли, что Бог заповедовал ему вечное рабство? И не верить Ефимии нельзя — она-то знает Писание!

— Слушай. Если ты будешь мужем моим, и я принесу тебе две дочери — кровь от крови твоей, и дочери потом вырастут, придут к тебе и скажут, что они хотят спать с тобой и родить от тебя младенцев, как ты сделаешь?

— Иисусе Христе! Как можно то?!

— Можно. Михайла, если в Бога веруешь! Лотовы дочери спали с отцом своим. Потом и сынов народили, и Бог за то дал им святость. Веруешь ли в это?

У Михайлы рубаха взмокла. Он что-то слышал про Лота и его дочерей, как они убежали из города Содома, потом пришли в город Сикор и не стали там жить, как все люди, а ушли с отцом в пещеру, где и свершили «таинство со своим отцом», предварительно напоив отца хорошим вином, чтобы он спяну не разобрал, с кем спит: с дочерьми или с женой. Но одно дело — читать Священное писание, другое — вообразить подобное со своими дочерьми. Экая скверна и паскудство! Но как же можно назвать паскудством Святое писание? Глагол пророков?

А Ефимия долбит свое:

— Знаешь, Бог сотворил Адама, а потом Еву из ребра Адамова. И они через змея свершили тяжкий грех и родили детей, и Бог проклял их. А кабы не свершили грех, так бы и жили двое на земле? И нас бы не было, и никого бы не было на всей Руси! К чему тогда Бог сотворил самую землю? Как могут два человека жить на всей земле, подумай! И откель, скажи, другие люди пошли? Ева народила детей, а других детей не было на всей земле! Выходит: братья поженились на сестрах, и Бог то зрил али на небе в тучах прятался?

— Не ведаю, благодстная!.. Не искушен в Писании, прости меня, Господи!

Ефимия усмехнулась:

— Господь простит! Хоть мать убей, хоть отца иди зарежь — все простит. Да люди не простят, Михайла. Веровать надо в людей, а не в Бога. Не Бог сотворил человека, а сам человек себя сотворил, чтобы жить на земле господином. Также было, думаю. Зло и добро в людях пребывает, а не на небе у Бога. Ноне вот брыластый боров молитвы творит в соборе, крестом осеняет людей и купель для младенцев, — а кто он сам?

— Алгимей треклятый!

— И он тоже молится Иисусу, и ты молишься. Чью молитву Бог слышит?

— Праведная молитва угодна Господу Богу. Не алгимеева!

— Праведная? Значит, это Господь заковал единоверцев в цепи, когда услышал молитву брыластого борова? Тогда ступай, Михайла, в Тобольск и поклонись в ноги брыластому, а ко мне не ходи, слышь? Отринула я Бога, Иисуса и святых угодников, которые Калистратами были при жизни, а потом во святые перешли. Не верую более в туман да скверну Писания. Не верую! Не дам, чтобы дочери мои по Писанию спали с отцом своим, с моим мужем. Не дам! И рабыней не буду вовек!

Помолчав, спросила:

— Теперь возьмешь меня в жены? Сказывай!

Михайла таращил глаза и слова вымолвить не мог. Сама Ефимия отрелась от Бога! Сама Ефимия! Крепчайшая из крепких праведниц!

— Как можно, благодстная? Богородицу зрила!.. Кабы Господь не защитил тебя, огнем бы сожгли апостолы.

— Не Господь, сама себя защитила. Если бы назвала апостола Калистрата, какие он тайные реченья вел у Третьяка, и смерть была бы мне, и Калистрату, и всем Юсковым. Ведаю то. И Богородицы не было. Тяжкий сон был от

измора и тела, и духа. Во сне и в яму падаешь, а как озришься — на постели почиваешь. Али ты без снов живешь? Иди, Михайла. Иди! Когти точи, чтобы ястребом быть, а не голубем, какой в когтях ястреба смерть находит. Озрись сам, и ты увидишь: есть Бог или нету. Брыластого поводай. Может, он укрепит веру твою, а не ходи ко мне: я порущу веру. Иди!

Сам не свой ушел Михайла и сennую дверь не закрыл.

Минуло три дня. К Ефимии понаведался Ларивон и спросил, не знает ли она, а куда исчез Михайла Юсков...

— Михайла? — удивилась Ефимия.

— Два дни как нету. На соловом жеребце уехал. С норовом который. Как он иво взнуздал, никто не видел. Нету ни солового, ни Михайлы. А вдруг становой со стражниками приедет да спросит: все ли в общине, — как говорить тогда?

— Так и скажешь: все, мол. Али тебе становой поручил головы считать и за бороды держать?

Нет, такого поручения от станового не было.

Ларивон успокоился и ушел.

Ефимия встревожилась — куда же исчез Михайла? Что еще надумал? Не сбегал ли он из общины?

И старец Данило приходил, спрашивал, да что она могла знать! В чужую думу руку не засунешь и глазом не заглянешь.

Прошла неделя, другая. От Михайлы ни вестей, ни костей...

## V

Зимушка-зима! Не рано ли завьюжила метелица, распушив белый хвост на всю Приишимскую степь?

Курятся дымки в избушках и землянках поморцев, и редко где ночью мерцает огонек: сало берегли, — зима-то длинная, а смолья достать негде. И только в избенке Ефимии до поздней ночи светилось оконце.

Ишним сковало льдом. Снегом перемело дорогу от займища общины до кандаального тракта. Поморцы обмолотили хлеб цепями, провевяли лопатами на ветру и мололи зерно на конной и ручных мельницах.

Ефимия ждала и не ждала Михайлу — стигнул, может. Ночами, прокидываясь ото сна, к чему-то прислушивалась, вздыхала или плакала в подушку.

И вдруг среди ночи кто-то постучал в оледенелое оконце. И голос: «Благостная, благостная!» Михайлы голос. Соскочила с лежанки да к оконцу:

— Ты ли здесь, Михайла?

— Я, благостная.

— Господи! — И, не вздув огня, в одной рубашке выскочила в сени, вынула перекладину из скоб и — босая на улицу.

Лунная тишь и мороз к тому же. Серебряными блестками играет девственно-белый снег. Михайла будто испугался, попятился, а вместе с ним, храпя, закусывая железные удила, попятился дымчато-белый гривастый жеребец. Михайла в шубе, в пимах и в шапке-сибирке с опущенными ушами. Не признала даже — до того переменялся мужик.

— Ты ли, Михайла?

— Я, благостная. Не зреть мне тебя, прости Господи!

— В избу иди. В избу.

— Не вздувай огня, Христом-Богом прошу, — проговорил Михайла чужим, хрипким голосом.

— Иди же, иди! — А у самой голос срывается и босые ноги прихватывает на снегу.

Лунная сковорода светится, а не греет. Жеребец снег гребет копытами. За седлом, в тороках, какая-то кладь, стянутая веревкой.

Переступив порог, Михайла опять напомнил, чтоб Ефимия не вздувала огня.

— Да што с тобой подеялось, Михайла? Извелась я, ожидаючи тебя. Сколь время прошло-то! На неделе рождество, а тебя все нет.

— Мог спинуть, да сдюжил. Без бороды возвернулся вот, и на голове волосов негу-ка. Срамота! Исчадие.

И в самом деле Михайла без бороды.

— Где же ты был?

— В Тобольске, благостная. Урок дал себе: изничтожить брыластого боров али живым доставить в общину да судный спрос учинить изменщнику треклятому!

— Исусе Христе! И это говорит Михайла — робкий и тихий мужик. Как же ты урок такой загадал себе? Мыслимо ли?

— И голубь на ястреба кидается, благостная, коль к тому час подойдет, — ответил Михайла, переминаясь у порога. — В ту же ночь, как ты мне поучение сдала про брыластого, у меня будто земля ушла из-под ног. Вот, думаю, где же он, Исус Христос, Спаситель, когда по земле ходит брыластый боров Калистрат и молитву ему возносит? И порешил тогда: не жить алгимо! Али мне пусть будет смерть, али изменщнику, чрез которого братья мои цепями гремят на каторге.

— Если бы я знала, не говорила бы так в тот вечер.

— Пошто не говорила бы?

— Через меня на смерть-то пошел!

— Не чрез тебя, благостная, а от своей души. Места себе не находил. Сколь единоверцев загубил брыластый — умом рехнуться можно.

— Один ли он, брыластый, под царем проживает? Сколько их ходит с пашками да с ружьями? И стражники, и казаки, и губернатор с жандармами и чиновниками. Да мало ли их, кровошницев! Одного брыластого убьешь — десять других будет. Спокон веку так, Михайла. Кабы всю крепость порушить: с царем, с алгимеями, со жандармами и помещиками, да чтоб сам народ власть вершил, тогда и вольная воля настала бы на всей Руси — от моря до моря. — И, помолчав, спросила: — Где же ты таился? В Тобольске?

— У единоверца Варламия Перфиляча. Он ишшо хлебом-солью потчевал, когда расправа шла. Помнишь? Старой веры держится, хоша и проживает при городе. Косторез знатный. Из Поморья такоже, как и мы. У него проживал и в болести мучилась: черная оспа повалила. Мрут в Тобольске от оспы — кажинный день гробы тащат да воплем исходят. И меня скрутило. И всю семью Варламия Перфиляча. Дочка у него померла и старуха. И я чуть не помер, осподи прости.

— Из-за меня спинуть мог!

— Што ты, благостная! Это Господь на Тобольск мор наслал, а ты на себя вину берешь. Как бы не ты, и я бы помер. Одной тебе молился, истинный Бог. Как вроде ты святая.

— Не говори так, не говори! — испугалась Ефимия.

— Истинную правду глаголю. Вот, думаю, ежели благостная святое реченье веда, минует меня черная смерть. И стало так: минула. А дохтура те, окаянные, того и ведают — бороды стрипут да головы оболванивают. И все лекарство. Иуды! За бороду я бы им башку оторвал.

— Вырастет борода-то, вырастет. Слава Богу, сам живой вернулся.

— Конопатый я таперича. Образина-то — сам не зрил бы.

— Оспинка — Божья щедринка, аль не знаешь? Прививная оспа — антиева печатка. Да неправда то! Ох, неправда! От черной оспы да от холеры — молитвами не спасешься. Не дай-то Бог!

— Не дай Бог, — ответно вздохнул Михайла и вдруг горестно промолвил: — Жить мне таперича вековечным вдвоим.

— Пошто так?

— Доля такая выпала. За конопатого разве приворотная перестарка пойдет аль какая порченная. К чему то мне? Один буду мыкаться да сам с собой аукаться.

Ефимия подошла ближе. Михайла уперся спиной в стену.

— Не зри меня, не зри! Хворь-то и к тебе пристанет.

— Не боюсь я ни хвори, ни смерти, Михайлушка. Через огонь и смолу кипучую прошла — мне ли убоиться оспы? Дай обниму тебя, мученик праведный.

— Погоди, погоди, благодная! При свете али при солнце плеваться будешь. Легче умереть, чем экое пережить.

— Не в лице красота-то, а в душе, Михайла! Много я перетерпела в жизни за двадцать-то пять годов, а кабы ты не возвернулся к рождеству, ушла бы из общины. До каторги дошла бы к единоверцам и, чем могла, помогла бы им.

У Михайлы жар по телу, и в пот кинуло. Схватил бы Ефимию, обнял, да робость мешает.

— Спросить хочу: брыластого куда деть? Может, на моленье поднять всех, чтобы поглядели на нуду мертвого да проклятье наложили?

До Ефимии не дошло: брыластого? Какого брыластого?

— Да Калистрата-нуду. Мертвый токо. В тороках привязан.

— Иисусе Христе! — перепугалась Ефимия. — Ты ли это, Михайлушка? Как ты осилил его?

— Тебе молния, говорю. И силы у меня будто прибавилось. С тремя бы брыластыми совладал.

— Господи! Как же ты, а?

— Неделю караулил алгимея. Иуда, запершись, сидел дома — черной оспы боялся, сатано. На молебствие в собор явится и скорее домой едет на санках. Выезд, как у архиерея. Сказывают: золотую цепь от Филаретова креста продал в казну, а крест архиерею убоготворил, паскудник, и в милость вошел. Проживал в доме при ограде самого архиерея. Там и стукнул я его. Булавой да по башке. Варлакий Перфилич булаву удружил. Конь не сдюжит удара.

— Иисусе Христе! Михайлушка! Прости меня, что тогда посмеялась да робостью и тихостью укорила.

— За тот урок в ноги поклонюсь тебе, благодная. Как будто на свет в другой раз народился. Робким да тихим не проживешь, должно, алгимей сожрут и кости на зубах перемелют. Такоже.

— Михайлушка! Михайлушка!..

— Как с брыластым быть, скажи?

Ефимия догадалась: искать будут в Тобольске Калистрата-Калиту и, чего доброго, явятся в общину. Если созвать всех единоверцев на моленье, а вдруг потом кто-нибудь проговорится, и Михайле тогда вечная каторга.

— Подумать надо, подумать! Ларивон и так спрашивал: как отвечать становому, если спрос учинит — все ли в общине? Как же быть-то, Господи? Нельзя всех созывать на моленье — назовут тебя, и каторга будет. Как же быть-то, а? Чую: беда будет! Лучше бы ты его там бросил — пусть бы искали убийца в Тобольске. Ах, Михайлушка, что ты наделал? На себя черных коршунов накликаешь! Кто видел тебя, когда ты возвернулся в займище?

— Никто не зрил.

— Дай бы Бог, если бы никто не зрил...

И как бы в ответ кто-то постучал в оконце. Ефимия подошла, прильнула к стеклу, присмотрела, окликнула и услышала в ответ голос Ларивона.

— Ты, Ларивон?

— Я. Возле избы у тебя соловой привязан. Михайла приехал, или как?

— Иди в избу. Скорее. Дело есть.

Кому другому нельзя, а Ларивону можно сказать про кладь, навьюченную на солового жеребца.

Ларивон открыл дверь в избу и, не переступив порог, заговорил с оглядкой:

— Что тут? Али беда какая?

— Зайди в избу. Михайла возвратился. Поговорить надо.

— Пошто огонь не вздули?

— Поговорим без огня. — И когда Ларивон вошел в избу, оглянувшись на Михайла Юскова, Ефимия спросила: — Скажи, Ларивон, если бы в общину Калистрат заявился — живой или мертвый, как бы ты его встретил, алгимея?

— Иисусе Христе! — испугался Ларивон.

— Говори!

— Огнем-пламенем сожет бы нуду! Через него погибель пришла и вся община спинула.

— Тогда сверши волю свою. Михайла вон привез Калистрата мертвого, а ты убери паскудное тело с земли, чтобы следов не было для станового со стражниками, когда они придут в общину искать брыластого. И чтоб тихо было, слышишь. Не поднимай всю общину! Царские собаки спрос учинят, а вдруг кто скажет да назовет тебя. И тогда будут цепи и каторга.

Ларивон не сразу сообразил, что от него требует Ефимия. Но когда Ефимия сказала, что Калистрат теперь мертвый и тело его навьючено на солового, обрадовался:

— Слава Иисусу, свершилось! А я-то думал: куда уехал Михайла? Оно вот как обернулось! Век буду помнить Михайла, и в молениях благодти сподобиться, яко праведник. Огнем-пламенем сожгу трекалятого собаку и пепел в Ишиме утоплю.

Ларивон так и сделал. Разбудил крепчайших старцев-филаретовцев и сына Луку, утащили труп Калистрата к часовенке, совершили молебствие и, кинув труп на березовые дрова, сожгли, а пепел собрали в мешок, положили туда камней и утопили мешок в проруби...

...Так и остались недописанными откровения Калистрата-Калиты Варфоломеевича Вознесенского о раскольниках-филаретовцах.

Ефимия не ошиблась. Недели не минуло после возвращения Михайлы, как в общину явились стражники со становым приставом, а вместе с ними исправник из Тобольска с дотошным Евстигнеем Миньичем из Верхней земской расправы. Допытывались так и эдак: не отлучался ли кто из общины за две недели до рождества? Не грозился ли кто из филаретовцев убить Калистрата-Калиту? Пересчитали мужиков — все оказались на месте. И все-таки Евстигней Миньич уверял исправника, что загадочное исчезновение первосвященника собора Калиты Вознесенского не иначе как злодейское убийство, совершенное кем-то из раскольников. «В кандалы бы их всех да на Камчатку!»

За общиною установили гласный надзор. В двух избушках поселился урядник с пятью стражниками. Мало того, по первой оттепели в общину пожаловал помощник губернатора и объявил «высочайшую милость царя-батюшки»: всех раскольников, укрывавших беглых каторжан, водворить под стражею со всем их движимым и недвижимым имуществом на вечное поселение в Енисейскую губернию, в место, указанное губернатором. Тем из еретиков, которые отречутся от раскольничества и примут православие, разрешалось получить вид на жительство и поселиться в любом месте Сибири без выезда на Урал — «если на то не будет позволения власти».

«По высочайшему повелению...»

Общинники притихли, опечалились. Куда денешься? «Вот она какая наша вольная волюшка!...»

Как там случилось, никто не знает, кроме Ефимии: Михайло Юсков вдруг явился на поклон к помощнику губернатора и попросил позволения принять православие и в тот же день уехал со стражником на одной телеге в город Ишим.

Роптали общинники, плевались, но не тронули отступника.

Вернулся Михайла из Ишима не в становище Юсковых к отцу Даниле, а к Ефимии, и через неделю сама Ефимия отбила поясной поклон общинникам: прощевайте, мол! Не поминайте лихом. Не я порушила клятву. Крепость царская да жандармская расторгла узы содружества нашего. Михайла навьючила все свое имущество и скарб Ефимии на четыре телеги, прихватил двух коров и солового жеребца, кроме пяти лошадей, и они уехали искать себе место.

Вскоре по весенней распутице раскольников погнали в Енисейскую губернию...

## VI

В Заобье началась невиданная тайга. Плотная, густо замешенная, непролазная.

Лили дожди.

До конца второй половины апреля — ни единого просвета в небе. Лошади по брюхо вязли в грязище. Все шли пешком, даже старики и старухи. Изнемогая, падали от усталости, но не роптали на судьбу. Шли, шли, шли!

Впереди гнали гурт коров, телят, жеребых кобылиц, молодняк и сотни три овец, закупленных у кочевников Приишимья.

Каждая семья держалась теперь своего неписаного устава: везла свой скарб. Коров и лошадей давно разделили, а кое-кто из состоятельных общинников прикупил животину у кочевников. Особенно в том преуспели Юсковы и Вальвины.

Община распалась.

Возле города Ачинска, оттесненные стражниками за Чулым-реку, раскольники передохнули неделю две, покуда уездное начальство не получило указание губернатора — в какое место гнать еретиков.

Енисейский губернатор ткнул перстом в карту: верховье Енисея, по реке Тубе к устью Амыла — в глушь, в тайгу, под надзор казачьего Каратуза. Чего лучше? Каторжные места рядышком — рукой подать!

От Ачинска той же непролазной тайгою раскольников погнали в сторону Енисея. Шли и ехали много дней, покуда не уткнулись в кремнистые берега. На правом берегу возвышались угрюмые скалы, омываемые устьем Тубы.

Вода в Енисее ревучая, студеная. Берега сумрачные, лохматые.

— Матушки свет, не Волга, чать, а воды-то сколь гонит! Кто бы ведал, братья, што есть на свете такая река, как Енисей сибирский!

Долго переправлялись на правый берег на счаленных лодках, потом передохнули и подались дальше левобережьем быстротечной Тубы. В три дня дошли до богатого хлебосольного села Курагино, и тогда уже отправились ходоки с Ларивоном искать в тайге единоверцев, которых еще старец Филарет посылал облюбовывать место.

Не отыскивали единоверцев. У кого и спрашивали — ни слухом ни духом! Куда же они делись, одиннадцать мужиков? Говорили же Мокей с Пасхой-Брюхом, что они отыскивали поселение в предгорной глухомани по Амылу. А где оно, то поселение? Ищи! Мыкался Ларивон с тремя мужиками из деревни в деревню и ни с чем вернулся в Курагино. А тут становой пристав насл: уберите из православной волости, чтоб духу вашего не было!

Далеко не ушли от Курагино. Уткнулись в такую нехоженность — пальца не просунешь. Валежник, гниль всякая, хвойный лес под самое небо, а кругом — звери. Сохатые, маралы, медведи, рыси, а белок — несчетное множе-



ство. Благо зверь в вешнюю пору не лют. Встретится медведь аль сохатый и — в сторону.

На высокой горе Ларивон с мужиками наткнулись на избушечку одичалого человека, похожего на татарина, заросшего волосами, одетого в звериные шкуры. Думали, не лешак ли? Одичалый бормотал что-то, зверовато поглядывая на неожиданных гостей. Тыча в сторону речушки у подножия горы, он часто повторял:

— Мал-Тат, Мал-Тат.

Поодаль, в зарослях плотного пихтача и ельника, бурлил в вешнем разливе Амыл.

С горы виднелась тайга на сотню верст. У подножия заприметили чистое место.

— Экая елань белая, — восхитился Ларивон. — Тут и жить будем, братия.

Гору прозвали Татар-горою. Поселение окрестили Белой Еланью.

Лесные прогалины вспахали сохами и засеяли на первый раз ячменем.

День и ночь стучали топоры. Валили столетние кедры, лиственницы, пихты и сосны, свозили их волоком к облюбованному месту, строили дома на веки вечные.

Ларивон ставил дом сыновьям возле поймы Малтата, на пригорке. Как и наказывал Мокей, дом строили пятистенный, с моленной горницей, со светелкой, с большой передней. Три года прилаживали бревно к бревну, и вышел дом на славу.

Шли годы. Тайга отступала все дальше...

## СКАЗАНИЕ ВТОРОЕ

### КОРНИ И ЛИСТЬЯ

А еще сказать ли тебе, старец, повесть? Блазновато, кажется, да было так.

*Житие протопопа Авакума,  
им самим написанное.*

Вольный свет на волю дан.

### ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

#### I

Горы, и тучи, и лес дремучий. На ногах цепи, и на руках цепи. От двух цепей — еще одна в два аршина длины: к тачке замком примкнута. Ключ от замка у надзирателя.

Каторга!

От темна и до темна колодники с бритыми лбами гоняют тачки — от шурфа до бутары. Золотоносную породу возят. И в дождь, и в зной, и в осеннюю слякоть, и в крещенские морозы. Изо дня в день, из года в год. Звенят и звенят днем и ночью цепи, да колодники обвыклись — не слышат звона. Одна думка: порвать бы цепи да бежать.

Один из колодников, вечный каторжник, трижды клейменный за побег, давно забывший собственное имя, прихватив с собой напильник, бежал в горы.

Немиловитая тайга сомкнулась хвойным обручем — дух занялся: куда уйти? Где найти пристанище, чтоб не угодить в руки стражников и сибирских казаков?

Стальной напильник одолеа железные заклепки на браслетах кандалов, и беглый каторжник осенил себя... ладонью, не троесперстнем. Давно так не молился, и будто легче стало.

Долго шел старик хмурой тайгою, сам не ведая куда. Питался незрелыми ягодами и кореньями, ночи коротал под елями у огня: благо серные спички прихватила. И чем дальше, тем выше горы, под самое поднебесье. Так он подступил к Белогорью и горько заплакал: не одолеть гольцов с нетающими льдами. Знал: за гольцами вольная монгольская земля!..

Близок локоть, да не укусить.

Потащился вниз по неведомой реке. Отощал нещадно и, выбившись из сил, подошел к Белой Елани.

Как затравленный волк, глядел на деревню издали, боясь подступиться ближе. На пойменных лугах в прозрачной струистости летнего воздуха мужики косили траву. Возле речки, в тени ракитовых кустов, фыркали лошади, и там же устроен был стан. Виднелись телеги, холщовый полог на кольях, и курился синий, медленно тающий дымок. Беглец подкрался к телегам и, как того не ждал, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Вытаращив глаза на лысого, сивобородого оборванца, баба дико взвизгнула, не в силах подняться на ноги и бежать: до того перепугалась.

Босоногий старик в рваных арестантских штанах, зверовато оглянувшись, приблизился:

— Хлебца бы мне, Христа ради! Едную корочку.

— Сусе Христе! Сусе Христе! — лопотала баба, прижимая к груди младенца.

Старик опустил на колени и перекрестился... ладонью.

— Ради Христа, — повторил он, облизнув заветренные губы и не спуская глаз с бабы. — Сжался над немощью да над старостью. Век поминать буду.

— Сусе Христе! — И, набравшись смелости, баба завопила во всю глотку.

Старик срамно выругался и кинулся в заросли чернолесья, к речке.

К бабе подбежали мужики и тут услышали, как явился неведомо откуда лешак — глазастый, лысый, в рваных штанах, сивобородый и чуть было не сожрал бабу вместе с младенцем.

Мужики бросились на поиск, и одному из них удалось увидеть на прогалине между лесом страшного человека. По всем приметам — беглый с каторги. С какой только? С Ольховой или Никольской? А может, с медного завода, что возле Минусинска?

— Изловить надо каторгу, награда будет, — сказал кто-то из мужиков, и все кинулись ловить беглеца. Но тот сумел скрыться.

Вскоре вся Белая Елань знала, что возле деревни прячется беглый каторжник. Местный урядник поднял всех на ноги. С ружьями, с топорами, с собаками кинулись на пойменные сенокосы, сторожили трактовые дороги, но не сыскали каторжника.

Голод — не тетка. Таясь в пойме Малтата, белобородый беглец заприметил на карнизе окраинного дома скрутки звериного мяса, ввешенного для завяливания на солнышке.

Дело было на ильин день, почитаемый в Белой Елани как престольный праздник.

Вечером беглец добрался до охотничьей снеди, да не ушел далеко...

Хозяин дома Ларивон Филаретич, костлявый, жилистый старик в крашеной поскони, в чирках, лобастый, горбоносый, как коршун, увидел в окошко моленной горницы, как нездешний оборванец прятал за пазуху скрутки сохатины. «Осподи помилуй! Каторжник, одначе», — затрясся от злобы старик и заорал:

— Лука, Лука! Варнак-то, каторга окаянная, снесь опаскудил! Сохатину с карниза снял!

Лука влетел в горницу и сопя прильнул к стеклу:

— Игде, батюшка?

— Эвон, промеж кустов-то! Изловить бы, треклятого. Да самосудом, чтоб на веки вечные!..

Закатные лучи упали на рыжую бородищу Луки, и она вспыхнула зловещим пламенем.

В передней избе, где можно на тройке развернуться, за большим столом трапезничали домочадцы — двенадцать душ: двое женатых сыновей Луки Ларивоныча с женами и ребятишками, меньшей сын, Андрей, бровастый, поджарый парень, еще не успевший отпустить огненную бороду, и престарелая, щербатая Марфа, иссохшая и желтая, как сосновая стружка, кормилица малых правнуков: двух льняноголовых девчонок и двух прожорливых мальчишек: Елистрашку и Прошку.

Большак семьи, Лука, поднял всех на ноги:

— Живо мне! Ты, Веденей, возьми ружье. А ты, Микита, рогатину. Собаками травить будем. Урядник сказывал: награда будет. Хошь живого, хошь мертвого!

Вскоре из резных ворот боровиковской усадьбы вылетели лохматые собаки-медвежатники, вечно голодные, подтощале, готовые разорвать не только чужого, но и своего, только бы их науськали.

На взгорье, перед тем как бежать в пойму, Лука успел крикнуть старшему сыну Веденею:

— Гляди здесь, да никого не пуцай в пойму! Сами травить будем.

— Не пуцу, батюшка! — потряс дробовиком Веденей.

Из поймы доносилось:

— Ату, ату, ату!

Натасканные на зверя собаки никак не могли взять след человека, и, носясь как очумелые между кустов боярышника и черемухи, напали на гулящую телку с колокольчиком на шее, и не успела та вздуть хвост трубой и убежать, как собаки сбили ее с ног и разорвали бы, да подоспел Микита с рогатиной. Одну собаку огрел по голове, другую пхнул под брюхо. И тут раздался голос Ларивона Филаретыча:

— Здесь, здесь! Лука, Лука! Пестря! Черня! Белка! Ату, ату! Микита, Лука!

Собаки понеслись на голос старика, а вслед за ними Микита, бухающий сапожницами.

Каторжник прятался в кустах черемухника. Что-то говорил, умоляя сивобородого старика, да Ларивон Филаретыч не слушал. Притоптывая ногами, науськивал:

— Ату, Черня! Ату, Петря! Рвите анчихриста! Ату, ату!

Черный кобель, как смерть, прыгнул в кусты и вцепился в бродягу — клоуны полетели.

А из кустов умоляющий хрип:

— Люди, люди! Братцы! Помилосердствуйте! Не анчихрист я, братцы! За напраслину век мытарюсь, люди! Помилосердствуйте!

Куда уж тут до милосердия, коль за поимку каторжника — живого или мертвого — награду дают...

Микита намеревался проткнуть бродягу рогатиной, да старик удержал:

— Пуцай собаки. Тако сподобнее. Штоб без смертоубийства. Без греха штоб!

Тошная беломордая Белка, заливаясь лаем, кружилась возле куста.

Лука схватил Белку и кинул ее в кусты:

— Ату, ату!

Слышалось стонущее, трудное, хриплое:

— Бра-а-а-т-цы-ы! Спа-а-а-си-те! Бра-а-а-тцы!

А «милосердны братцы», уминая траву возле куста, в три глотки травил собак.

Не помня себя, жестоко искусанный собаками, в жалких окровавленных лоскутках вместо штанов, бродяга выдрался из кустов и из последних сил ударился в сторону дома Боровиковых. Собаки не отставали. Рвали ноги, остатки одежды. Неистовый Черня взлетел несчастному на спину и вцепился в закривок.

Вошь, вошь и стон...

— Ату, ату, ату!

С горы в пойму бежали мужики и бабы — Боровиковы варнака собаками травят.

— От Боровиковых не уйдет небось!

Лука орал, чтобы никто не подходил к каторге:

— Мы изловили ворогу!..

Жиланстая бабка Марфа, стоя возле окна в горнице, молилась Иисусу, чтоб он смилостивился и помог собакам и своим мужикам одолеть варнака.

— Спа-а-сите, бра-а-тцы! — поднял окровавленные руки каторжник, упираясь спиной в горы и отпихивая собак ногами. — Али вы анчихристы?! Али на вас креста нету?!

— Повалить бы да связать, — сказал Микита.

— По башке его, по башке дюбни! — крикнул Лука Ларивонч.

Затравленный пронзительно уставился на Луку и вдруг проговорил:

— Ларивон, а?! Борода-то! Ларивон, а?! — И тут же Микита стукнул его рогатинной по лысому черену.

Обмякшее тело каторжника медленно осело у горы. Собак оттащили. Веденей гнал прочь припавших мужиков и баб, но никто не уходил.

Меньшой, Андрюха, глядя на страшное, обезображенное тело, быстро и часто крестился:

— Спаси Христе! Спаси Христе!..

Упираясь локтями в землю, несчастный поднял голову и, дико глядя на всех, прерывисто бормотал:

— Убивцы, убивцы треклятые!.. Ларивон... со общиною... убивцы, исчадие сатаны!.. Ларивон, а? Ларивон!.. До гольцов дошел!.. Тридцать годов цепи таскал!.. За напраслину!.. Одиннадцать дней по тайге мытарился... звери миловали... Треклятые!.. — И, обессилов, ткнулся лицом в землю. Притих. Подумали — скончался.

Бабы испуганно попятились. Но вот он опять поднял голову и, медленно подтягивая руки, покачиваясь, привстал на колени, и тут же свалился на бок.

Долго лежал так, недвижимый и ужасный, хлопая открытым ртом. Потом потянулся, упираясь лысым затылком в крапивный куст.

— Успокоился, мученик, — сказал кто-то со стороны.

— Сохатый и то не сдюжил бы! И горло порвали, и брюхо располоснули!

— Ладонью молился на покосе Валявиных, когда к Наталье со младенцем подошел. Корочку хлеба просил.

— Также!.. Также!..

Лука ухватился за рыжую лопату бороды, глянул на всех:

— Чаво не дали корочку? А? Чаво?!

Старец Ларивон не слушал и никого не видел, осовело уставившись на покойника. Отчего он, варнак, сына Луку назвал Ларивоном? Кто он? Про какую общину говорил бродяга? Откуда он знает общину, которой вот уже тридцать годов как нету? И ладонью, говорят, молился. Не правоведец ли? Кто же он? Кто? И тут только вспомнил, как давным-давно, огаголенные брыластым боровом Калистратом, пятьдесят душ единоверцев угодили на вечную каторгу...

Погнулся Ларивон и, шаркая чириками, пошел домой. Закрылся в моленной горнице и упал на колени: всюнощную молитву стоять, грехи замаливать...

## II

Тело каторжника без сожаления предали земле тут же, где лежал. Креста не поставили, а вбили в могилу тополевый кол: чтобы другим воруягам было неповадно. «Не воруй. Не тяни лапы к чужому добру».

За убийство каторжника никто не преследовал.

— Туда ему и дорога, — сказали потом уряднику. — В цепях не издох — собаки разорвали. Одна статья — смерть.

На неделе приехала в Белую Елань Ефимия Аввакумовна Юскова.

Наслышался Ларивон Филаретыч про богатства Михайлы Юскова, знал, что у Ефимии родилось двое сынов и три дочери и что сама Ефимия будто худо жила с Михайлой Данилычем. И ссорились, и от веры отрекалась, и в мир уходила «искать правды», но ни разу глаз не казала в Белой Елани у родственников Юсковых.

Под вечер как-то, выглянув в окно из молельной, Ларивон увидел женщину в черном возле свежей могилы каторжника. «Господи, сама Ефимия!..»

Долго молилась Ефимия, стоя на коленях возле могилы, потом поднялась, поглядела снизу вверх на окна дома Боровиковых, придерживая рукою черный платок, пошла в гору. Ларивон Филаретыч слышал, как хлопнула калитка, и опустился на лавку.

В ограде всполошились собаки. Кто-то выскочил из избы — Прасковья Микиты, наверное. Лука Ларивоныч со своими сыновьями, с бабой Катериной и со снохой Натальей на сенокосе — стога мечут. Старуха Марфа ушла в старOVERчереский Кижарт на богомолье, а Прасковейошка с малыыми ребятами водится.

— Собаки-то у вас лютые! — раздается голос Ефимии Аввакумовны. — Ларивон-то Филаретыч дома?

— Дома, дома, — ответила Прасковейошка. — Позвать батюшку?

Ларивон Филаретыч сам вошел в избу.

Оробел старик, встретившись с такими знакомыми и непонятными, полными земной тяжести, черными глазами гостыи, словно в них таился для него тяжкий приговор, как смертный страх перед неизбежным. Нет, он ее не забыл, еретичку Ефимию! Ни ее вот этих глубоких и вечно скрытых глаз, перед которыми опускал голову батюшка Филарет, ни ее непреклонной, неподкупной гордости, так что и апостолы Филаретовы робели перед ней, хоть и срамно плевались и жгли ее тело железом. Ни огнем ее не сожгли, не опоганили проклятиями, не устрашили геенной огненной. Вот она, живая, статная и гордая, соболебровая, моложавая, будто тридцать минувших лет пробежала без оглядки босиком, не переводя дыхания, отчего и не успела ни постареть, ни утратить глубины своих черных глаз. Что же она ему скажет, Ефимия? Неспроста, конечно, она прежде всего навестила могилу убиенного каторжника, стояла там на коленях, придерживаясь руками за толстущий тополевый кол, и долго глядела на боровиковскую крепость.

Поклонился гостье в пояс:

— Спаси Христос, Ефимия Аввакумовна!

Гостья ответила мирским приветствием:

— Здравствуй, Илларион Филаретыч. — Не «Ларивон», как все зовут и к чему привык, а по-городчанскому. — Постарел, вижу. Сразу не признать. На прошлой неделе сына твоего Луку встретила в улице. Испугалась. Ларивон, думаю. До чего же похож! И борода, и лицо. Каким был ты на Ишиме.

— Господи прости, сколь годов-то!.. В памяти и то мало осталось. Просевки да сумежья. Проходите, проходите, Ефимия Аввакумовна, красной гостьей будете. С богатством вас! — И еще раз поклонился в пояс. — Слышал, разбогател Михайла-то Юсков в Урянхае. На всю Минусинскую округу первоючий богач. Да што же мы, а? Прасковья! Привечай дороую гостью.

Можно сказать, невесткой была. Осподи! Жисть-то окаянная, как перекрутилась! И узлов не развязать.

Прасковеюшка в подоткнутой юбке — только что вымыла пол, — в бордовой холстяной кофте, полнеюшая, круглолицая, не знала, что ей делать и как привечать гостью. Не раз слышала от батюшки Луки Ларивоныча, что Ефимия — паскудная еретичка, блудница, которую когда-то на судном спросе сам сатана спас от смерти. И вдруг привечать ее! Да и как подступиться к гостье в черной бархатной жакетке и в черном шерстяном платке, в невиданных ботинках и в шерстяном нарядном платье, закрывающем ботинки до носков? Слыхано ли — привечать барыню!

— Прасковеюшка. Аль ты глухая?

— Я шго. Я тутока.

— Гостью-то привечай.

— Дык-дык не ведаю, батюшка, — таращила глаза Прасковеюшка и будто клюквенным соком налилась от смущения и неловкости.

— Стул из горницы подай, самовар ставь да угощение собери. Чаем потчевать будешь.

Гостья усмехнулась чему-то, сказала, что не надо беспокоиться с чаем — «зашла повидаться», — и присела на оголовок лавки, куда никто из домашних не садится: оголовок для людей с ветра. Кому-кому, а Ефимии Аввакумовне известен неписанный устав старообрядчества!

Ларивон Филаретыч догадался и примолк.

Прасковеюшка вынесла стул.

— Садись, Ларивон Филаретыч, — пригласила гостья хозяина, чинно указав на стул. — Посидим мирком да поговорим ладком, коль не чужими были.

— Такоже. Такоже. Не чужими.

— Семья у тебя большая?

— Дык четырнадцать едоков под одной крышей. Лука хозяйствует со сыновьями. Ишо в дороге взял себе Наталью Трубину. Помнишь? Старшой Луки, Веденей, народился в тот год, как мы место обживали.

— Василия Трубина или Григория Наталья-то?

— Григория-то медведь задрал, когда ишшо ходоком ушел со Мокеем. Баба иво будто ума лишилась: собрала ребятишек в короб, когда к Ачинску подъехали, и в церковь ко щепотникам привезла: возьмите, грит, коль старая вера не спасла от погибели мужика мово.

— Слышала.

— Как же, как же. Ума лишилась.

— А может, прозрела? — сверлили черные глаза гостьи. — Только и в церкви поповской спасения нету. Обман да блуд под колоколами.

— И то и то! Поп с крестом, а урядник за ним с хлыстом.

— Так, Илларион Филаретыч. Так! — и вдруг спросила: — Что же Лука сына своо назвал Веденеєм? Али не слышал про мово Веденейку?

— Как же, как же! — покачал головою Ларивон. — Да ведь душа благостного Веденейки на небеси со ангелами ликует? Сколь раз видения были Марфе: Веденейку зрела ангелом. И кажинный раз после сна такого благодать была. Потому и Веденеєм нарекли.

Лицо Ефимии Аввакумовны потемнело, точно от черной тучи тень легла. Веденейка махонький? Она его все время видит кудрявым и маленьким, а ведь он был бы богатырь!

— Сколько вашему Веденею? — тихо спросила.

— На Сильвестра-курятника двадцать осмой стукнуло. Двух сынов растит: Елистратушку и Прошку.

Ефимия покачала головой:

— А моему-то Веденейке со спасова дня тридцать шестой миновал бы. Во славу Иисуса удавили.

Ларивон Филаретыч не ослышался: Ефимия так и сказала: не Иисуса — Иисуса.

— Ну а еще кто в семье у вас?

— Дык четырнадцать едоков, грю. Со мною и со старухой Марфой. Микита, середний сын Луки, поженился вот на Прасковею Лутониных. Из Кижарта взял единоверку. Господи прости! — что-то вспомнил Ларивон Филаретыч. — Как искали-то мы своих единоверцев, когда пригнали нас стражники в Курагино! С ног сбился. И туда кидались, и сюда. Мокей-то сказывал, помню: на Амыле-реке. Да и сам Амыл-то велик, ищи! Мыкались и рукой махнули. Года два жили на новом месте и вдруг проведали: вот тут, рядышком, десять верст от нас, за Амылом по речке Кижарт наши единоверцы тайности проживают большой деревней, и власти про них ничего не знают. Дивно! Тут и сыскались ходоки. Потом и власти открыли Кижарт и поселенцев нагнали туда. В Белой-то Елани, почитай, дворов за пятьдесят, которые возвратились на жительство опосля каторги. И урядник тутока живет.

— Урядник, казаки да стражники с жандармами — опора царя. Если бы не они, давно бы упал престол.

— Такжеже.

Медный самовар с черной трубой, вставленной в круглое отверстие русской печи, тоненько зашел.

Прасковеюшка, скрестив пухлые руки на груди, открыв рот, пялила глаза на гостью. До чего же она не деревенская, барыня! И выговор, и голос чужой, не бабий. Будто по вешней зелени холсты стелет для отбеливания. И вся такая пахучая.

— Господи! Гляжу на вас, Ефимия Аввакумовна, и диву даюсь: до чего же мало переменились! — Ларивон Филаретыч даже головой покачал. — И согнутости нету, и лицом не потухла, и глаз свежий, а ведь, дай Бог памяти, пятьдесят годов будет?

— Пяток прибавь.

— Бабий век минула, а об старость не обопнула. Житье, знать, покойным было. Мне-то с цветного мясоеда семьдесят семь исполнилось. Силушка-то ушла! Сквозь пальцы процедилась. Одышка задавила от насады, и кости ровно ссохлись. Отчего так? От бедности. На голом месте житье зачинала с сыновьями. Меньшой-то, Евлашка, помер. Насадился, помаялся и Богу душу отдал. Пануфрий в Кижарте дом поставил и бабу там взял. Ох-хо-хо! Житье хрестьянское. Хмарь таежная, гнус да небо над головой. И вся видимость. Али медведь сожрет, али урядник в калач согнет.

— Постарел, постарел!

— Должно, скоро призовет Господь.

— Филаретовской крепости держишься?

— Нету той крепости, — горько признался старик. — Со всех сторон одолели царевы слуги. И налоги платим, и подушную берут. Продыху нет. Дай царю деньги, а откель их нагрести? Кабы наша земля была, как вот курагинская — ладошка черноземная да равнинная. А то тайга ведь. Каждую десятину зубами и когтями выдирали из тайги. Таперича вон пашни много, а пней ищи больше. И тракт через деревню на две каторги: на Ольховскую и Никольскую. Прииски там.

Через порог перелезла льяноволосяя, пухлощекая девочка, годика три, не больше. За нею старшая, такая же беленькая. Обе босые, в холщовых платках. Прасковеюшка погнала их прочь из избы.

— Ись хочу... Ись! — визжала меньшая.

— И я ись хочу! — вторила старшая.

— Зачем ты их гонишь? — удивилась Ефимия.

— Чаво им подается? — ответила Прасковеюшка. — Пусть трескают на

огороде морковку, а потом мыть поташу в речке: эких да в чистую избу пускать!..

Ларивон Филаретыч спросил:

— Михайла-то твой постарел?

— Три года как помер.

— Иисусе Христес! Не слыхивал. В богатстве проживал, деньги наживал — и на тебе — помер!

— Богатство душу не удержит.

— И то.

Ларивон Филаретыч вспомнил, как тихий Михайла Юсков вдруг показала себя совсем не тихим: брыластого борова Калистрата упокоил да еще в общину привез, чтоб изничтожить паскудное тело, что и свершил во славу Иисуса Ларивон Филаретыч, — небу жарко было.

— В Урянхасе долго проживали? — спросил он.

— Годов семь так иль восемь.

— Какая там земля?

— Горная да пустынная. Куда ни глянешь — всюду черные да синие горы и лес на них. Иль голые камни. Енисей там зовут Бий-Хемом. Их там два Енисея: Большой и Малый. Ка-Хем и Бий-Хем. Живут на той земле сойоты и монголы, а мы их звали всех инородцами. Люди гостеприимные, да темные. Язычники. Шаманы у них такие — смотреть страшно, как они колдовство совершают. И от хвори лечат, и службу правят. Прыгают с бубнами, разнаряженные лентами и побрякушками, а им верят, что они нечистый дух гонят прочь. Скота там несметное множество. Жили мы в большом селе на берегу Бий-Хема. И Малый Енисей впадает рядом, возле горы. Я сперва не знала: выживу ли на той земле? Потом надумала открыть русскую школу для инородцев. Учила, что сама разумела. Может, и теперь добром поминуют люди тех гор — не ведаю. Грамоту многим дала, а счастьем не одела ни одного. Где его взять, счастье?

— Оно так. Да, может, и счастья нету?

— Может, и нету, — согласилась Ефимия Аввакумовна. — Повидала я разных людей, а счастливых что-то не видывала. В душегубстве счастье ли?

— В спасении жизнь наша!

— От чего спастись?

— От людского блуда. Во грехе люди погрязли.

Прасковеюшка набожно перекрестилась.

Ларивон Филаретыч заговорил про богатства покойного Михайлы Юскова.

— Не было мне счастья в том богатстве, Илларион Филаретыч! Коротка и прискорбна жизнь человека, если он помышляет о деньгах и богатстве. У одних богатство и золото, дворцы понастроены, а у других черный хлеб с водичей.

— Такжеже. Такжеже. Кабы старой веры все держались...

— Было ли богатство в общине, когда все держались старой веры? — И ответила: — Только не умирали от голода — и все богатство!

— Оно так!

Самовар закипал. Прасковеюшка собирала на стол, застланный самотканной скатертью с поморскими узорами — бабка Марфа ткала.

### III

Ефимия Аввакумовна глянула на иконы, занимающие весь красный угол. Те самые, под которыми удушили Веденейку! Она, Ефимия, молилась на эти иконы, когда сутки висела на костылях, ожидая судного спроса. Мокенюшка пощепал их, побил о стены, да Ларивон Филаретыч склеил потом: щепочку к щепочке, но и теперь виднеются расщелины на масляной краске.



Хозяин заметил взгляд гостыи, испугался. Как бы не опорочила нерукотворные лики святых!

— Как здоровьишко-то Семена Данилыча? — спросил про деверя Ефимиш.

— Поправляется.

— Слава Христе. Со медведем бороться — спаси и сохрани! Не оробел, слава Богу. Веденей наш тоже спытал обнимку косолапого. В позапрошлый год у берлоги оказия приключилась. Взял на рогатину, а руки не сдюжили. Кабы не успел нож выхватить, каюк бы.

Ефимия Аввакумовна опять взглянула на иконы.

— Гостевать долго будете?

— Да насовсем приехала. Поставлю дом у поскотины и буду жить возле Гремучего ключа в рощице.

— У кладбища?

— Через дорогу.

— Да што вы!

— Мертвые за ноги не хватают, Илларион Филаретыч. Живых собаками травят.

Старик вздохнул, но сделал вид, что не уразумел намека.

— Другой раз думается, — продолжила Ефимия Аввакумовна, — нет человеку спасения ни на земле, ни на небе. Все тлен и прах. Из праха вышли — в прах отойдем. И после будем как не жившие. Дыхание в ноздрях наших — дым. И слово наше — пустошь и суета сует. Тело обратится в ничто, и дух рассеется. И само имя наше забудется со временем, и никто про нас не вспомнит. Ибо вся наша жизнь — единая тень без плоти. На челе у всех печатька смерти, и нет от той печатьки спасения. К чему вера? И во что верить? В туман, в церковный блуд и в вечное забвение? И вот эти лики святых угодников творили люди, а что в них, в ликах?

Ларивон Филаретыч испуганно ахнул:

— Что вы, что вы, Ефимия Аввакумовна! Еретичество-то экое, а?! Иисусе Христе, спаси и помилуй! — И взглянул на Прасковеюшку, махнул рукой: — Подь!

— Зачем гонишь!

— Святотатством смущаешь.

— Смущаю? Ишь ты какой благостный! Веру Филаретову блюдешь, а человека затравил собаками.

— Каторгу-то?

— Праведника.

— Экий праведник! На нем креста не было. Клейменный разбойник. Сам урядник сказывал: по клеймам — вечный каторжный. От такого не оборонись — смерть будет.

— Или он напал на дом твой?

— Кабы недоглядел, ночью всех порешил бы.

— Говорят, будто на покосе Валявиных ладонью молился, не щепотью.

— Неможно! — отмахнулся старик. — Наталье поблазнилось. Чаво бы стал он молиться?

— Молился. Корочку хлеба просил.

— На каторжных да на бродяг хлеба не напасешься.

Ефимия укоризненно покачала головой.

— Где же тогда милосердие? К чему верить в туман, а творить смерть?

— Иисусе Христе!

— Луку твоео будто Ларивоном назвал?

— Разве он Ларивон, Лука-то?

— Подумай: каким ты был тридцать годов назад? Значит, убиенный знал тебя, каким ты был на Ишиме? И про общину обмолвился. Кого же затравив-

ли собаками? Единоверца! Спасение искал человек, а смерть нашел. А если бы явился сам Иисус в терновом венце, и на него бы собак пустили?

— Свят, свят, свят!

— По облачку, как сказывают, убиенный был дюжий. И костью широк, хоть и старик, и борода белая, и на трех местах клейма. Наталья Валявина заприметила: на лбу у него рубец, как будто кто лоб проломил, говорит. Страшно подумать: не Мокей ли то?

— Што ты, што ты, благостная! — Наконец-то Ларивон вспомнил, как звали Ефимию в общине. — Неможно то.

— Тогда слушай...

Ефимия помолчала, о чем-то думая, и заговорила тихо, глядя себе в колени:

— Знаешь ли, где Мокеюшка с единоверцами первую каторгу отбывал? В стороне Иркутской, на слюдяном руднике. Когда мы с Михайлой поселились в Минусинске, я письмо послала в сенат, в Петербург, и мне указали место. На другой год побывала на том руднике, поглядела, как люди гибли. И в холоде, и в голоде. Глянула на Мокеюшку — и силы лишилась, до того постарел! И голова полысела, и в бороде седой волос. Говорила: буду писать царю, чтоб освободил от каторги, да он сам не дозволил: «Весь народ на Руси так мытарится, — сказал. — Не едний мой перст в смолу кипучую, а вся длань в геенне огненной!..»

Недели три жила на каторге и, чем могла, помогала несчастным. Когда прощались, Мокеюшка облобызал мне руки и сказал, что мы еще свидимся на этом свете...

— Господи помилуй!

— Не думала я, что будет у нас свиданка, а была...

— Была?!

— Года через два так, под осень, Мокеюшка появился в Минусинске. В армяке ямщицком и шапка соболья. Кушак синий и сапоги с отворотами, как у припскателей. Явился ко мне, когда Михайлы не было дома, да упал в ноги. «Прости, говорит, подружия. Обещал тебе свиданку, вот и пришел. Горни али урядника зови: пусть вяжут. Двух стражников смертью ублаготворил!»

— Иисусе! — тяжело продохнул Ларивон Филаретыч.

— Тогда и увидела на лбу Мокеюшки ямку: пуля скобленула. Он еще хотел: «Башка, — говорит, — тверже пули. Жить буду!» И жил бы, если бы укротил характер... Надумала увезти Мокеюшку в Урянхай, чтоб никто не знал, что он из беглых. Достала ему вид на жительство на имя мастерового человека по фамилии Потапов Иван Сергеевич, еще просила, чтоб он и во сне забыл про Мокея. С тем видом поехали мы с Мокеюшкой в Урянхай.

Ефимия Аввакумова примолкла, собираясь с духом, и, как бы гоня прочь навязчивую тень, договорила:

— Не зажилас Мокеюшка в Урянхае. Первое время таился (от самой Михайлы я скрывала, что со мной приехал Мокей) и с Михайлой редко встречался. Потом ушел в горы. Где был — не ведаю. Что там делал — один Бог знает! Весною вернулся в нашу деревню, где мы жили с Михайлой, и встретил меня на берегу Бий-Хема, да и говорит: «Ты, моя подружия едная, как земля. Без тебя мне нету жизни и счастья. Вот, — говорит, — нашел я золото, гляди!» И показал добычу. Фунта два, пожалуй. «Еще, — говорит, — возьму на том месте столько же или в десять раз больше, только скажи, что уйдешь от Михайлы».

Как же я могла уйти от Михайлы, если слово дала и у меня два сына народнаись?

Мокеюшка твердит: «Буду почитать, как своих сынов». Да в одном ли почтении отец для детей своих?

К чему — сама не знаю — сказала я Мокеюшке, как он измывался надо мною в Поморье и какое проклятие наложила я на Филарета Наумыча за убиенного Веденейку. Слова мои тяжело ударили! Мокеюшка поглядел, опу-

стил голову, кинул золото в мешочке в Бий-Хем — только вода брызнула. И ушел!..

Куда? Ни слуху ни духу! Годов пять прошло так. Жили мы в Минусинске. Михайла поехал как-то на каторжный медный завод, да и говорит потом, что Мокей встретил в цепях. «Руду возит на тачке», — говорит.

«Спасибо» — сказала Михайле и через неделю или две, не помню, сама поехала на медный завод. Дозволили поглядеть каторжных. Ходила по баракам, по руднику, не встретила Мокеюшку. Потом спрашиваю: был у вас такой-то каторжный? Говорят: неделю как сбежал!..

Вот и второй побег Мокеюшки!..

Ларивон Филаретич ни словом не обмолвился. Давным-давно запоматовав Мокея, а брат был вот тут рядом, в Минусинске, и, кто знает, — не он ли затравлен собаками?!

— После смерти Михайлы, на другой год, послала я розыск в Петербург, да ответа не получила. Побывала на многих каторгах, а не отыскала след Мокея. На неделе соберусь на Ольховую, потом на Никольскую каторги. Урядник сказал, какие были клейма на теле убиенного праведника. Узнаю — не Мокеюшка ли?

— Иисусе Христе! — крестился Ларивон Филаретич.

Ефимия Аввакумовна поднялась уходить, так и не угостившись чаем. Поклономлась хозяйну:

— Господь помилует за убиенного, как и за Веденейку мово помилуoval. Да на весь род твой, Илларион Филаретич, пятно ляжет. И не смывать то пятно святой водой, не стереть молитвами. Тиранство Филаретово вижу.

С тем ушла не попрощавшись.

Ларивон Филаретич долго стоял посредине избы, тяжело горбясь, собираясь с духом. Потом ушел в моленную, закрылся там и упал на колени перед иконами, столь же древними, как и он сам.

— Мокеюшка, где ты? — спрашивал, не ожидая ответа.

Недели через две, в середине погожего дня, Ефимия Аввакумовна опять понаведывалась к могиле каторжника, а вместе с нею пришел нездешний мужчина в суконной куртке, без шапки, с лопатой. Долго они стояли возле могилы, а Ларивон Филаретич поглядывал на них из окна моленной и никак не мог понять, что они там обсуждают. Потом мужчина поглядел на окна, и Ларивон Филаретич спрятался в простенок. Когда снова выглянул, незнакомец сбивал лопатой крапиву вокруг могилы, долго обкапывали могильный холмик, а Ефимия Аввакумовна ладонями утрамбовывала чернозем.

Поздно вечером, когда вся пойма куталась волгой сыростью, Ларивон Филаретич тайком пробрался к могиле и, бормоча псалом, молился до испугания. Сын Лука перепугался:

— Али ты, батюшка, в своем уме? Чаво тут молишься? — спросил, подхватывая старика под мышки, чтобы увести домой. Старик вырвался и тут только сказал:

— Видения мучают меня, Лука! Во снах зрю убиенного. Господь послал, должно, праведника, единоверца, а мы его собаками стравили. Может, брат мой Мокей в могиле сей лежит, а мы во грехе погрязли. Ох, погрязли, погрязли, Лука! — погрозил Луке пальцем. — Ишшо никому не ведомо, какой судный день грядет!

Мало одной печали, подоспела другая: меньшей сын Луки, безбородый Андриюха, зачастил к Семёну Данилычу Юскову, где жила в эти дни Ефимия Аввакумовна с человеком. Говорили: с каторги Ольховой привезла какого-то безбожника из бывших польских офицеров, участников восстания 1830 года, отбывшего двадцативосьмилетнюю каторгу и теперь определенного на вечное поселение в Белую Елань.

— Чаво ходишь к Юсковым? — спросил Лука сына Андриюху.

— Реченья Ефимии Аввакумовны слушаю, батюшка, — ответил Андрияха, рослый и бравый парень, похожий на Мокея, каким его помнил сам Лука. — Сказывала Ефимия Аввакумовна: во тьме люди погрязли, как кочки в болоте. Али не так, батюшка? Али мы читаем книги? Ведаем грамоту? Пошто на свет народились, скажи? Отчего в посконни мыкаемся, а бары да чиновники городские в нарядах шеголяют, Бога не блюдут, а лучше всех жрут?

Что мог ответить сыну Лука Ларивоныч, диковатый, сызмала умыканный заботушкой о хлебе насущном?

— Юсковы — рябиновцы. Али не знаешь? — спросил у сына.

— Дык што? Рябиновцы Богу молятся, и мы, и дырники Валявины, и все, как сказывает Ефимия Аввакумовна, во тьме погрязли. Тако ли жить надо?

— Молчай, дурак! Али по зубам захотел?

— Правду хочю искать, батюшка.

— Молись денно и ноцно, и Господь пошлет те благодать, и спасение будет, — только и мог присоветовать Лука.

Андрияха не стал молиться. Тайком собрал свои пожитки да ушел на прииск Благодатный счастья и правды искать.

— Ефимия совратила! Еретичка! — гремел Лука Ларивоныч, и всем домом, без участия старца Ларивона, прокляли искусительницу Ефимию Аввакумовну и заклятие наложили навеки, чтоб ноги ее не было в надворье Боровиковых...

#### IV

Лили дожди. Под осень кол, что вбили в могилу каторжника, выкинула гибкую веточку о трех листиках. Дунь — сломается. Но не сломалась веточка, не сгнила в лютые морозы. Весною она выкинула новые побеги, окрепла. Кол пустил корешок — тонюсенький с волосинками. Ветвь тянулась все выше и выше. Корень тоже не отставал, работал, разрастался.

Минул еще год, и к ильину дню кол стал лохматым от зелени. И вдруг в ильин день сам Ларивон Филаретыч испустил дух. Что его потянуло к могиле, под сень молодого тополя, кто его знает. Когда вечером Микита Лукич позвал деда, тот не поднялся. Прислонившись спиной к деревцу, старик сидел недвижимый.

На зов Микиты выбежал Лука, заорал:

— Батюшка, али ты спишь, што ли? На молитву все собрались, а тебя нету. Батюшка не шевелился.

— Свят, свят, жив ли? — испугался Лука, кидаясь вниз с горки.

Творя молитву, филаретовцы спустились к могиле каторжника и подняли усопшего Ларивона Филаретыча. Сотворили всенощную службу, и тут бабка Марфа сказала единоверцам про откровения покойного Ларивона, что убиенный каторжник был праведником Господним и что дух его воспарил на небеси, а плоть перешла в древо. «И древо стало жизнью, — бормотала Марфа. — И тому древу надо молиться, яко живому праведнику, и спасение будет».

С того зачался новый раскольничий толк — тополевыи.

#### V

Первым проповедником тополевого толка филаретовцы избрали старшего сына Луки, Веденя, единственного человека, чтеца рукописной Библии.

Лет через семь после кончины старца Ларивона померла бабка Марфа.

Желтая, как тополевая смола на почках, бабка Марфа утром выползла ко Христову тополю и, отбив к вечеру тысячу поклонов, благословила самое себя на «красную смерть», какую почитали пустыnnики-филипповцы.

«Красная смерть» приходила так. Пустынника, принявшего тайное моление (сподобиться), душат подушкой в красной наволочке. С этой подушкой один из старейших пустынных должен вылезти из темного подполья. Сам в красной рубахе и в белых штанах, босоногий. «Я здесь, отче!» — подаст голос тот, кто должен принять «красную смерть».

Господний посланник, творя молитву, приближается на голос с закрытыми глазами при свете тонюсенькой восковой свечки, которую смертник держит в руках, сложенных на груди. И когда в третий раз посланник слышит: «Я здесь, отче!», он должен успеть накрыть лицо мученика подушкой, не затушив свечи, и, навалившись на подушку всей тяжестью своего тела, душит единоверца.

Совершив убийство, пустынные поют радостные псалмы во славу Иисуса. Толкуют так: «Расточать слезы и плач по усопшему — тяжкий грех. Душа мученика отправлена на небеси в рай Господний — возрадуемся, братия и сестры!»

С радостными песнопениями совершаются и похороны. Это единственный случай, когда пустынным дозволяется употребить красное вино, яйца, отвешать мяса, рыбы, сколько кто может. Так что на похоронах пустынные нередко пускаются в дикий пляс, распевая во всю мочь мирские песни: «Ах вы сени, мои сени! Сени новые мои!..»

Такую-то смерть призывала себе бабка Марфа.

Отбив по уставу поклоны, нарядилась в льняное платье, прибрала себя, припасла подушку в красной наволочке, а тогда уже созвала в моленную единоверцев-тополецев.

Чадно коптели лампадки у тусклых от времени икон, воняло тополевыми листьями, сжигаемыми вместе с ладаном. Бабка Марфа обратилась ко всем с откровением.

— Видение было мне, — шамкала она, перебирая желтыми пальцами черные четки. — Привиделся наш тополь, разнаряженный свечками, яко алтарь Господний. И будто сам Иисус дохнул благодатью и рек, чтоб я приняла «красную смерть» на ильин день, как мой покойный батюшка на Лексе. Стоговилась я, чады мои. Отойду от мира с радостью. Вижу врата Господни и ангелов, поющих аллилуйю. — Старуха запомывала, что «красную смерть» — удушение — принимают чуждые поморцам-филаретовцам еретики-пустынные.

— Аллилуйя, аллилуйя! — шумнуло по моленной и по всему дому Боровиковых и перекатилось в пойму, где творили молитву единоверцы, не вмешавшиеся в доме.

— И сказал сын Божий: «Радость, Марфа, встренешь на небеси и со праведником убиенным свидишься». Еще глагола, чтоб я сказала всем: живите единым тополевым толком да поминайте благодатью отца нашего, мученика Филарета, а также Ларивона. Стоит Ларивон у врат светлого рая и отмаливает тяжкий грех. Минует сороковина опосля моей смерти — воссияет небо, и Ларивон войдет во врата Господни, и мы воспоем аллилуйю!..

— Аллилуйя, аллилуйя! Слава тебе, Боже!

— И сказал Спаситель: сгинут все еретики, какие отошли от нашей праведной веры, а нам благодать будет. И чтоб никто из чад наших не брал в жены белиц еретиковой веры али из других толков. Ежлив придет сноха из чужого толка, то ее надо крестить в реке на ильин день, окуная в воды дважды и творя молитву. Опосля купели на ее голову надо надеть венки из тополевых веток, а потом венки тот бросить в воду. Ежлив венки утопнет — белица не очистилась. Срамная, значит. Тогда пусть она творит каждодневные молитвы до другого ильина дня, чтоб принять новое крещение. Так до трех раз, чады мои!.. Еще скажу благодать: пусть сноха почитает свекра, яко

мужа. Плоть от плоти, кровь от крови — все должно быть одное, и благодать будет!..

Подобное откровение старухи опечалило молодых, да и старики призадумались. Все верили, что устами бабки Марфы глаголет сам Спаситель. Но как же так: сноха должна почитать свекра, как мужа, и тайно радеть с ним, как с мужем, — плоть от плоти, кровь от крови, значит, сам Господь благословляет снохачество?

После откровения бабка Марфа осталась одна в моленной горнице, чтоб отойти с миром. Минул час — в моленную вошел сын Лука — мать лежала мертвая. Лицо она закрыла красной подушкой и так приняла смерть: сама себя удушила.

Бабу Марфу возвели в лик великомучениц, а икону Пантелеймона-целителя, с которой Марфа еще в девичестве вышла из Лексинского монастыря, поставили рядом с иконой Благовещенья.

## VI

Шли долгие годы. Разрастался тополевым толк.

В доме Боровиковых хозяйничал Прокопий Веденеевич с сыновьями Гаврилой, Филимоном и малым Тимофеем.

Тополь меж тем рос да рос. И как ни обламывали его ветки на венки для снох и для украшений икон, он еще сильнее разрастался — гривастый, мощный. И тут стряслась беда. Тимошка, десятилетний отрок, срубил вершину тополя. Мало того, в мелкие щепы искромсал икону Благовещенья и опаскудил смоленную горницу, где свершалась службы тополевец. Ахнули единоверцы: нету чудотворной иконы, из-за которой в дом Боровиковых стекались тополеводы со всех окрестных деревень Минусинской округи!

Совершив подобное святотатство, будто бы по наущению поселенца Зыряна, Тимошка сбежал из отчего дома. Прокопий Веденеевич побывал во многих деревнях трех волостей, но так и не напал на след сына. А ведь какой рос смышленный парнишка! На девятом году читал Писание. «Богом данный, благодать Господня», — так и звали Тимошку.

Беда не ходит в одиночку. На другой год грозовой удар расщепил вершину тополя. Дерево сверху обгорело, почернело — глядеть тошно. А тут еще рябиновцы осрамили тополевец, будто тополь — «анчихристово древо». Если Иуда повесился на осине, то какая, мол, разница между тополем и осиною!

С того и пошла напасть. Осиротел дом Боровиковых. На прииски ушел старший сын Гаврила и там женился на шепотнице-никонианке, и сам принял православие. Ни одна старуха не заглядывала в надворье Боровиковых, а если кому случалось проходить мимо обгорелого дерева, то открещивались от «святого места», как от сатаны.

По весне тополь сызнова зазеленел, но не на радость — на горе Прокопия Веденеевича. «Экое позорище вымахало! — кряхтел хозяин дома, поглядывая на тополь. — И громом не убило, и от топора Тимки устоял. Срубить бы, что ли, чтоб глаза не мозолял?»

Но срубить руки не поднялись...

Вместо одной, расщепленной громом, тополь выкинул две вершины, и они год от году крепли, набирая силу. Между ними торчал огарыш. В огарыше поселялись мерзостные бабочки, откладывали личинки, и, как только наступала пора цветения хмеля, из гнилого обрубыша вылетали прожорливые насекомые и начисто уничтожали завязки хмеля.

Черным огарышем торчал в жизни и сам Прокопий Веденеевич, правнук Ларивона, свято соблюдавший крепость тополевого толка.

Когда над поймой гулял ветер, сучья тополя стучали по крыше и весь дом наполнился посторонним шумом.

Как-то раз в ветреную ночь Прокопию Веденевичу привиделся дурной сон. Завылся будто в моленную каторжник из-под тополя да и взяла за шиворот хозяйна: «А ну, лешак, подымайся! Иди ложись со мною рядом. Спытай, хорошо ли лежать во сырой землице без креста и отпущения грехов?»

Очнулся Прокопий Веденевиич и слышит: кто-то ходит по горнице. Шаг сделает, передохнет. И опять шагнет. У Прокопия Веденевиича дух перехватило и язык отнялся. Хочет крикнуть в большую избу старухе Степанидушке, а голоса нету. Кругом тьма, остудина. И шум, шум!

— Спаси и сохрани мя! — упал на колени Прокопий Веденевиич, и, не помня как, выполз из моленной да на постель к Степанидушке. И ту перепугал до озноба.

А тополь шумел, и шумел, и стучал по крыше сучьями.

И казалось Прокопию Веденевиичу, хозяину боровиковского большого дома: беда грядет, от которой не отмахнуться и не замолить ее перед иконами. И он слушал и слушал глухими ночами все тот же зловеющий шум тополя.

## ЗАВЯЗЬ ВТОРАЯ

### I

Сын Филимон не радовал — увалень. Мешок с мякиной. Сам себе невесту не мог выбрать. Приглянулась парню Меланья из рода Валявиных — дырников. Глянул на нее разок на вечерке и слезу пустил: «Жени, тятя!»

— Какую лихоманку выбрал-то? Тонкая, звонкая, голосистая, на бегах рысистая, а на работу какая? Подумал?

— Подумал, тятенька.

— Ну?

— Робить будет. Порода у Валявиных ядреная. Мужики-то эвон какие! Под потолок. И богатошце!

— Дурило гороховое! Не на мужике женишься, на белице. Как она, приметил?

— В самый раз, тятенька. Обличность у нее как вроде ягодиночка.

— Прости меня, Господи! Истый дурак. Не обличностью землю пахать, а руками надо ворочать, силу иметь в жилах. У той Меланьи, как я видел, жилы наподобие струн балалаешных — натяжи покрепше — допнут. Влаот и отпашешься, и отсеешься. Милуйся с ягодиночкой, а другие будут кадило раздувать. Смыслишь?

— Смыслаю, тятенька. Токмо поскорее жени. Мясоед пройдет — до нового года отложись.

— Тьфу, пропастина! Жени его. Ишь как подперло.

— Подперло, тятенька. Дыхнуть нечем.

На подмогу сыну пришла старуха — Степанида Григорьевна. Реченье повела издали, с масляными переборами. И так-то хороша Меланья Валявиных: и добрая, и тихая, и покорная.

— Найти ему девку из нашего толка, — не сдавался бровастый Прокопий Веденевиич.

— Из какого нашего, Прокопий Веденевиич? Меланья тоже будет в нашей вере, тополевой. Крещение примет, — пела Степанида Григорьевна, не в пример сухостойному мужу, женщина полная, степенная и неуступчивая.

Ничего не поделаешь — пришлось женить уваленья.

Совсем юная робкая Меланья Валявина вошла в дом Боровиковых на второй день масляной недели.

Не по обычаю тополевец, невесту привела в дом свекровка, Степанида Григорьевна.

Плескалось лучистое солнышко. В надворье у калитки синела прозрачная лужица подтаявшего снега. С хрустким звоном обрывались с карнизов дома ледяные свечки.

Прежде чем подняться на крыльцо, сотворили службу в ограде. Сам Прокопий Веденеевич в новой холстяной рубахе под самотканой узорчатой опояской вышел на крыльцо и, осеняя грудь двоеперстием, затянул псалом о том, что жена, сотворенная из ребра мужа, во всем будет покорна, тиха, как лань, молчалива, как виноградник, работяща, как птица Господня, которая сама себе гнездо вьет, яйца в гнезда кладет, птенцов высиживает, сама их кормит и в небо пускает. И что она не замутит воду в Божьем озере и не преступит заповедей Господних.

Здоровяк Филя, плечистый, мордастый, с вьющейся рыжей бородой, отродясь не ведавшей ножниц, стоял на коленях возле крыльца, предусмотрительно подложив под ноги дощечку. Степанида Григорьевна, вся в черном, земно кланяясь, стояла голыми коленями рядом с невестой на подтаявшем снегу.

У Меланьи заходило сердце от страха. Наслышалась про обычаи тополевец, когда свекор, если на то снисходила на него Божья воля, творил тайные моления с невесткой, спал с нею, и никто не смел перечесть ему. А что, если Прокопий Веденеевич, такой бровастый, сивобородый, прожигающий Меланью до сердца своими едучими ястребиными глазами, вздумает тайно радеть с нею? Мать наказывала Меланью в случае чего не поддаваться свекру: «Лучше убегй от греха. Место в родительском доме сыщется».

А сыщется ли? У тятеньки что ни погляд, то укор. Шестеро дочерей, одна другой меньше, и трое сынов — братьев Меланьи, которые никогда не примут сторону сестры. Им-то что! И дом принадлежит братьям, и скот, и тайга привольная. А вот они, сестры, чужие в доме. Потому-то и рад был тятенька спихнуть Меланью за первого жениха.

— А таперича, слушай, што скажу, Меланья, — начал Прокопий Веденеевич, закрыв Четы-Миней. — Молилась ты у родителей двумя перстами, да не на иконы нерукотворные, а в срамную дырку, какую прорубил твой отец в избе. Потому нечистая ты. А коль переступишь наш порог, примешь нашу веру, истинную. Молиться будешь на образа, а не на солнце глядя. Солнце ходит по тверди небесной, а ты ходи по избе да молись в передний угол на лики святых угодников. Окромя того, скажу тебе: покуда не примешь тополевое крещение в ильин день, жить в доме будешь невестою. Не помышляй до той поры о грехе — срам выйдет; из дома выгоню, яко овцу прибуданую. Опосля крещения, если венок твой не утонет, сотворим службу всенощную и благословлю вас, чады мои. Аминь!

— Аминь, аминь! — откликнулась тучная Степанида Григорьевна, поднимаясь с коленей. За нею — Меланья. Покорная, маленькая и хрупкая — в пальцах переломить.

— Эх-хе, который тебе год, Меланья? — склонив голову, Прокопий Веденеевич прощупывал строгим взглядом невесту Филю.

— Шестнадцатый миновал.

— Отчего такая худущая? Может, немочь какая пристала?

— Не хвора я, — воркнула Меланья.

— Ишь ты! Стал-быть порода квелия. Ну, может, наберешь к ильину дню тела. Харч у нас добрый. Свое едим, на чужое не глядим.

Меланья со Степанидой Григорьевной, рука в руку, сдержанно и степенно прошли в дом.

— Как же со свадьбой, тятенька? — Филя еще не успел сообразить, что значит наказ отца.

— Дурак! Где ты видывал, чтобы по нашей вере свадьбу правили? Аль мы рябиновцы-срамники? Аль новожены? Аль дырники? Мы от Филарета-пра-



ведника род ведем. Такой и обычай блюдем. Сказал: до ильина дня пальцем не тронь! Тому и повинуйся.

У здоровяка Филя дух перехватило. Неужели он будет жить под одной крышей с такой вот писаной красавицей Меланьей и глядеть на нее до ильина дня, как кот на сало? Да он за такой срок распухнет. «Силов у меня не хватит, иначе, — туго соображал Филя. — Ну, да, может, тятенька уедет на ярманку!..»

Прокопий Веденевиц и в самом деле уехал на ярмарку в Минусинск. Филя в тот же день подступил к Меланье, но та отпрянула от него, как дикая коза.

— Не трожь! Не трожь! — А из глаз словно искры посыпались.

— Да ты што, холера? Мужик я тебе аль нет?

— Никакой не мужик. Сказывал Прокопий Веденевиц, чтоб пальцем не касался. И не касайся!

Круглые карие глаза Меланьи под черными ресницами не выражали никакого чувства, кроме ужаса. Втиснувшись в передний угол, сложив ладошки на груди, бормоча молитву, она казалась беспомощной и в то же время недоступной под образами. Филя топтался возле стола, уговаривал невесту, чтоб она позволила ему посподеть с нею рядышком.

— Экая ты пугливая.

— Какая есть, а наказ Прокопия Веденевица сполню. Если будешь приставать, закричу. И Прокопию Веденевицу скажу, как ты меня сильничаешь.

— Што ты, што ты! — перетрусил Филя. — Я вить шутейно...

На том и отступил Филя от невесты. Глядел на нее, мучился, а тронуть не смел.

По приезде с ярмарки Прокопий Веденевиц, не успев оглядеться и показать обновы, позвал Меланью в горницу и, ткнув пальцем на икону Богоматери, спросил:

— Чиста ль ты, Меланья, перед Богородицей?

— Чиста, Прокопий Веденевиц.

— Побожись и крест наложи на себя.

Меланья стала на колени, наложила на себя крест и побожилась.

— Ну, слава те Господи, не согрешила. А мне-то поблазнилось худое. В глазах у те испуг заметил.

— Филя приставал ко мне, батюшка. В передний угол загнал. Думала, спину.

— Ах ты паскудник! Вразумлю, стервецца. — И вразумил. Позвал Филю в завозню и так крепко выпорол ремненным гужом, что Филя неделю не мог лечь на спину.

## II

До весны — за кроснами. Невеста и свекровка ткали за двумя станками. Меланья — тонкий холст из льна, свекровь ткала по суровой основе шерстью — холст для поддевок и однорядок.

Начинали при лучине и разгибали спины при лучине.

Привычные к работе руки машинально перекидывали челнок из стороны в сторону по основе, и виделось Меланье приволье таежное, посиделки на вечерках у Юсковых и Вавиловых, на которые она и в девичестве не смела заглядывать. Ах, если бы ей хоть разок довелось побывать на такой вечерке, встретиться бы с парнями. Такие ль они увальни, как Филя Боровиков?

Сядет Филя возле кросен Меланьи, если в доме нет отца, и глядит клейким взором на невесту, облизывает толстые губы, вздыхает. Зальет румянец щеки Меланьи, но не вспорхнут ресницы, не откроют карих глаз.

— Ты хоть глянь на меня, — взмолился Филя.

— Видела. Што глядеть-то? Ткать надо.

— Может, я весь иссох. И ты иссохнешь. Мыслимое дело — терпеть до ильина дня! Хоть бы ты смилоствивилась.

Меланья еще ниже уронит голову или стянет платок до бровей.

— А што, ежели венок утопнет? Тогда как? До другого ильина дня ждатель? — бурчит Филя. — Умопомраченье одно. Женился и не женился. Разве по-Божески так-то?

— С отцом говори. Я-то што? Не моя воля, — промолвит Меланья, лишь бы отвязаться.

— С отцом потолкуешь. Што камень, што тятенка — одна статья. Кремневая.

До ильина дня наработалась Меланья в доме Боровиковых вволю. И холста наткала, и за плутом ходила, и боронила, и дрова со свекровкой пилила на продажу, и детоть гнала со свекром, и за огородом смотрела, и на покосе была не из последних.

Родители Меланьи не навевывались в дом Боровиковых — нельзя, верованья разные. Грех тяжкий. И Меланью не привечали в отчем доме, если она заходила к тятенке. Однажды Меланья, войдя в дом отца, по обычаю дырников, подошла в угол на восток, выгащила деревянную затычку и хотела помолиться в дырку, как на нее налетел отец:

— Спий, нечистая сила! Не смей дотрагиваться до нашей дырки. Молись на тополь и на доски греховодные, а не в праведную дырку.

Дочь сказала, что она еще не приняла тополевое крещение, но отец и слушать не стал.

— Коль вошла в нечистое стадо, сама нечистая.

— Зачем же вы меня отдали в нечистое стадо, тятенка?

— Молчи, срамница. Не твое ума дело — зачем. Подоспела — выдали. У меня, окромя тебя, еще пятеро чужих ртов. Мантуль на вас, окаянных!..

Не жаловали родители дочерей — чужие рты.

А на деревне — тьма-тьмушная. Двести дворов в Белой Елани и сорок разных толков и согласий, а правды человеческой нету. У кого что спросишь? Одна отрада — ночная молитва да слезы в подушку.

### III

Румянился погожестью ильин день. Еще на солнцевсходе Степанида Григорьевна сплела венок для Меланьи, густо увив его зелеными путовками хмеля и полевыми цветами. Не венок — корона царевны. Сам-то Прокопий Веденевич похвалил: стоящий, мол, венок для работающей невестки.

Всей семьей вышли поймою к устью мелководного Малтата.

Рядом — Амыл. Река бурная, таежная, порожистая. Глянешь в воду — прозрачная, словно стекло. Все камушки пересчитать можно. В верховьях Амыла — Ухозвигова прииски.

Филя, в красной сатиновой рубахе под шелковым поясом, в черных суконных штанах, вправленных в сапоги со скрипом, шел с Меланьей, взявшись рука за руку. Ладошка Меланьи холодная, как льдинка; Филина лапица когтистая, жесткая и горячая, нетерпеливая.

Накрапывал дождик. Морок затянул тайгу. Курились синюшные хребты и распадаки меж ними. Порхали птицы.

— Таперича, дай Бог, чтоб венок не утоп, — бормотал Филя. — Кабы дали мне кинуть, я бы забросил его до самой середины, истинный Бог. Чтоб уперло его в одночасье до Тубы, а там до Енисея.

Меланья шла в синем матерчатом платье без всяких украшений, как и положено ходить белицам из крепких староверов. Слышно было, как у нее стучали зубы, точно подковки цокали.

— Озябла, што ль?

— Страшно, поди.

— Чаво страшишься-то? Бабой моей будешь таперича. Жить будем, слава

те осподи, справно. Гаврила ушел из дома без тятиного позволения, знать, хозяйство все нашим будет. Три коровы, нетель стоящая, Каурка и Буланка, Игренька, каких, можно сказать, во всей Белой Елани не сыщешь. Ишшо подрастут малолетки-рысаки. Тогда нас рукой нехватишь, — хвалился Фила. — И тятенька, как там ни гляди, хозяйство ведет уменючи. И деньги у нас водятся, и хлебушко едим свой.

Остановились возле черемуховых кустов. На отмели Малтата — голыши камней, обкатанные илом. Плещутся резвые струи Малтата, играют будто, а Меланье страшно. Вдруг она утонет? Сказывали, что одна из невест тополевец утонула. Отошла от берега, чтоб еще раз окунуться, нырнула и — с концом. Может, нарочно утопилась, чтоб не жить с нелюбимым? Страхота!

— Ну, Меланья, готовься. Разболокись, перекрестись, молитву читай. Показала ты себя в работе и в обиходе. Слова не скажу худого — стоящая белица. Таперича стань женой мово сына, Филимона Прокопьевича. И чтоб жили не тужили, в гости к чужим не хаживали, троесперстием Никоновым не крестились, от анчхристовой церкви лицо отворачивали, а на Бога почаще поглядывали, — гудел Прокопий Веденеевич, глядя, как Степанида Григорьевна помогала раздеться Меланье.

Толстая русая коса Меланьи, сейчас расплетенная, спускалась ниже бедер по белой холщовой рубахе.

Хрупкая, тоненькая, и груди совсем девчоночьи, едва заметны под рубахой, а работающая. Не в одном теле проворство. Вот хотя бы Степанида Григорьевна. Прокопий Веденеевич помнит, как он женился на дородной рябиновке. Тут же, в устье Малтата, стояла перед ним Степанида, и груди ее выпирали из-под холщовой рубахи, как две сдобные булки. И телом была пригожа. Покатоплеца, круглолица, синеглаза. Озорная. Еще уццинула Прокопия, перед тем как войти в воду. Меланья не то! Не озорна, не тельна. Смирнущая овца.

У Фила маслом подернулись глаза и сохли толстые губы. Так бы он и съел Меланью — до того она ему нравилась. Впервые видел невесту простоволосой. По обычаю тополевец, да и всех старообрядцев, женщина с детства прячет волосы под платок и не смеет показаться на глаза мужчине простоволосой. Великий грех!

Степанида Григорьевна повела Меланью в воду.

— Не робей, не робей, милая. Сама так же крестилась.

— Читай, читай молитву, — тормошил Прокопий Веденеевич.

Лютая водица — до сердца прохватывает. Меланья забрела до пояса. Слезы катились у нее по щекам с ямочками, словно выплеливались горошины из стручков. Степанида Григорьевна надела ей на голову веночек. И как раз в этот момент из морока проглянуло солнышко. Тусклые воды Малтата и Амыла вспыхнули летучими барашками. И будто весь мир преобразился — стал просторным, вместительным.

— Слава те, Господи! — воскликнул Прокопий Веденеевич. — Знать, с Ильи повернет на ведро. И ржица поспела, и сенцо еще не убрано. Хоть бы погоде постояло.

— Опамятуйся, Прокопий. Крестить надо, — напомнила Степанида Григорьевна.

Затянули торжественный псалом.

— Да благословит Господь Бог дочь свою! — Прокопий Веденеевич окунул Меланью в воду с головою. Ее холщовая рубаха вздулась пузырьком и прилипла на плечах, оголив тело. Фила разинул рот. Степанида Григорьевна поспешно одернула рубаху.

— Чиста ли дочь твоя, Господи? — спросил Прокопий Веденеевич, кидая веночек на воду сажени на три от себя по течению Малтата.

Веночек подхватила кипящая суводь в устье и понесла к противоположному берегу.

— Плывет, плывет! — заорал Филя.

— Погоди ужо, — предостерег Прокопий Веденевиц, наблюдая за движениями венка.

Продрогшая, озябшая Меланья, не попадая зубом на зуб, неловко ступая босыми ногами по камням, вышла на бережок. Мокрая рубаха обтянула ее худенькое тело. Мордастый Филя стоял рядом, но не догадался подать Меланье хотя бы шаль, чтоб укрыть плечи.

— Какого он лешего кружится, — пробурчал Филя, наблюдая, как венок выписывал петли в глубоком улове, куда его занесло сбойное течение. — Пихнуть бы его!

— Молчай, срамник, — урезонил отец. — Судьба Меланьи решается, а у те на языке святотатство.

Ухватившись пальцами за медный нательный крестик на черной тесемочке, Меланья тоже следила за движениями венка с тайным страхом и какой-то еще не осознанной, смутной надеждою. Если венок утонет, быть ей невестою до следующего ильина дня. Ну а если выбьется на стрежень и уплывет по Амьлу, тогда конец девичеству. Страхота! Боязно глянуть на здоровяка Филю. Морда у него пунцовая, щекастая, шея толстая, бычья, глаза синее неба и до того похотливые, шупающие, что от одной встречи с ними ныло сердце. Не о таком муже втайне помышляла Меланья! Ей бы выйти за Егоршу Вавилова, да опередила старшая сестра, Аксинья. Повезло сестричке! Егорша ласковый, обходительный. Сколько раз заглядывалась на Егоршу Меланья, тайно помышляя о таком же муже. А вышла не так, как думалось. И все из-за тяти. Ему бы поскорее вытолкнуть дочерей из дому.

— Господи помилуй! — гаркнул Прокопий Веденевиц.

Глянула Меланья на всхлипывающие воды Малтата — от венка, обрамленного цветами и диким хмелем, только одна тополевая ветка с хмелевою пуговкой трепыхалась над водою.

Молчал, окаменело Филя наблюдал за тонущим венком, то сжимая кулаки от злости, то разжимая. Если бы мог, он бы прыгнул в праздничных сапогах в воду и швырнул бы венок как можно дальше.

— Знать-то, утонет веночек, — вздохнула Степанида Григорьевна.

— Утоп уже! — рявкнул Прокопий Веденевиц.

— Нацепляли на венок беремя цветов да хмеля, поневоле утонет!

— Молчать, грю!

— Чо молчать-то! Из-за какого-то венка напасть экая. На деревне, окромя нас, никто таперича в тополевы толк не верует. Дядя Маркел и тот перестал. Правду сказывала бабка Ефимия, што вера тополевая самая неправедная.

— Ах ты поганец! — коршуном налетел на него отец, но Филя отскочил в сторону и нырнул за куст черемухи.

На воде плавали два или три топовых листика — все остальное под водою.

— Видела, Меланья? Утонул венок-то. Не отошла от тебя нечисть дырников. Молись таперича каждодневно, радей. Сподобишься, может. Поживи невестой еще год — телом и духом окрепнешь. Все не убыток, а прибыль. А ты, Филя, смотри! Чуть что замечу, худо будет. Выгурю из дома в одних подштаниках да еще и по шее надаю.

Филя ворчал, сопел, крайне обиженный отцом, а более всего, как он сам воочию убедился, неправедной верой в проклятый тополь. Ходи вот возле невесты второй год, как кобель возле замкнутого амбара...

#### IV

Настали дни тягучие, как застывающая смола. Филя день и ночь пропал на пашне: на Меланью глаз не подымал. «Пропади ты пропадом, окаянная, — думал он. — Только и знает молитвы читать да лоб крестить».

Меланья ходила по дому, как безгласная тень.

Не дом — тюрьма, постылость. Хоть бежать бы от срама. Но куда бежать? И так, после того как венок утонул, на Меланью в деревне глядели как на порченную. Старухи носились из дома в дом и чернили ее почем зря: и будто хворая она, и в дом Боровиковых заявлялась без девственности, и что сам Боровиков держит ее у себя из милости.

В один из звонких холодных дней, когда березы, отряхнув летние наряды, отливают чернью верхушек и в лесу от обильного листопада вся земля залита желтым и багряным, Прокопий Веденеевич собрал Филю на заработки в Красноярский скит раскольников. Приезжали из скита люди, обещали раскольникам всех толков и согласий хороший заработок. Строили что-то там — лес надо было заготовить по реке Мане. Вот и собрался Филя за сотни верст от дома. К следующему ильину дню должен был вернуться.

До Минусинска Филя ехал с отцом в тарантасе. Отец всю дорогу жужжал в ухо Филю, чтоб он держал себя осторожно среди скитских раскольников и что земля полна соблазнами, грехопадениями. Не ровен час, остушишься, и поминай как звали Филюшу!..

— На диаволовом пароходе будешь плавать до скита, гляди! Штоб не пристала к тебе мирская грязь. Люди во грехе погрязли, яко свиньи в навозе. Вонь от них, как от рыбы протухшей. Взойдешь на пароход, молитву читай. И всю дорогу твори молитвы.

Филя помалкивал. Надоели ему проповеди тятеньки. Вечно одно и то же!..

Оторвался от тятеньки, полетел к пароходу, что твой жеребчик — вприпрыжку. Бороденка рыжая, кудрявая, зад отпиченный, что у бабы.

И каково же было удивление Филя, когда он, растопырив руки, по трапу поднялся на борт двухтрубового парохода «Святой Николай». Громаднице! Огнем дышит. Из двух ноздрей — труб — дымище черный валит.

Филя забился между поленицами сосновых дров в корме парохода и так ехал вниз по Енисею до скита, выглядывая в мир, полный странных звуков и непонятностей. Будто ехали на пароходе такие же люди, как и он, да по-другому вели себя. Походя лбы не крестили. Мужчины бритошечки, нарядно одетые, пахучие, не говоря о женщинах-городчанках. И в шляпках, и в красивых платьях, и, что самое удивительное, встречались простоволосые. Ходили по пароходу с непокрытыми головами, улыбались, веселились, и никакая холера с ними не приключалась.

«Темень в глухомани у нас, одначе. Истая темень!» — впервые шелохнулась у Филя собственная мыслишка. В душе у него как будто что-то треснуло и распалось на две половинки. Одна — темнущая, раскольничья, полная страхов Господних, угнетала, давила каменной тяжестью; другая — полная непонятности, манила к себе, соблазняла, и Филя как-то хотел постичь ее, уразуметь...

В скиту Филя лес валил по Мане на пару с тощим монахом. От него набрался слухов о тайнах скитской жизни. И как монахи в прелюбодеянии погрязли, и как мясо жрут в великий пост, и что верить человеку надо только в самого себя, не уповая на Бога.

— Про фальшивки слышал? — спросил как-то Филю монах.

Откуда знать Филю о каких-то фальшивках!..

— Эх ты, тьма-тьмуцая! — И монах рассказал, как в скиту когда-то печатались фальшивые «катеринки» и что многих арестовали и определили в Александровский централ.

С весны до середины лета Филя работал на сплаве заготовленного леса. Мана — не река, а водоворот ревучий. Филя чуть не утонул, да спасла чернобровая молодуха Харитинья, солдатка из деревни Ошаровой. Тоже из раскольников, но иного толка — белокриничница.

Приголубила Филю солдатка-белокриничница, пожаловалась ему на скуд-

ное житье в деревне, и Филя, сам того не ведая как, опьянел от бабьей ласки. «Ах ты, младенчик мой!» — пела ему Харитинья, и у Фили кружилась голова.

Когда Филя поведал солдатке о своей незадачливой женитьбе, Харитинья, хватаясь за бока, заливалась на всю тайгу звонким смехом.

— Вот невидаль-то! Вот невидаль-то! Да что же это такое — тополевицы, а? — И хохотала, сверкая оскалом белосахарных зубов.

Этот заразительный смех солдатки окончательно доконал смирягу Филю. «Как только тятеньку Бог приберет, — надумал Филя, — так под корень срублю каторжанский тополь. Срамота одна, а не верованье!..»

С тем и вернулся домой в разгар сенокоса.

Раздобрел парень, еще шире раздался в плечах, а Меланья меж тем на тень похожей стала. Щеки у нее ввалились, нос заострился, карие глаза под черными ресницами потускнели, и шея совсем тоненькая.

— Ишь ты, какая стала, — посочувствовал Филя. — Не я ли толковал: иссохнешь. Вот и вышло на мое. Ну, таперича недолго ждать — скоро желание сполнится.

Как бы между прочим, сообщил, что в скиту, хоть он и мужской, запросто живут монашки припалые. И нет там никаких дурацких радений — простор на всю душу.

— Я бы навсегда остался там, кабы не хозяйство, — хвастался Филя.

## V

Меланья невольно потянулась к жениху — надо же куда-то прислонить одинокую головушку. А Филя хорохорился. Он и то повидал, и это; и так живут раскольники, и эдак. И постов не блюдут.

— Грех-то, грех какой! — содрогалась Меланья.

— Никакого греха нету. Все наши грехи — одна дурацкая сказка, — поучал Филя. — Только тятеньке ничего не сказывай.

От первого же поцелуя Фили у Меланьи подкосились колени. Еле устояла на ногах.

— Што будет-то! Што будет-то! — стонала Меланья.

— Ничего не будет. Молчи — и все.

— А как перед Богородицей поставит?

— И тогда ничего не говори. Я сам видел, как в скиту рисовали Богородиц на деревянных дощечках. Никакой святости. Сам богомаз постов не блюдет. И ничего.

На неделе Меланья с Филей гребли сено под Суходолью. День выдался истомно жаркий, прозрачный. Безумолчно трещали кузнечики, сверкая в лучах солнца оранжево сияющими крыльшками. Филя потянулся к Меланье, дотронулся до ее упруго-девичьей маленькой груди, и, жарко дыша в лицо, поднял на руки, и унес в затень к реке, в густую заросль дикотравья. И долго потом сидела Меланья под развесистым кустом ивняка, не в силах унять слезы. С ужасом ждала Прокопия Веденеевича. Верила — глянет на нее свекор и все узнает!

— Вот бы тебе в скиту побывать, — не утерпел Филя. — Поглядела бы на людей, не точила бы зря слезы!

— А как венок утопнет?

— Поменьше цветов навязывайте да хмеля. Не утопнет тогда.

Может, и заметил какую перемену в Меланье Прокопий Веденеевич, да виду не подал. Женитьба Фили и без того вышла затяжная.

В ильин день, еще до того как небо отбелела предутренняя зорюшка, Меланья, по наказу Фили, собственноручно сплела себе венок. Ветки обламывала, какие потолще и листа на них поменьше. А хмелевые бутоны вилела

подсохшие, снятые с крыши. Вместо пышных цветов понатыкала незабудок. Легкие, не утопят венка.

И свекор тоже постарался. Окунув невесту положенных два раза, поспешно прочитав молитву, он так далеко швырнул венок, что тот, подхваченный мощным течением Амыла, вскоре скрылся из виду.

— С Богом! — радостно возвестила Прокопий Веденевич в белой холщовой рубаше, с двумя косичками седеющих волос, болтающихся по спине. — Милуйте, детки. Живите и радуйте. Да чтоб внука заимел я через год. Аминь!

— Аминь, аминь! — вторила Степанида Григорьевна.

А Филя что-то не возрадовался. Шел тропою в зарослях чернолесья, на шаг опередив Меланью, и думал о вольном житье, какое изведаль на реке Мане. Где-то теперь солдатка Харитинья из Опсаровой! Смешливая, жаркая и отчаянная. Не от нее ли Филя набрался смелости? «Быть мне таперича утопленником, кабы не Харитинья — думал Филя. — А тут одна темень да дикарство. Зачервивеешь в таком житье, одначе».

— Филя! — Голос тихий, словно воркнула птица спросонья.

— Ну?

— Веноч-то уплыл! А я так боялась, так боялась!..

— И ты бы уплыла, если кинуть тебя на самую середку Амыла. Невидаль. По Мане-реке такая же бурливость, как на Амыле и Казыре. Не то что венок, человек утопнет в одночасье.

Филя почему-то не рассказал ни отцу, ни Меланье про то, как его спасла на реке Мане Харитинья-белокриничница. Родитель еще заставит радеть да отбивать поклоны!..

С покровы дня невестушка понесла. Поглядывая на ее полнеющий живот, Прокопий Веденевич предупреждал: «Гляди, Меланья, девкой не разродишь. Потому — дурак первую силу пуцает на ветер. Девка — ветрова невеста».

Набожная Меланья призывала на помощь Богородицу, подолгу простаивала в моленной горнице на коленях, отбивая поклоны, чтоб родить сына; и все прислушивалась, словно по толчкам плода могла определить: девчонка в ней или парень.

— Ежели родишь мужика, куплю тебе сатинету на сарафан, — нашептывал Филя, жарко прижимаясь к женушке. — Сама понимаешь: хозяйство раздуть надо, а сила где? И тятя требует. Знаешь, какой он! Вечор сказал: если, грит, Меланья принесет девку, косы обрежем.

И без того запуганная Меланья сжималась в комочек. У нее такие роскошные косы! И вдруг обрежут их. Как ей жить стриженной?

Как только отсыялись на пяти десятинах, Меланья совсем отяжелела. Лицом осунулась, а на покос вышла. Подоспела первая травушка в июльском цветении. Слабели руки и ноги, а литовку-косу выпустить из рук нельзя: поджимал свекор. «Эй, Меланья, пятки подрежу, холера!» И Меланья, выбиваясь из сил, старалась добить прокос, чтоб немножко передохнуть на новом заходе.

## ЗАВЯЗЬ ТРЕТЬЯ

### I

Черствые ковриги хлеба, квас в лагушке, квашенина, солонина зимняя, которую никак не уваришь, а огородинка еще не подошла. Меланья до того обессиленна, что не рада белому свету и тем более — солнечному, погожему. Хоть бы на денек-два зарядили дожди! Так нет же — ни облачка! Бездонная струится синева над головой: зной, пекло, и вечерами осточертелый сверлящий гнус, от которого дымом не отобьешься.

В полдень случилась беда: у Меланьи выпала литовка из рук на середине

прокоса. Следом за нею шел свекор; впереди шевелилась широченная спина Филя.

Споткнувшись, Меланья присела и скорчилась. Трещали кузнечики, звонко и часто. Подбежал Прокопий Веденевич в броднях, в холщовых шароварах с отвисающей мотней чуть не до колена, горланно крикнул:

— Што ты, холера, выкомаривашь?

— Тошно мне, тятенька!

— Ишь ты, квелая какая!

— Знать, время подошло, тятенька!

— Толкуй! Самое время сенцом запастись, покуда гнилой Илья дождем не прыснул. Передохнула?

Филя добил свой прокос и подошел с литовкою на плече, вытирая рукавом рубахи потное, разгоряченное лицо. Свистя ястребиным носом, поглядела на Меланью, потом на отца. Его дело сторона. Пусть тятенька сам разбирается, что к чему.

Пряча лицо в согнутые колени, Меланья растяжно стонала, придерживая сухонькими руками живот.

Горбоносый, узколицый, со льдыстыми синими глазами свекор, грузно навалившись на черенок литовки, поглядывал на виновницу прерванной работы неприязненно, брезгливо.

— Полегчало иль крутит?

— Спасу нет, тятенька. Может, умру. А-а-а-а!.. Мамонька!..

Старик остервенело плонул и отвернулся, уставившись на мглисто-багряный круг солнца. Погодь!.. Долго ли оно продержится?

— Ма-а-а-мо-о-онь-ка-а-а-а!.. — заливалась Меланья. Глаза ее дико и страшно металась из стороны в сторону.

— Тятя! — опомнился Филя.

— Ну?

— Дык худо Меланье-то.

— Худо? А ты думаешь, как родют? — И, подкрутив в пальцах мокрую от пота косичку седеющих волос, закинул ее за спинку, дополнил: — Хорошей бабе родить — раз плонуть. От натуры все происходит.

Придерживая руками живот, тыкаясь головою в землю, Меланья поползла к телеге. Тяжелые темно-русые косы выбились из-под цветастого платка и тащились по зеленой щетине, словно змеи. Недалеке, за развесистыми кустами ивняка, ворковал мелководный Малтат, рябью переливаясь по камням. Тучею накинuloсь на Меланью комарье, в кровь искусывая лицо и шею. Она не чувствовала укусов — ей бы хоть один глоток воды! Пересохло во рту, и давит, давит в бедрах. А рядом — ни души.

— Ма-а-а-мо-онь-ка-а-а-а!..

Старик подождал еще некоторое время — не утихнет ли Меланья, а потом махнул рукой:

— Вези ее домой. Там старуха справится. Я к ночи один добыю угол. Травостой-то люба малина! — и показал рукой на излучину Малтата, где, по пояс человеку, цветущее разнотравье источало медовые ароматы.

До поздней ночи старик добывал угол, изредка останавливаясь, чтобы направить оселком съеденную в работе чуть ли не до обуха литовку. Крутой солью пропиталась холщовая рубаха, с длиннущей сивой бороды и с двух косичек капелью стекал едкий пот, а старик все косил, косил. Костлявый, жилистый, высокий, неласковый на слово, не ведавший ни любви, ни жалости к ближним, сыздаа привык он к такой вот работе, когда от собственной соли расплозаются рубахи, а на ладонях нарастают сухие мозоли в палец толщиной, что конские копыта.

«Земли-то, земли скоко, осподи благослови! — подбадривал он себя, заглядываясь на девственные просторы. — Эх, кабы силушку! Озолотиться можно, якри ее».



Хватал люто, по-волчьи, тянул по-медвежьи, а все никак не мог разбогатеть. «Эх-х! Подрезал мне крылья Тимка! — сокрушался старик, поминая недобрим словом беглого сына. — Кабы не обрубил тополь, до сей поры ходили бы в дом единовѣрцы с приношениями. Все не убыток, а прибыль. А Филя что! Ни хватки, ни лютоści. Умри я, так и останется со своей Меланьей середка наполовине: ни туда и ни сюда! Подымать надо! Эх, кабы мужика родила».

## II

Ночь выдалась звездная, тихая, истомная. Шел Прокопий Веденеевич в деревню, и вдруг напала на него смутность: так ли он живет, как должно? Не раз слышал от покойного батюшки Веденя Лукича, каким был праведник Филарет Боровиков, пугачевец. С Емелькой Пугачевым Казань брал, царевых слуг казнил, до царя добрался, чтоб на дыбу вздернуть, а вот праправнук Прокопий платит подати царские, бывает на сходках и не помышляет ни о каком бунте. Может, люди другими стали, или как? «Мельчают народишко, — размышлял Прокопий Веденеевич. — Где уж нам до Филарета! Духом обнищали, телом отощали. Разве Меланья родит такого богатыря, каким был Филарет Боровиков? Э-хе! Порода не та», — сокрушался старик.

У поскотины присел отдохнуть. Невдалеке, на пригорке, в березовой рощице — изба бабки Ефимии. В окнах виднеется огонек. Не спит старуха! Подумать только: дважды пережила бабьих век, а все еще без костыля ходит. И с Филаретом шла в Сибирь с Поморья, и анафеме предана как еретичка и ведьма, а черная смерть будто отступилась от нее. Хоть бы не повстречать ведьму на дороге! Кого-кого, а Ефимии Прокопий Веденеевич побануется не менее Господа Бога. Дурной глаз у старухи. Чего доброго взглянет или хомут наденет. Может, и вправду старуха с нечистым дружбу водит? Сказывают, сызмала в греховодстве погрязла.

Дома старика встретил все тот же истошный вопль Меланьи.

Филя, прикорнув на табуретке возле порога, отвалив рыжую голову на крашеную стену, храпел на всю избу.

В переднем углу — лики святых угодников, чадающая лампада с деревянным маслом, горящие восковые свечечки. На столе, накрытом холстяной скатертью, сотканной руками Меланьи, для каждого домочадца обливная кружка. Если понадобится воды испить, бери свою кружку. За обедом каждый, как и водится у старообрядцев, пользуется своей посудой, к чужой не притрагивается — грех, осквернение. Для прищлого на кухонном столике стоят «срамной» берестяной тус с водой и такая же «срамная» кружка. Если хозяйка набирает в «срамной» тус воды, то после должна чисто вымыть руки и отбить положенное количество поклонов. Иначе сама осрамится, опаскудится.

Строгость в доме лютая. Женщина не смеет сесть обедать рядом с мужичной, первой мыться в бане, выйти из дома раньше мужичины. Первым должен подняться хозяин, сотворить службу. Если муж захворал, жена должна творить всенощные молитвы. Не смеет пить молоко, сбивать масло, ходить в светлом платке, не говоря уже о скоромной пище. Хлеб и вода, сухари — вот и вся еда для жены, коль мужик прихворнул.

Упаси Бог, если жена вернется домой поздним вечером с улицы! За такое святотатство радеть будет неделю.

## III

Шаркая пятками бродней, Прокопий Веденеевич прошел в куть, зачерпнул медным ковшиком из кадки, попил, жадно глотая степлавшуюся воду. По сивой бороде скатились на посконную рубаху крупные капли. Из боль-

шой горницы доносился протяжный стон Меланьи, будто из нее вытягивали жилы.

Борода Фили торчала вверх золотой лопатой. «Экий нутряной! Ни печалюшки, ни беспокойства, — подумал Прокопий Веденеевич, но не стал будить сына. — Прокую не будет, если и разбудить. Не в меня удался холерский. Всю Степанидину стая перенял, ленивица мокропятая». И пхнув лохматого серого кота, опустился на колени. Долго молился, чтобы Господь помог разродиться невестушке.

«Дщерь твоя, Господи, в мучении пребывает со дня сего до настоящей ночи, — бормотал старик. — И как ты, Господи, слышишь ее тяжкий вопль, то воссодействуй, помоги рабе Меланье, яко твари Господней. И чтоб родился люд мужского пола. Воспою тебе хвалу великую, Господи, за внука, яко раба Божьего. Аминь».

Кряхтя, ухватившись за поясницу, старик поднялся с колен и, еще раз осенив себя крестом, прошел в жилую горницу.

— А-а-а-а!.. Ма-а-тушки-и-и!.. — билось из стены в стену.

На моленном столике восковая свеча; полумрак, духота и вонь. У трех окон, закрытых на глухие ставни, мечутся две уродливые тени. По горнице, согнувшись, ходит бабка-повитуха Мандрузиха, вся в черном, словно пришла на похороны, и сама черная, крючконосая, с оттянутым вниз подбородком. Степанида Григорьевна, телесная, разморенная в жаркой горнице, то держит Меланью на кровати, то лениво крестится.

Едва вошел Прокопий Веденеевич, Степанида поспешно накрыла Меланью толстым лоскутным одеялом, чтоб мужчина не увидел мучающуюся женщину, — тяжкий грех будет.

Меланье дыхнуть нечем, а тут еще накрыли с головой кудельной плотностью. Она что-то кричит и сбивает одеяло руками. Из-под одеяла выглядывают черные ступни маленьких ног.

— Скоро будет?

— Как Бог даст, — буркнула Мандрузиха. — Больно мучится, сердешная.

— Ежели парня родит, крестить в моленной горнице. Филаретом назовем, каким был праведник, прародитель мой. Аминь.

— Аминь, — в два голоса ответил полумрак.

— Ежели девчонка, крестите тут. На глаза не кажите. Аминь.

— Аминь, аминь!..

Старик пошел в свою моленную и, открыв там окошко в пойму, долго смотрел на углисто-черные сучья тополя с черными, будто чугунными, листьями.

«Экая чернота окрест! И морок. К погодыю бы только. Управиться бы с сеном, а там и ржица подоспеет... Жизнь свершает свой круг. От Филаретова корня произошел Ларивон, опосля Лука, а потом мой батюшка Веденей, покойничек. От меня — Гаврила, Филая и Тимоха... Осподи! Какой смысленный был отрок! С «крестом народился», чтоб духовником опосля меня быть. А вот замутила нечистая сила каторжанина Зыряна — совратили парнишку, и не стало сына мово благодного!.. — Вспомнив пропавшего сына, старик почувствовал, как ему стало нехорошо: сердце защемило, будто кто его сжал тяжелой лапой. — Девчонка Бог прибрал. И то! К чему пустопорожние посудины? Ни корысти в них, ни добра. Чужие фамилии. Нам бы корень укрепить».

Корень Боровиковых оказался неплодовитым. Изморили себя постами, рдениями, строгостью. У Веденя Лукича было три сына и две дочери. Старший сын подался в хлебородный Семипалатинский уезд; дочери ушли в другие деревни замуж, и ни одна не понавдалась к брату Прокопию Веденеевичу. Потому: к срамной церкви примкнули.

Трудно Прокопию Веденеевичу держать Филаретову крепость! И вот Филая. Удержит ли? Не рухнет ли со смертью Прокопия вся старая вера, какую вынес Филарет с Поморья?

«До чего же народишко греховодный, — переметнулся на новую думу старик. — Все толкуют, будто из-под тополя ночами раздаётся голос. А враки. Который раз слушаю, и хоть бы какая холера пискнула!»

И вдруг совершенно явственно:

— Спа-а-аси-те-е-е!..

Старик откачнулся от окна. «Свят, свят! Изыди, нечистая сила!..»

— Спа-а-аси-те-е-е!.. Ма-а-а-гу-шка-а-а!..

Старик облегченно перевел дух:

— А мне-то поблазнилось, осподи! Это же Меланья исходит. Помогни ей, Марфа-великомученица.

Закрыв створку окна, зажег лампаду под иконою Пантелеймона и стал на молитву.

Ещё только начало отбеливать реденькой голубенью и за окном сучья тополя из черных превратились в лиловые, в моленную вошла Степанида Григорьевна. Молча переглянулись супруги и, как по уговору, перекрестились, вздохнули.

— Меланья-то вся извелась. Мечется, а потом вовсе замирает. И ноги холодеют. На грудях по ложбине холодный пот пошел. Постель под ней хоть выжми. И так не тельня, а тут и вовсе доходит...

Ноздри старика сузились. Не он ли толковал, чтобы Филя не зарился на вальянскую красоту! Вот и пользуйтесь: не баба, худая немочь, хвороба.

— Што ворошить-то минувшее... Бабка Мандрузиха ушла; глядеть не может. Грит: пошлите за бабкой Ефимией Аввакумовной. Она такие же роды принимала у сестры Меланьиной, Аксиньи Романовны. Послать надо бы.

— Опамятуйся! За ведьмой слать. Мало она чернила наш толк? Дом наш? Сколь раз говорил мне покойничек батюшка, чтоб нога Ефимии через порог не преступала. Не порушу батюшкину заповедь.

— Как померет, тогда как?

— Все от Бога. И смерть, и рождение.

— Гляди, Прокопий, на тебе грех будет. По всей деревне слух пойдет, если никого не пригласим на помощь.

Старик недовольно хмыкнул. И вдруг представил Меланью мертвую, накрытую до рук отбеленным холстом, лежащую вдоль лавки в красном углу, с мерцающей свечою в сложенных руках, с ребенком во чреве, и — содрогнулся. Мертвому телу ничем не поможешь: ребенка не спасешь, а худую молву лопатой не отгребешь.

— Напасть-то экая, Господи! За Ефимией-ведьмой слать, а? У ведьмы што ни слово, то одно еретичество. В Боге разуверилась.

Посутулился Прокопий Веденеевич...

Филя сидел на кухонной лавке, широко расставив толстые ноги в самодельных яловых броднях, отупело тараща глаза в цело печи на пламя березовых дров.

— Сей момент заложи Каурку в тарантас и поезжай за ведьмой, — вывернул Прокопий Веденеевич, не глянув на Филю. — Да не запамятуй: не назви старуху ведьмой. Не поедет. Скажешь: Ефимия Аввакумовна, к вашей, мол, милости. Пособите моей жене Меланье, роды у ней трудные. Помереть может. Ишшо вот што: как подойдешь к ее избе, троекратный большой крест на себя наложи и про себя молитву прочти. Ступай.

Над круглой сошкой Татар-горы румянилось щекастое небо: поднималось солнце. На сук тополя, виснувший с крыши, прилеплась куча ворон и подняла такой гвалт, будто учуяла мертвое тело. Филя схватил палку и, размахнувшись, запустил ею в воронью сходку. Палка загремела по крыше.

Вороны шумно взлетели, кружась над оградой, опустились на баню. Филя схватил круглое полено и погнался за ними.

— Филин! Филин! А, чтоб тебе треснуть, окаянный! — орал с крыльца

отец. — За воронами погоню учиняешь, а баба вот-вот Богу душу отдаст. У, нетопырь!..

Филя кинулся за сытым Кауркой — надел сыромятную оброть, застегнул ее на ремешок под конской челюстью, вывел к поднавесу, проворно охотал и, не высвободив хвост из-под наборной шлеи, увенчанной ремешками с кистями и медными бляхами, заложил Каурку в оглобли выездного тарантаса.

— Живо мне! — поторапливал отец.

#### IV

Не ждала бабка Ефимия, что за ней пошлет сына Прокопий Боровиков. Не она ли, Ефимия, порушила тополевыи толк? Не она ли пояснила темным староведам, что верование в тополь — дикарское, не Божеское, а скорее сатанинское? И вот Филя, мужик под потолок, мнет картуз перед старухой.

Бабка Ефимия только что поднялась с постели и помогала безродной пожилой приживалке Варварушке выкатать слобное тесто — печь подошла.

Изба Ефимии, построенная по ее велению на отшибе деревни, у кладбища, в березовой роще, вся пряталась в зелени. Крутом щелбетаи птицы.

В переднем углу избы приметил Филя — маленькая иконка в две ладони, в золотом окладе, так хорошо выписанная старым письмом, что Филя от порога разглядел Божью мать с младенцем. Изба застлана половиками.

Справа — дверь в горницу за шелковыми занавесками; еще одна дверь в боковушку Варварушки, нарядная кровать с пуховой периною и пуховыми подушками под потолок. На окнах узорчатые прозрачные шторы, какие Филя видел только в скиту на окнах игумена.

— Люто живете, парень. Теперь уж не парень. Как звать тебя? Филимон? Приметный. Все Ларивоновы отметины перехватил. Тот таким же рыжим был. Ишь какая кудрявая борода! Вся из золота.

Филю коробило от пристального внимания бабки Ефимии.

— К вашей милости, Ефимия Абакумовна.

— Аввакумовна я.

— К вашей милости, — топтался Филя.

— В тополевыи толк веруешь? — И опять Филю сверлят черные старушечьи глаза. «Ведьма и есть!»

— Дык тятенька. Моя воля какая, — развел руками Филя.

— Куда конь с копытом, туда и рак с клешней? Без воли и разумения? Тебе и свою волю иметь можно.

— Не заведено так-то.

— Знаю. Все ваше заведение от тополя до срамного туеса. Поддеревни в такой тьме пребывает. От тьмы произошли, во тьму уходят, яко не живши и ничего не видевши на свете. А век-то ноне другой. Двадцатым прозывается. Слышал? И!!! Какой же ты темнущий при красной бороде, ай-я-яй! Ты хоть на календарь поглядывай.

— Не заведено у нас. Исчисление ведем от сотворения мира. Как оно было. Так оно идет. Тятенька так и другие.

Филя взмок и вытер ладошкой толстую шею.

— От сотворения! Кто его зрил, сотворение, что в лист пером врубить? Вот взгляни на листок — грамотный, поди?

— Читаю. Пишу. Батюшка обучил.

— И про то ведаю. Чтоб Писание толковать по Филаретовой крепости. Ох-ох-ох! Сколь держится мертвая крепость!.. Ну, ну, глянь на листок. Узнай, какой ноне год.

— К вашей милости, Ефимия Аввакумовна. Как мучается жена моя, Меланья. Пособите ей в родах. Помереть может.

— Экий ты, — покачала головой бабка Ефимия. — Вроде несмышленищ, а мужиком ходишь.

Бабка Ефимия накинула на плечи теплую шаль с кистями и вышла с Филей из избы.

Послушала пение птиц с крылечка и села в тарантас. Маленькая, ссохшаяся старушонка, а все еще бодрая, резвая.

Прокопий Веденеевич встретил бабку Ефимию у ворот, низко поклонился, в пояс.

— Не кланяйся, Прокопий. Притвор один, вижу, — кивнула бабка Ефимия, вылезая из плетеного короба тарантаса. — По нужде жалуешь — принимай без слов. Сама все разумно. Где лежит невестка? Веди.

В избу и в горницу вошла без креста, и что самое ужасное, сняла шаль и темный платок, обнажив седенькие, словно присыпанные сахаром, волосы.

Прокопий Веденеевич отвернулся и вышел из горницы. Истая еретичка! Простоволосой показалась перед мужчиною!..

Выбежала Степанида Григорьевна.

— Окно велит открыть, — сообщила. — Ругает. Уморили, грит, роженицу. Без воздуха, взаперти. Повелела тело обнажить и помогать, значит. Руки не поднимаются на экое.

— Подыменьшь небось! — зыкнул Прокопий Веденеевич. — Сполняй, што она требует. Ставни пойду открою!..

От дома Боровиковых пастух начал собирать стадо. Заревел в рожок. Филя выгнал из надворья трех коров и нетель.

Прокопий Веденеевич, горбясь, сидел на приступке крыльца. Думал.

На крутизну неба вкатывалось солнце, как желтая дыня, пропитывая землю теплом. Ночной морок рассеялся. Местами по выгнутой синеве плавали рваные хлопья барашков. Сколько бы скосили травушки в такой день!.. Под навесом Филя отбивал литовки. У трех скворечен гомозились сизые скворцы.

Ограду бы надо вымостить торцом и переменить прогнившую крышу на бане. Еще вот конюшню надо построить для рысаков. В прошлогоднюю ярмарку Прокопий Веденеевич купил в Минусинске пару двухлеток-рысаков юсковского конезавода. Гнедой и Чалый для ямщины — залетные птицы. Нынче зимой Прокопий Веденеевич возьмется гонять ямщину от казачьего Каратуза в Минусинск и обратно. Он мужик в доброй силе. Хоть сейчас к молодухке, кабы не строгость веры. Степанидушка вышла с подвохом. Пятерых народила, двух девчонок похоронила и отошла в старость. Хоть бы еще одного сына!..

Думы лились, как вода по камням. Прозрачные, бегучие.

## V

Щедро припекало солнце. На крыльцо сунулась Степанида, заслонив собою проем двери. «Жкая тельная! — скосил глаза Прокопий Веденеевич, будто впервые увидел супругу. — Разбухтела, а ни плода, ни проворства. От года к году все толще и толще. Оказия!»

— Ну?

— Бог миловал! Хоть не померла, и то ладно.

Степанида одернула на груди холщовую кофту, крашенную в коре багульника.

— Кого Бог дал?

— Внучкой тебе будет.

— А, штоб вас! — подскочил Прокопий Веденеевич. Если бы мог, выругался бы крутым словом. Нельзя. Отродясь в доме Боровиковых не слыхано срамного слова, не пролита капля царевой водки, не притемнен потолок табачным дымом.

— Бабка Ефимия советует, чтоб имя нарекли Божьей матери, Марией назвали.

— Хоть как нареките! Одна статья — пустошь. Филоха! Эй, слышь! Заладывай буланку — на покос поедем.

— Погоди ужо. Бабка Ефимия зовет тебя в избу.

Прокопий Веденевич буркнул что-то себе под нос, пошел в избу. Первое, что услышал, — сверлящий писк из-за дверей горницы. «Истгий сверчок верещит». Сел на лавку, поджидая Ефимию. Степанида Григорьевна прошла в горницу. Знал старик, напустится на него проклятущая Ефимия за невестку. Что поделаешь, придется слушать и моргать глазами.

Строгая, вся в черном, бабка Ефимия уставилась на старика таким липучим взглядом, что у того морозец прошел за плечами.

— Ты, Прокопий, крест носишь?

— Эко! Господи помилуй!

— Покажи.

— Да вот он, мой крест. Поблазнилось вам или как, Ефимия Аввакумовна?

— Заморил ты невестку, едва от смерти выходила. Отжали вы из нее силушку, как масло из конопляного семени. Жмых один остался. Кожа да кости. Всю грудь в ладонь собрать. Крест носишь, а живешь-то как?

— От свою тела кусок не отхватишь и к чужому телу не приставишь, Ефимия Аввакумовна. Такая она есть — худущая. Два года жила у нас в доме невестюю, а тела так и не набрала. Чья в том вина?

В избу явилась Фила.

— Урядник идет к нам, тятенька. С чужим человеком.

— Анафема!..

Широко распахнулась дверь, и через порог перевалился упитанный приземистый Игнатий Елизарович Юсков, урядник в форменном мундире при сабле, в фуражке с беленой кокардой. Снял фуражку и троекратно перекрестился на иконы двумя перстами. Следом за ним — парень из городских, плечистый, высокий, в кепчонке, в легком пальто, в ботинках и с ящичком в руке. Кепку не снял и лба не перекрестил. Замер у порога, тревожно оглядываясь на Прокопия Веденевича и на бабку Ефимию, которая присела на красную лавку возле стола.

Урядник Юсков покрутил стрельчатые усики, выпятил грудь, утыканную медными пуговицами.

— По казенной надобности беспокою вас, Прокопий Веденевич, — заремел бас урядника. — Вот (кивок на молодого человека), по предписанию выше, жить, значится, будет у вас в доме сицилист и безбожник. Под вашим надзором проживать будет пять лет, исчисляя с того дня, когда был подвергнут аресту и тюремному заключению.

Глаза Прокопия Веденевича, отливающие синевой перекаленной стали, свирепо воззрились на безбожника-парня в городчанской одежде и на урядника.

— Такого паскудства не будет, грю. Поставьте своего безбожника к поселенцам аль к медведям спровадьте.

— Под ваш надзор указано, — хитро накручивал усики мордастый урядник. — Преступить указание свыше не в моей власти.

— Не будет того, грю! — заремел Прокопий Веденевич, поднимаясь с лавки. — Мой дом не для безбожества, грю.

В разговор встрял молодой человек:

— Нет такого предписания, господин урядник, чтобы я жил именно в этом доме. По приговору суда я должен отбывать ссылку по месту рождения.

— Под надзором родителей, сказано, — пророкотал бас урядника.

— В приговоре сказано: «До совершеннолетия отбывать ссылку под надзо-

ром родителей». А мне исполнилось девятнадцать лет. Могу отбывать ссылку в любом доме.

— До получения разъяснения из губернского жандармского управления вы будете под родительским надзором, предупреждаю.

«Под родительским надзором!..»

У Прокопия Веденеевича еще более округлились глаза. Кажется, есть что-то знакомое в обличности городского парня. Взгляд из-под бровей, чуть горбатящийся нос, светло-русые, вьющиеся на висках стриженные волосы, боро-виковская стать и размах плеч, и даже окалина синих глаз.

— Признаете или нет? — кивнул урядник, уставившись чутунным взглядом.

У Прокопия Веденеевича захолонуло внутри и слова на язык не легли. Онемел.

Из горницы на разговор вышла Степанида Григорьевна.

— Может, Степанида Григорьевна признает?

Степанида Григорьевна подошла ближе, пригяделась и попятилась. «Свят, свят! Поблазнилось будто. Лицом-то — Тима».

Молчание.

Три пары глаз щупают друг друга.

— Такое бывает у сицилистов, — пояснил урядник. — Они ведь на все идут. На подвох, подлог и на воровство чужих фамилий. Чтоб следы замести. И такое происходит. Этот сицилист назвался Тимофеем Прокопьевичем Боровиковым, а может, липа, а? Глядите взыскательно, потому дело щекотливое.

— Тимофеем?! — Прокопий Веденеевич свирепо уставился в лицо городского парня.

И вдруг, не помня себя, Степанида Григорьевна кинулась к парню.

— Тимошенька!

— Мама!..

Одно слово, и Степанида Григорьевна как подкошенная упала на грудь парня. Тот прижался к ней. Урядник отошел в сторону.

— Тимошенька!.. Роденький мой!.. Што с тобой подеялось, роденький!.. Из родительского дома... бежал... Тимошенька!..

Прокопий Веденеевич хмыкнул и сел на лавку. Филя усиленно моргал глазами, переступая с ноги на ногу. Бабка Ефимия что-то шептала про себя, машинально глядя ладонью скатерку.

— Признали? Принимайте тогда, как положено. Распишитесь в документе.

— Погоди уже с документом. Откеле он, поясни.

— Из Красноярской тюрьмы. Прибыл по этапу на отбытие ссылки как политический преступник. Был арестован за участие в стачке мастеровых депо.

— Это как — политический?

— В подрывном понятии. Собираются, значит, как бандиты, по подпольям и учиняют потом всякую пакость, народ мутят. Помышления имеют свергнуть государя-самодержца и самим царствовать. А того не разумеют, что они есть тля, мокрость на сухом месте. В Бога не веруют, лба не крестят, с чертями заодно. И все молокососы. Материно молоко на губах не обсохло, а они лезут, как тараканы в щели, поганые. В такую политику ударился ваш сын. Работал в депо кузнецом, жалованье имел. Чего бы еще? Золото на ладонь падало, а он кинулся за медяками к подпольщикам.

Прокопий Веденеевич накручивал на палец прядь сивой бороды.

— Эвон какая оказия!..

— На моей памяти зародилась поганая политика, — пыжился урядник. — А сейчас что видим? В одной Белой Елани девятеро отбывают политическую ссылку, не считая вашего сына. Он десятым будет.

Никто не обратил внимания на Ефимино.

— Слава те Господи! — раздался голос старухи. Прокопий Веденеевич оглянулся на нее. — Возрадуйся, Прокопий! Возрадуйся, яко тьму прозрев-

ший. Гляди, гляди, праведник пред тобою! — И показала на парня. — Мокеюшку вижу, Мокея!.. В другом обличье, в молодой силе! Возрадуйся! А ты, Игнашенька, погань, не человек. Отторгла я тебя от сердца, хоть мы из одной фамилии. Сытый экий, упитанный, а чьим добром напигтался? Крохами с царского стола набил брюхо и глазами в землю смотришь. Живешь, как бросовое тело, с тем и отойдешь на тот свет. И не сам отойдешь! Снесут тебе голову вместе с сатанинской кокардою, и помянуть будет некому. Не раз говорила тебе про то и еще толкую: гибель у тебя за плечами! Озрись!

Упрядникова морда налилась, как свекольным соком.

— Подойди ко мне, парень, подойди, — позвала Ефимия.

— Погоди уж, Ефимия Аввакумовна, — поднялся Прокопий Веденеич. — Как он есть сын мой, мне и разговор вести допрежь. Отцепись, Степанида! Пойди к Меланье в горницу. Слупай. А ты, Филя, сей момент отвези Ефимию Аввакумовну. Благодарствуем за помощь, Ефимия Аввакумовна, а за другое что, ежели выходит не по-вашему, не обессудьте. Мне чрез родительскую крепость не преступить, скажу.

Урядник одобрительно гудел себе под нос. Степанида Григорьевна ушла в горницу, Филя — запрягать Каурку.

— Может, на солнышке погреемся, Ефимия Аввакумовна? День ноне не разгулялся.

— А ты меня не гони! — осерчала она и сама подошла к Тимофею. — Мокея вижу, Мокея! Не тебя, Прокопий. Ты, как межеумок, прополз по жизни, батюшка твой Веденей межеумком полз по дням текучим да сонным. А вот у парня, гляжу, другая линия. Как тебя звать?

— Тимофеем, бабушка.

— Ишь, неторопкий голос. Вразумительный. Не робеешь?

Парень спокойно пожал плечами.

— Не робей! Была и я такова в твоём возрасте. Себя, как тебя, вижу. Искала веру-правду во всем Поморье. Держись крепко своей веры-правды. Гнать будут — терпи, бить будут — не плачь. Потому: свет не сразу пробивает ночь. Не веруешь в Бога? Не надо. У тебя своя вера-правда, ее блюди. У родителей своя тьма-тьмушная, они в той тьме сами себя потеряли. Притеснять будет отец — приходи ко мне и живи хоть век. Как сына приму. Теперь пойду домой. Приморилась за утро. Не розовые годочки ноги носят. Живу еще. И перемены жаду. Чтоб вся Россия Пугачевым огнем занялась! И тогда настанет на земле вольная волюшка. Того жаду, о том молюсь. Потому человек от рождения не раб, а вольная птица. Ну, спаси тебя Бог, Тимоша. Пойду я. Приходи ко мне. Ждать буду.

Бабка Ефимия сходила в горницу за шалью, побыла там (синице через деревню перелететь) и вышла из избы. Нутряным рыком проводил ее внучатый племянник Игнат Елизарович. До чего же надоела престарелая старушонка! Пропиталась ересью и греховодством. Игнат Елизарович исповедует веру прадеда, Аввакума Юскова; за фалды «федосеевского кафтана» держится рябиновец, хоть и стрижет бороду.

## VI

В избе водворилась тишина. Прокопий Веденеич, скомкав в медвежьей лапнице бороду, обдумывал тягостное положение, стоя возле стола и не глядя на шалопутного сына. Он все еще никак не мог уверовать, что объявился беглый Тимка — рубщик икон, срамное чадо.

Урядник ждал, что будет дальше. С хромовых сапог его тоненьким узором легла пыль на скобленные половицы.

На шаг от двери прикипел Тимоха. Если отец вдруг заедет в скулу — моментом вылетит в сени. Тогда беги, не оглядываясь. За восемь лет, какие



Тимка провел в городе, в памяти жил строжайший батюшка-старообрядец. Парнишка помнил, как от одного отцовского удара старший брат Гаврила головой ударился в тесовую стену в завозне.

Окаменелое молчание буравил младенческий писк.

Прокопий Веденевич сотворил молитву, бормоча застревающие в зубах непроторенные старославянские слова. «Блудный сын спаскудил дом твой, Господи, — дополнил к псалму нутряное горе Прокопий Веденевич, — сотворил изгальство в доме твоём, Господи. Вразуми мя, Господи, в деянии твоём, в слове твоём».

Шумно передохнул, одернул рубаху под льняным поясом, повернулся к сыну.

— Сказывай, шалопутный, где бывал? Кто надоумил ты, несмышлениша, свершить пакостное святотатство в моленной горнице? Сам того умыслить не мог. Сказывай.

Пружиня голос, сын ответил с запинкой:

— Где был — известно. Господин урядник сообщил. В депо работал. Год учеником, год подручным, а потом кузнецом. Арестовали за участие в сходке мастеровых. В школе учился, в воскресной. В тюрьму потом посадили.

— Про арест, тюрьму потом будет разговор. Про святотатство реки, грю.

Сын шумно вздохнул.

— Ну?

Молчание.

— Говори, грю, кто надоумил чудотворную икону порубить!

— Никто. Сам.

— Врешь, шалопутный. С каторжанином Зыряном про што разговор вел, сказывай. В десять-то годов отрок все помнит. Сказывай!

В ответ молчание.

— Пороть, пороть надо! — подсказал урядник. — Вы же, Прокопий Веденевич, праведной веры держитесь. За порубку икон особливо вложить память, чтобы вовек не забыла. Позовем в соборно и, как по воле родителей и через родительское дозволение положить на скамейку и всыпать, вложим памяти, как и должно. Чтоб держал себя в дозволенных линиях. И я помогу. Потому — за святотатство.

На щеках Тимохи перекатились крутые желваки. Синим огнем вспыхнули отчаянные глаза.

— Пороть, пороть! — рычал урядник.

— Погоди уж, служивый. Чадо мое — мне и толк вести, — урезонил старик. — Мир мне ни к чему — сам в силе. С тремя такими совладаю. Господь Бог повелел прощать грешников. До семижды семидесяти раз, сказано в Писании. За несмышление прощаю. Про дальнейшее — Бог скажет, как поступить.

Обескураженный урядник достал бумагу.

— Спрячь гумагу! — махнул рукой старик.

— По закону, по закону требуется, — пояснил урядник. — Коль принимаете сына, распшистите.

— Грю, нет моей росписи!

— Если не примете под расписку, отправляю обратно в тюрьму, как не опознанного.

— Верши власть свою, как можешь. Роспись под гумагой не поставлю. Аминь.

— До чего же вы тугие! — не стерпел урядник. — Оно и понятно сталбыть, что от вашего корня отлетают головорезы.

— В нашей родове нету головорезов, Игнат Елизарыч! — отсек старик, как полено дров разваляла на две половинки. — Ищи головорезов в юсковском корне, у рябиновцев, грю. А мы от праведника Филарета род ведем. К царю в урядники не нанимаемся. Аминь.

Подхватив рукою ножны сабли, урядник вылетел из избы синей тучею, с досады хлопнув дверью.

Отец и сын переглянулись, будто серебряный рубль переложили из руки в руку.

— Не таким я тебя ждал, Тимоха. Надежду на тебя имел. В помышлениях тайных видел тебя Филаретом-праведником.

Помолчал, глядя себе под ноги.

— Из тюрьмы пригнали?

— Из тюрьмы.

— Царю не поклонился?

— Не поклонился.

— Добро. А сила есть, чтоб пихнуть царскую власть? Прадед Ларивон мой, покойничек, сказывал про Филарета, как их разгромили царицы слуги. Смыслишь то?

— Поднимется весь народ, тогда не устоит самодержавие.

— Дай Бог! Ох-хо-хо! В Бога не ве рнешь? Безбожник?

— Церковь существует, как мышеловка для темного народа. Сами-то они, царь с генералами, разве верят в Бога?

— Замолкни про Бога! В никониановской церкви Бога нету: анчихрист службу правит. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Бог есть у нас, в нашей вере-правде. К тому прислон надо держать. Без Бога царя не спихнете. Ну, да про то разговор вести не будем. Таперича слушай, што скажу. Коль объявился безбожником, живи чужаком в доме на моей хлеб-соли. Ежи табак куришь, в избе не смей. Вино пьешь — хоть из лохани хлебай за моим домом. И валяйся со свиньями, а через порог в сатанинском виде не перекатывайся. Снедь принимать будешь из своей посуды. К столу не прикасайся, на красну лавку не садись. Оборони Бог, ежели увижу в моленной горенке! Смотри! Ну а работать, скажу тебе, не ленись. Хлебушко солью тела добывается. Уразумел?

— Уразумел.

— Добро. Семью анчихристовыми разговорами не совращай. Про политику также. Замкни рот и чесало привяжи к зубам. А таперича, как у нас в доме народилось чадо, увезу тебя от греха на покос. Неделаю будем жить там, куда в доме сырая рожища. Эй, Степаннда! — И в ту же минуту она показала на пороге. — Ишь какая торопкая. Под дверью стояла? Собирай на покос. Пригласи бабку Мандрузиху — помогать будет Меланье и за скотом глядеть, а сама завтра явись в Суходолье.

— Тимоша с дороги, отдохнул бы, — молвила Степаннда Григорьевна, не смея приблизиться к сыну.

— Молчи, коль ум с ногой. Достань с подлавки стол, какой вынесли из моленной. Вот в том углу поставь. Табуретку также. Чутунок, хлебальную чашку, посуду, какую соберешь, на тот стол. Тимофеев угол будет. К приезду с покоса устрой ему постель в казенке. На ларь с мукой доски положишь, а постелью будет мой тюфячок волосяной, полостью суконною — покрываться, подушку дашь для припалых с ветра.

— Сделаю, батюшка.

В слабо торжественных случаях Степаннда Григорьевна звала мужа «батюшкой» или «большаком».

— Ну, помоги мне, шалопутный!

Тимофей вышел с отцом в сени. Отец полез на чердак и сам подал оттуда старенький березовый стол, закапанный почернелым воском от свеч.

Водворив стол в угол, старик наказал жене, чтобы она покормила сына, а сам вышел в надворье. Подальше от грехопадения.

Как только вышел он за дверь, мать повисла на шее сына.

— Соколик мой! Рада-то как я, Господи!.. Живой, живой!.. Сколь молитв

перечитала, сколь свечей сожгла, тебя ожидаючи! Живой, живой!.. Слава те Господи. Один ты у меня лежишь у самого сердца. Ночь и день грела бы тебя. На отца не сердись. Неломкий он; за старую веру кремнем стоит. Одни на всю деревню с этакой крепостью. Кругом старая вера рушится. Живой, живой!

Тимофей разнял теплые руки матери и, озираясь, спросил:

— Которая «красная лавка»?

— Да вот эта. Гляди, не сядь на нее.

— Ладно.

— Да я бы тебя, Тима, на грудь себе посадила. Вера-то, вера наша, осподи! Век терплю, век землю топчу, а все не разумею: где истинная вера-правда? Помнишь дядю Елистраха? Поди, забыл? Тот вовсе отторгся от мира, в тайге живет и на деревню глаз не кажет. Живет в избушке на пасеке Юсковых, спит в колоде, в которой потом захоронят его. Единоверцы ходят к нему с приношениями — кто сухариков, кто мучицы поднесет, а более ничего не принимает. Была я у него с приношением. Заставил ночь радеть и читать молитвы, а потом принял ржаные сухарики, а пшеничные повелел зверям кинуть. Глядеть страшно! Весь иссох и дикой, дикой.

— Тьма-тьмущая, — вспомнил Тимофей слова бабки Ефимии.

— Тсс, не говори так, Тимоша. Обороны Бог, сам услышит. Истинная вера-правда у нас. Не слушай ведьму. В искус вводит.

— Какую ведьму?

— Да бабу Ефимию, которая Мокеем тебя назвала.

— Это та самая бабка Ефимия?

— Ишь ты, помнишь? Она, она, еретичка. Внуки сколь раз прогоняли ее из Минусинска, а ей все нейметя. Ходит из дома в дом да совращает праведные души.

— А как тут Зырян живет?

— Свят, свят! Про каторжника вспомнил! — замахала ладошками мать.

## VII

Солнце поднялось вполдуги, когда Прокопий Веденеевич выехал с сыновьями на покос. Филя правил лохматым Буланкой. Каурка бежала рядом возле оглобли.

Тимофей с отцом сидели спина в спину. Один обзирал левую сторону дороги, другой — хребет Лебяжьей гривы.

Встреча с отцом прошла благополучно. Пуще всего Тимофей боялся именно этой встречи, когда ему огласили приговор суда. Он просил суд сослать его в любое отдаленное место Енисейской губернии, хоть в Туруханск, хоть во льды океана, только не в Белую Елань. И суд учел: приговорили на пять лет ссылки по месту рождения, и чтоб водворили в родительский дом под строжайшим конвоем. «Надеялись, что отец переломает мне кости».

Иные думы кучились у отца.

«Вот оно как вышло! В пятом колене закипела кровь Филаретова. Супротив царя пошел. У ведьмы глаз вострый. Кабы не безбожество — радость-то экая! Ну, да, может, еще оботрется парень. Ласковостью надо брать, умом, воздержанием. Ежли начать гнуть, как медведь гнул дерево, аль переломится, аль сбегит. А сын ведь! Не чета Филе».

До покоса тащились проселочной дорогой, петляющей между опушками красного и белого леса.

Погожесть, солнце, и звонкая, певучая тишина необозримых просторов. Воздух, как медовуха: пьянит, клонит ко сну.

Филя повернул к стану. Треугольный шатер, обложенный сверху берестой, из которой осенью будут деготь гнать. Пепелище с кучей хвороста.

Треногий таган для варки обедов. В трех шагах журчит Малтат, заросший багульником и черемушником.

Оказалось, что Тимоха не умеет держать литовку.

— Гляди, как черенок брать в руки, — взялся учить отец. — Вот эдак бери ее, милушечку косороту, и иди по травушке-муравушке, только свистеть будет. Сила у те, слава Богу, есть. В мою кость выпер.

Дюжие, привычные к пудовому молоту руки Тимофея крепко взялись за черенок литовки. К вечеру с непривычки набил кровавые мозоли. Отец велел перетирать в ладонях сухой пепел, чтоб быстрее narосла рабочая кожа.

Закончили косьбу поздно. Поужинали врозь. Филя с отцом сотворили вечернюю молитву, а Тимофей в укромном уголке за станом умял свою долю обеда и тут же свалился спать. Отец укрыв его половиком и долго сидел подле сына, глядя на его курчавую русую голову.

На другой день к обеду явилась Степанида Григорьевна, притащила на горбу два туса свежего молока, кусок тайменя в полпуда и сейчас же наварила ухи, стараясь угостить лучшим куском меньшого сына.

Мордастый Филя набычился:

«Ежели припаяется к дому Тимка, ополовинят меня, лешни. Надо бы отворотить тятеньку от Тимки».

С того и невзлюбил меньшого брата, косоротился.

Как только утренняя зорька румянила синюю полость погожего неба, сразу, без заминки, вскакивал Прокопий Веденеевич и брался отбивать литовки. Степанида Григорьевна что-нибудь варила в прокопительных котелках, а потом, плотно позавтракав, выходила в пахучее разнотравье, и по увалам, логам мягко, со свистом пела косы: «Вжик, вжик, вжик».

Прокос за прокосом.

Вперед шел Прокопий Веденеевич, неутомимый, сильный, костлявый: за ним — чувал сшны Филя, за Филей — поджарый, в отца плечистый Тимофей в синей рубахе, а следом мать — пыхтящая, тяжелая, вся мокрая от пота, в непомерно длинной холщовой юбке, путающейся в ногах.

Перемежались дни. То прыснет дождик, то опять проглянет горячее солнышко, то морок простоят весь день.

В ясные дни собирали сено деревянными граблями и метали в кошны.

На исходе недели Степанида Григорьевна до того разморилась, что слегла под телегой, и, как ее ни ругал Прокопий Веденеевич, не поднялась.

— Нету силы моей, Прокопий. Хоть прибеи.

— Истая колода! Чтоб тебя разорвало, холеру! Ступай домой тогда и пошли двух кошневщиков из поселенцев. Да не наговори лишку, когда будешь рядиться. Хватит им того, что жрать будут мой кусок хлеба. И Меланью отправь на покос. Поди, отлежалась.

По вечерней прохладе Степанида Григорьевна ушла в деревню, а на другой день подошла Меланья с малюсенькой грудной дочкой Маней и с белоголовой, тоненькой, как лучинка, внучкой бабки Мандрузихи Анюткой, которую Меланья взяла в няньки. Пришли копневщики — босоногие подростки в холщовых шароваринках. Прокопий Веденеевич сразу же определил парнишек в угол безбожника Тимохи, чтобы не опаскудили стана.

Впервые свиделась Меланья с деверем Тимофеем. До чего же он красивый парень! Смутилась, опустили руки вдоль тела и, потупив голову, отошла от Тимофея.

Улучив минуту, свекор предупредил невестушку:

— С Тимохой в разговор не вступаи, слышь. Потому — безбожник.

— Ой, как можно так, тятенька? Грех-то, грех какой!

— Грех его, не наш. Ему и ответ держать перед Богом.

Филя, в свою очередь, высказал такую догадку:

— Ишшо неизвестно, может, с нами вовсе не Тимоха, а нечистый дух, оборотень.

— Свят, свят, свят! — истова крестилась перепутанная Меланья, боясь глянуть в ту сторону, где спал с кошневщиками деверь Тимофей.

Неделя выдалась редкостная. Ни гнуса, ни комарья — пекло солнце. Курилось синюшное марево, будто от земли к небу тянулись шелковистые голубые волосы.

## VIII

С обеда начали метать два зарода. Филя с Тимохой в низине, возле берега Малтата, отец с Меланьей на взгорье, у старой березы.

Меланья подавала сено на зарод, стараясь изо всех сил. Слабели руки и ноги, а свекор поторапливал:

— Эй, живо мне! Еще, еще! Што ты суешь навильник, будто три дня не ела? Живо, грю!

У Меланьи свет мутился в глазах. Поднимая трезубыми березовыми вилами сено на зарод, покачнулась и упала без памяти.

Свекор, утаптывая сено наверху, заорал:

— Чаво там замешкалась, холера? Слышь, што ли?

Никакого ответа.

— Меланья!

Меланья не поднималась.

Старик винтом слетел с зарода и, подскочив к Меланье, пнул ее броднем в живот. И еще раз, и еще.

— А-а-а-а, тятьенька!..

— Вот тебе! Вот тебе! Стерва, не баба. Разлеглась!

— Тятьенька-а-а-а!..

— Штоб тебе провалиться сквозь землю, лихоманка!

На крик прибежали Тимофей с Филей и подростки-кошневщики.

Меланья, ползая в ногах свекра, жалостливо, сквозь слезы стонала:

— Не бейте, тятьенька! Не бейте! Силов нету-ка! Голова идет кругом!..

— Ах ты погань! Ставай, грю! — И еще раза два пнул невестку, та скорчилась.

К отцу подскочил Тимофей. Лицо в лицо, как молнии скрестились.

— Ты что, очумел, отец? Не видишь, что ли? Кого ты поставил с вилами? А ты что смотришь, Филя?

У Прокопия Веденеевича — озноб по спине. Лицо перекошилось, ноздри раздулись, на щеи и на висках вспухли вены.

— Ты, варнак, што, а? На вилы хопь? Я те сей момент проткну! — И схватил березовые вилы. Не успел развернуться, как Тимофей схватил со спины. — А, Филя! Бей его, анчихриста! Луни, грю!

К покосу Боровиковых кто-то ехал верхом. «Чужой кто-то, а у нас экое!» — топтался Филя на одном месте.

— Бей, грю!

— Дык... дык... едет хтой-то, чужой.

Отец и сын пыхтели под зародом. Тимофей втиснул отца лицом в сено, тот вырывался, клокоча злобою и бессилием.

— Тятьенька, чужой человек едет! Што вы, в самом деле!

Тимофей вырвал из рук отца вилы и отошел к кошке.

Подъехал человек из поселенцев. Не слезая с вислозадного коня, заорал:

— Слушайте, люди! Запрягайте коней та поизжайте до дому! Громаду собирает голова с волости!

Прокопий Веденеевич шумно перевел дух.

— Што ты бормочешь? — угромо спросил.

— Кажу: поизжайте до дому. Сход собирает голова чи той, староста. Манихфест царский читать буде. Ерманец, чи той поганый немец, войну почал, люди!

Филя вытаращил глаза.

— Мабуть, заберут всих хлопщив на ту войну. А, мать Божья! Як жить без хлопщив чи мужиков? Погибель одна, и все. Ну, я пойду, до покоса Лалетиных. Гукать людей надо. Война, война!..

И уехал.

## IX

Меланья поднялась бледная, ни кровинки в щеках, ни радости в тухнувших молодых глазах.

— Вот што, Тимоха, не в свое дело не суй нос! — медленно отходила Прокопий Веденевич, отирая мокрое лицо рукавом рубахи. — Не твою ума дело, как я веду хозяйство. Ты со своим умом дошел до ссылки, а я со своим подниму Филимона — рукой нехватишь.

— Одного поднимешь, а ее в гроб загонишь.

— Молчи, грю, каторга!

— Я еще не каторжник. Но думаю, на каторге для Меланьи было бы легче... Вы же ее заездили. Никакой жалости.

Толстоногий, медлительный Филя косил глазом то на отца, то на Тимоху, то на всхлипывающую Меланью. «Ишь, как вышло, а? — туго соображал он, ковыряя пальцем в носу. — Кабы не подъехал поселенец, я бы Тимку съездила в затылок. — И, уставившись неприязненно на Меланью, покривил толстые губы. — И отчего она такая слабосильная?»

Тимофей взял Меланью за руку и хотел увести к стану.

— Не трожь! — подскочил отец. — Не твоя баба, в рот не клади. Заведи свою и жуи.

— Постыдились бы, папаша.

— Молчай, стервец! — пригнулся Прокопий Веденевич.

— Оставь ее, Тимоха, — подал равнодушный голос Филя. — С бабами всегда всякая холера приключается.

— Мне сейчас лучше, — пролепетала Меланья, облизнув сухие губы. — Маню бы покормить, тятенька.

— Потерпит твоя Маня, не слохнет.

У Фили засело в башке одно слово: война. Что бы это значило — война?

— Тятенька, на войну-то поведем аль нет?

— Дурак! На войну тебе захотелось, нетопырь. Ты знаешь, с чем ее жуют, ту войну? Перво-наперво обстригут тебя, как барана. Бороду сымут овечьими ножницами, опосля сунут в руки винтовку, замкнут на путовицы в сатанинскую шинелю и погонют, как арестанта, на пароход. С парохода пихнут в железный вагон и повезут на позицию, как увозили мужиков к япошкам в Порт-Артуру. Смыслишь то? Пырнет штыком немец в брюхо, вот тебе и будет война!

Меланья всплеснула ладошками:

— Тятенька!..

— Нишкни! — прищкнул отец. — Без твоего визга обдумаем, как быть. Вот домечем зароды, а там покумекаем.

— Дык, дык, ежли такое дело... мне... дык... не к спеху, — пыхтел Филя.

— Ишь, не к спеху! Кому дело к спеху, та война? Лезь в зарод. Я подавать буду. А ты, Тимоха, иди с ней, домечи зародишко в яме. — Приставил ладонь ко лбу. — Вишь, с прислона туча напозазет.

— Экая синюющая тучица! Ну, валяй, Тимоха. Да вдаругорья не наскакивай на отца. Гляди!

## X

Ни старик, ни Филя не видели, как посветлело измученное лицо Меланья, с какой она благодарностью глядела на Тимофея. «За меня заступился парень. Тятеньки не убоаяся. Кабы Филя таким был, вот бы счастье-то. Молилась бы на него, как на иконку».

Как только отошли от зарода, Тимофей спросил:

— Дойдешь до стана?

— Тятенька-то, чать, узрит.

— Иди, не бойся. Кусаться надо. А то они тебя живьем съедят.

— И так, Тима, съели.

— Кусайся.

— Укусишь, пожалуй, змею за хвост.

— Напауой на них и уйди.

— Куда уйти-то, Тима? Дома разве меня примут? И што там! Мой-то тятенька ишшо лютее, в другой вере состоит. Слышал, поди, про дырников? Икон у нас в доме нет, молимся в дырку такую, на восток. Тятенька говорит, что все иконы анчихристом припачканы. А я теперь вошла в веру тополевец. Куда же мне сунуться?.. Кругом двери заперты. И Маня вот ишшо. Не с рук же ее...

— Фу, какая страшная жизнь, — вырвалось у Тимофея. — Задохнуться можно!

— И Филя мой... хоть бы раз заступился. Ни жигтя с ним, ни радости. Я-то разве виновата, што принесла девчонку? За што изгальяться-то? Не вялая молитве пресвятая Богородица.

Тимофей захохотал.

— Ты што, Тима?

— Непроходимые вы люди, вижу. Сама подумай: при чем тут Богородица... Иконы-то — обыкновенные доски!

— Тима, оборони Бог, не совращай! — перепугалась Меланья, замерев на месте. — Пожалей хоть ты, не совращай. Сгину я, как былинка на огне. Не совращай!

Тимофей покачал головой: тяжело. До чего же дремучая темень! Пробьет ли ее когда-нибудь свет человеческого разума?

— Пляну я на всю эту отцовскую крепость и уйду!

— В город?

— К беднякам-поселенцам. Буду работать в кузнице и жить по-людскому среди людей.

— Ой, что ты, Тима! На отца-то!

— Такого космача пулей не прошибешь, не то что словом. Вечером лбы бьют на молитве, а день со зверями заодно. Какой тут Бог! Если вся эта тьма от Бога, гнать его надо ко всем чертям. Так я тебе скажу, Меланья. Не путайся, не совращаю, а глаза тебе открываю. В чем тебе Бог помог, скажи? Под зародом Бог тебя бил ногой в живот? Бог тебя поставил под вилы? Бог тебя лишил слова и воли? Ты же как перенелка с подрезанными крыльями. И это все от Бога, да? Такого Бога рубить надо в куски, как я порубил иконы. Ну, не упади с испугу! Я и сейчас все эти разрисованные доски положил бы на наковальню да пудовым бы молотом трахнул! Во как!

— Свят, свят, свят, — лопотала Меланья, крестясь.

— Я же не икона, что на меня крестишься? Эх ты! В школу бы тебя, да не в поповскую, а в наш бы марксистский кружок, чтоб глаза у тебя открылись.

— Тима, Тима! Пожалей!

— Жалеючи тебя, говорю. Филину не стал бы. Он дурак с салом на боках, его не проймешь. А в твоих глазах ум должен засветиться, понимаешь? Ум! Ну, ладно, иди корми Маню.

— Спаси мя, Богородица! Вдохни в меня благодать свою, мать Божья, — бормотала Меланья, сложив на груди маленькие ладошки. — Сердце штой-то зашло с перепугу. Речень-то твое сатанинское. Изydi, изydi от меня!.. Свят, свят!..

Тимофей махнул рукою и ушел в низину. Меланья глядела ему вслед. Какой он плечистый, высокий и сильный. Такого медведя, как тягеньку, удержал в руках. Может, и вправду оборотень?

Глотая слезы, Меланья подошла к стану.

На руках Анютки криком исходила девочка, искусанная комарами.

— Рвет, рвет, никак унять не могу!

Меланья присела возле телеги, взяла на руки крошечную черноглазую Манию в мокрых пеленках. Та сучила пухлыми ноженками и, морщась, пускала пузыри.

— Сердешная моя, зачем ты только на свет народилась? — заголосила мать. Сунув дочери грудь, качая на руках, смотрела вдаль и ничего не видела. Слезы катились по щекам, и она их слизывала с потрескавшихся губ.

«Один только Тима заступился за меня. Если он оборотень, пошто голу-бит эдак? Оборотни-то мучают».

Нескладные, обрывчатые думы ронились у Меланьи.

«И это тоже называется жизнью? — спрашивал себя Тимофей, остервенело вонзая трезубые вилы в шуршащее, пересохшее луговое сено. — Ни света, ни радости у них. Кому нужна такая жизнь? И вот еще война! За кого воевать? За такую каторгу? За царя-батюшку? За обжорливых жандармов и чиновников?»

Думы зрели, ширились, роняя ядерные зерна в память...

Прибежала Меланья. Посвежевшая, бодрая: она успела искупаться в Малате. Коричневая холщовая кофтенка прилипла к ее телу, отпечатав маленькие груди и резко выступающие на спине лопатки.

Оглянулась — кругом безлюдье. Зарод Тимофей мечет в яме, откуда никак нельзя было вытянуть копыны к большому зароду на взгорье.

— Тима, Тима! Заметывать надо верх-то. Гляди, девять копешек осталось. Я мастерица сводить верх, подсади.

— Не боишься нечистого духа? Анчихриста?

— Што ты, Тима? Я вить... ничегошеньки не знаю. Тягенька предостерег. Грит, оборотень ты, — соврала Меланья, свалив слова Фили на отца.

— Отец? Гм! Он скажет, свыйй.

— А ты... не оборотень, а?

Тимофей воткнул вилы в копну сена, призадумался.

— Оно как смотреть. Если с колокольни тягеньки — оборотень. Потому что он во тьме от века пребывает, а я ушел из тьмы. Просто сбежал. Добрые люди помогли. Так же вот радел иконами, как ты. По восьмому году читать Библию научился. Ох, набил же я оскомину Библией! Слова в ней как пни листовые, не подынешь и не поймешь, что к чему. Ворочал языком на славянском, а в голове, как в разошедшей старой бочке, — пусто. Готовил меня папани в праведники тополевцам. Люди шли к нам в дом изо всех деревень. Посадят меня перед иконами и заставляют бубнить всю ночь напролет. Оно понятно, отцу было выгодно. Сколько тащили разных приношений. И хлебом, и медом, и салом, и тряпьем. Кто чем мог. Заездили бы, если бы не подсказал человек, что делать. Рубанул я тот тополь, а потом иконы пощепал, и был таков. Понимашь? Туту было первое время в городе. Мастеровой взял к себе в семью, кузнец. От него в люди вышел. Вот и все мое оборотничество.

— Тягенька грит, ты вовсе не Тимоха...

— Нечистый дух? — хохотнул Тимофей. — Оно понятно. Того Тимохи, который радел ночами с Библией, нету. И никогда не будет.

— Как же Бог-то?



— Сама думай как. Увидишь — покажи. Никто его пока не видывал. Ты видела когда-нибудь сон наяву?

— Как так?

— Очень просто. Во сне другой летает птицей.

— И правда. Сколько раз я летала.

— Попробуй взлети. Ну вот. Так и Бог. Все равно что беспробудный сон человека.

— Подсади на зарод-то.

— Рано еще. Отдохни.

— И так успела отдохнуть. Много ли бабе надо? Часок.

— И того не дадут «рабы Божьи»?

— Дадут они!..

— То-то же. Вот и думай: где Бог, а где тьма.

В холщовых отцовских шароварах с отвисающей мотней, в яловых поношенных броднишках, в холщовой рубахе, сизой от соли, весь присыпанный трухой сена, Тимофей ворочал вилами, поднимая сразу по полкопны. Березовые вилы выгибались, потрескивали. Тимофей ловко перехватывал черенок, уткнув его в землю, а тогда уже, весь напряжись, поднимал сено в зарод.

— Ох, силен ты, Тима. Я бы, ей-богу, умерла под таким навильником.

— Мужчине — мужское, женщине — женское.

— Кабы все так думали.

— Настанет пора, не думать, а делать так будут.

— Не будет такого никогда.

— Почему не будет?

— Да потому, что муштина завсегда сумеет закабалить бабу. Разве Филя мой другим будет? Ни в жисть. Бревно и есть бревно.

— Филю ждет хорошая мялка. Харю бы ему набок свернуть за такое отношение к тебе.

— Если так, подсади меня на зарод. А то ты развел его на пятнадцать копен, а осталось семь. Как верх сводить будем?

— Ну, лезь...

Меланья подошла лицом к зароду и протянула руки вверх. Тимофей легко приподнял ее и, удерживая на ладони, на шаг отошел от зарода.

— Што ты, Тима! Увидят наши.

— И черт с ними.

— Ужли я совсем не тяжеляя?

— Пуда три будет.

— Хоть бы разочек вот так подержал меня Финн, — тихим суховеем прошелестели слова Меланьи, опалив щеки Тимофея.

— Ну, ну, лезь!..

## XI

Много ли женщине надо, чтобы согреть сердце, если до того она не чувствовала ни ласки, ни внимания, ни любви...

Сердчишко Меланьи будто омылось теплой водой; стало легко и приятно, радостно. И небо такое высокое и прозрачное. Ах, если бы вся жизнь пролетела в такой благости, как один миг с Тимофеем на метке зарода!..

На паужин собралась у стана. Филя с отцом совещались: ехать или нет на сельский сход?

— От нас на той сходке прибытку не будет, — порешил Проконий Веденевич. — А мы вот передохнем, а потом ишшо попотеем, а зимой пузо на печке погреем. От того — прибыток.

Тимофей ушел на речку купаться. Забрел в глубокое улово по шее и, не умея плавать, держась рукою за колодину, окунулся с головою. Слугнул лило-

вый ломоть хариуса, пытаясь схватить домоседа за хвост. Вскарabкался на колодину, посторожил хариуса и, не дождавшись, вышел на травянистый берег.

«Война! Нешуточное дело. Погреешь пузо! — думал он, натягивая городчанские суконные брюки и простиранную синюю косоворотку с перламутровыми пуговками по столбику. Перетянул живот лакированным ремнем с пряжкой. Кося глазом на медного двуглавого орла, поморщился:

«Во имя орла, что ли, цедить кровь из немцев?»

Прокопий Веденеевич отбивал Меланьину литовку: «Как бритва будет. В дождь самое время травушку положить за Коровьим мыском». Глянул на Тимоху через плечо, насушился:

— Аль на войну рвешься, политик?

— Надо сходить, послушать, что там за «манifest» царя.

— Эко! Печатка царя не про тебя, должно.

— Еще неизвестно, какая будет война. Кайзер насел на Францию, только перья летят, как из курицы. На пароходе газету читали.

— Люто?

— Силу германец собрал большую. Если он повернет ее на Россию, всех припечет.

— Филаретовой крепости держись — не припскет. Из корня Боровиковых за царя никто не хаживал с ружьем. Тайга — вот она, милушечка. Сколь там разных скрытников проживает! Или к нам — и вся недолга. Дядя твой там, Елистрах, спасает душу. Молитва — не пуля, лоб не прошибет.

— Сушествительно, — охотно поддакнул Филя.

Когда Тимофей скрылся за увалом, Филя вспомнил:

— Кабы не тот поселенец, тятенька, я б Тимоху двинул в затылок.

Прокопий Веденеевич сверкнул льдистым глазом:

— На што доброе, а в затылок-то ты горазд, Филин. Ты вот столкнись с ним грудь в грудь. Жоманет — и дух из тебя вон. Силаща в нем, как в сохатом.

Обескураженный Филя нацедил из лагуна ковшик перебродившей медовухи и выпил «во здравие собственного тела».

## ЗАВЯЗЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Сизо-черная туча, клубясь и пенясь, дулась, шприлась, захватывая полнеба, до огненно-белого солнца.

Тимофей бежал вниз по склону горы, как молодой лось, откинув назад голову и раздувая ноздри от избытка силы. В рот бил горячий воздух.

Стайми перелетали воробьи.

Гулко ухнул вдалеке гром, будто кто ударил обухом топора в дно опрокинутой бочки.

Вслед за первым ударом грозы прямо над головою отполированным лезвием кривой пашки сверху вниз и наискосок в землю резанула молния, и брюхо нависшей тучи логнуло за Амылом. Космы тучи, будто растрепанные черные волосы, тащились за рекою по верхушкам зубчатой стены ельника. Там лил дождь. А над головою жжет солнце. В затылок, в спину, в лицо и шею. Припекает, как от печки. Ветер бил в правую щеку, раздувал подол рубахи.

В Белой Елани, на стыке поселенческой стороны с кержачьей, возле каменного магазина Елизара Юскова с разрисованной вывеской: «Всякая мануфактура и так и бакалея разна», стоя на крыльце у закрытой двери, обитой жостью, тощий и кадыкастый волостной писарь из казачьего Каратуза, туго и безнадежно оглядывая головастую, пеструю, туго сбитую толпу (лопатой не провернуть), напрягая глотку, заорал на всю улицу:

— Ми-и-ило-о-ости-и-ию Бо-о-о-ожи-и-ей...

И толпа — холстяная, глазастая — ударила в лоб крестом: кержаки — двуперстым, поселенцы — щепотью.

«Милость Божия» для всех была единая...

## II

Карабкаясь на Сохатиную горку, волновались от ветра старые сосны. Пучки лучей процедились сквозь мякоть тучи, как молоко сквозь сито, и вовсе скрылись. Сразу потемнело и дохнуло свежестью. Вершины сосен клонились к горе в одну сторону, а березы по увалу шумели и качались.

Ударил ослепительно белый свет, и в тот же миг какая-то чудовищная сила швырнула Тимофея на обочину дороги. Тимофей не слышал, как рванул гром и как от огромной сосны на пригорке во все стороны полетели сучья, и ствол сосны расщепился от вершины до комля на много кусков. Из нутра разорванного дерева выкинулась черная коса дыма. Тимофея присыпало на дороге хвойными лапами, оглушило и больно ударило в бок и в левое плечо — рука не поднималась. В ушах звенело.

— Вот это гвоздануло! — уставился Тимофей на дымящуюся сосну.

Посыпался град. Белые круглые горошины долбили в голову, точно птичьими клювами. Тимофей спохватился и, оглядываясь, одним махом перелетел через жерди поскотины и только тут вспомнил про кепку, оставленную на дороге. Не стал возвращаться. Больно клевало градом. Справа — кладбище, потемнелые от времени кресты и решетчатые оградки, шумящие высокие березы; слева — дом бабки Ефимии на берегу ключа в роще.

Ветер с градом и дождем шумел и свистел в деревьях.

Через все приступки Тимофей влетел на крыльцо и чуть не сбил с ног кого-то в белом.

— Ой, что вы!..

Тимофей замер, уставившись в черные, округлые глаза.

— Ну и душит! — тряхнул он головой. С волос посыпались на крыльцо тающие белые градины. — Оглох я, что ли? В ушах звенит. Гроза ударила в сосну, аж в щепы разлетелась, и дым пошел. Двинуло меня — с ног слетел. Фу, черт, руки не поднять!

Над рощей крест-накрест сверкнула молния, и блеск ее отразился в черных глазах девушки в белом.

От грохота грозы на перилах крыльца зазвенели железные ведра.

— Спаси и сохрани, — тихо пробормотала девушка, молитвенно сложив ладоши на батисте длинного платья.

Минутку они стояли лицом в лицо, как на безмолвном поединке — судьба с судьбою.

— Какая белая птица! — вырвалось у Тимофея, и он испугался собственных слов.

Птица могла вспорхнуть и улететь с крыльца.

Птица осталась на крыльце, не улетела...

На миг, на один-единственный миг синь неба Тимофеевых глаз слилась с вороненой застывшей чернью.

Она стояла рядом — рукой дотронуться. Стройная, цельная, когда сердце еще не раскрылось, когда вся сила — материнская, сила предков и созревшего тела не обронила ни единого лепестка. И эта сила удивления, робости, смущения и еще чего-то непонятного, загадочного сейчас лилась из ее черных глаз.

И Тимофей вспомнил: он видел эту девушку на пароходе «Святой Николай». Такого же: в белом, с шелковым платком на плечах. С нею была подруга в синем платье.

— Я видел вас на пароходе. Очень хорошо помню. Вы заходили в трюм к «сеledкам».

— К «сеledкам»? — Черные брови вспорхнули на лоб.

— Ну да. Трюмных всегда называют «сеledками». Господа там не ездят. А вы что туда заходили?

— Посмотреть, как ездят люди.

— Люди?!

— А разве четвертым классом не люди ездят?

— На чей взгляд...

Опять сверкнула молния, и девушка вздрогнула.

— Бойтесь?

— А вы разве не бойтесь?

— Чего бояться? Гроза — не урядник, ударить может и не в меня. Вот сейчас в сосну ударила возле дороги, а я жив остался. Правда, плечо больно и руки не поднять, но жив. Урядник — другое дело.

— Почему урядник?

— Да очень просто. Если бы молнию кинул урядник, он бы ее не в сосну направил, а мне в макушку, чтоб расщепить до самого корня. Он бы сейчас сказал: «Пороть, пороть!»

— Кого пороть?

— Меня, конечно. «Политику». И пороть так, чтоб ребра переломать «чрез родительское дозволение». Они это умеют, урядники и стражники. Слышали про Юскова?

— А-да...

— Хорош битюг. Вот бы кого на войну спровадить. Там бы ему морду отпужили. Солдат с ружьем — сам себе генерал. Одну пулю в немца, другую в урядника.

— О!.. — Это «о» прозвучало как стон отчаяния. — Зачем вы так, а? Я бы никому не пожелала смерти. Пусть люди живут.

— Разные бывают люди, барышня. Одни — солому жуют, другие — дармовой кофе пошивают да шоколадом закусывают. На людском добре жируют да еще при случае в морду сунут, как милостыню отвалют. Так что же, повашему, всех на одну доску?

Еще раз польхнула молния, ударила гроза. С перил упало железное ведро. Тимофей поднял и поставил на прежнее место.

У крыльца ветер трепал березу. Вершина березы качалась и шумела.

Он не мог сравнить девушку с белой березой. Девушка была красивее.

По крыльцу снизу вверх тянулись тонкие, усыпанные листьями и зелеными пуговками хмелевые плетни.

Он не мог сравнить ее с хмелем...

Она пьянила без хмеля лучами черных глаз, пыльцою солнечного загара на щеках, шелковым прозрачным платком, покрывающим только на затылке ее смолитые волосы, резко выделяющиеся на батисте нарядного платья. Ему нравились припухлые губы девушки, розоватая бархатистость ее лица, подбородок со вмятинкой посредине.

— Ах, как все запутано на белом свете, — проговорила девушка. — Я еще ничего не понимаю! В гимназии так много разговоров было про всякие несправедливости в жизни! И то плохо, и то нехорошо. А будет ли когда такая жизнь, что все будет хорошо?

— Если произойдет революция...

— Как в девятьсот пятом? — перебила девушка. — Да ведь ничего не вышло с той революцией. Одни говорят, что был просто бунт, подстроенный социалистами, а другие называют революцией. А кому стало легче от той революции или бунта? Никому. Вот наша бабушка Ефимия ждет новую революцию. Она такая! — И чему-то усмехнулась. — Ждет нового Филарета или Путачева. Смешно просто!

— Что тут смешного?

— Разве может повториться вчерашний день? И кто в народе знает про какого-то Филарета Боровикова? Никто не знает, кроме бабушки Ефимии. Ее только послушать, всему можно поверить. Только все это как сказка. Вы разве верите? В Пугачева и в Филарета?

— Как же я мог не слышать про Филарета, если сам из его корня? И в революцию верю, конечно.

Девушка стояла возле двери, окрашенной охрой. Запомнилось: на желтом — белое, слепящее.

— Вы — Тимофей Боровиков?

— Он самый.

— Бабушка вас очень ждала.

— Вы ее внучка?

— Внучатая племянница. Или правнучатая даже.

Тимофей от неожиданности чуть не свистнул.

— Может, вы дочь урядника Юскова? — И сразу почувствовал боль в плече и в боку.

— Что вы! У дяди Игната нет детей.

— Чья же вы Юскова?

— Елизара Елизаровича. Дарья. Что так поглядел?

Боль в плече усилилась. Тимофей попробовал поднять руку выше головы и не смог.

— Здорово меня ударило. До сих пор в ушах звенит.

— Еще сказали, что не бойтесь грозы.

— Я сказал: гроза — не урядник. Если бы и убило — просто случайно. Другое дело — урядник. Он бы не промахнулся.

Дождь перестал, тучу пронесло; откуда-то из-за берез сочились закатные лучи солнца.

— Где же бабушка? — промолвила Дарьюшка. — Наверное, к поселенцам ушла со своими травами. Она всегда так: то лечит, то утешает. Если бы все были такими, как бабушка Ефимия, хорошо бы жилось на свете, правда? А вот и она!..

Бабушку Ефимию с ее приживалкой Варварой поселенцы привезли на телеге. Завидев Тимофея с Дарьюшкой, бабушка Ефимия что-то сказала Варваре, и та быстро поднялась на крыльцо, отомкнула замок.

Начались хлопоты с чаем, общие и личные воспоминания, разговор о манифесте царя, о войне.

Ефимия глядела на молодых, думала: «Неисповедимы пути сердца человека к человеку!» Куда можно было скрыть смущение Дарьюшки, когда она вдруг переглядывалась с Тимофеем? «Мои, мои глаза у лебедушки, — радовалась Ефимия. — Дай Бог, чтоб святостью любви засветились Божьи свечечки в глазах Дарьюшки. Полюбить бы ей Тиму? Чем не пара? И сам собою красив, и умом Господь не обидел. Беден? Оно и хорошо, ладно. Чист и светел, как рождество Христово. Надо бы Дарьюшку приобщить к «Песне Песней». Псалмы Давидовы пусть не читает, а вот «Песнь Песней» — на зубок заучит. Вот уж поставлю я шиш под нос Елизарке-пиндюку. Выхвачу у него из-под носа любимицу — пусть попляшет». Все остальное время вечера она думала об этом.

С тем и заснула старуха.

### III

Удивляла Дарьюшка, недавняя гимназистка, переменчивая, дотошная, ищущая заветный красный огонек — таинственный и загадочный, как сокровенная мечта о счастье.

Ей все хотелось знать. И в какой партии состоял Тимофей в городе, и о

чем разговаривали на подпольных сходках, и кто такой Маркс, и что за «Коммунистический манифест», за который Тимофея посадили в тюрьму, и самое главное — не отступит ли сам Тимофей от революции.

— Угадайте, где мы вчера были с бабушкой? Под вашим тополем! — варуг сообщила Дарьюшка. — Сидели там и говорили про раскольников. Я слушала бабушку и все думала, думала. Жутко под тополем. Очень! Такие мысли лезут в голову. А вы не отречетесь, а?

— Нет. От чего мне отречься? Богатства у меня нет. Одни голые руки. Но по двенадцать часов мантулить за гроши не согласен. И с жандармами мириться тоже не хочу.

— А если к вам свалится миллион?

— С неба, что ли?

— Пусть с неба.

— Ко мне не свалится. Надо мною небо дырявое.

Потом Тимофей рассказал про стычку с отцом на покосе, и Дарьюшка окрестила его Микулой Селяниновичем. Над Филей хохотала от души и хлопала в ладоши. «Ваш Филя переживет всех нас, вот вам крест!» — И перекрестилась.

Им было хорошо и весело. Коротенькая ночь — первая ночь мировой войны, сблизила их.

— Светает, — тихо воркнула Дарьюшка и, глянув на Тимофея, вспыхнула до черных волос.

Когда Тимофей ушел, Дарьюшка накинула на плечи оренбургский платок и, открыв створку в горнице, села на подоконник. Жаркая, трепетная, молчаливая.

«Он еще угловатый, но хороший, откровенный и без вранья», — будто кто шепнул Дарьюшке.

«Кто?» — спросила себя Дарьюшка.

«Микула Селянинович!»

И, ткнувшись лбом в косяк, заплакала.

Печаль девичья солью омывается.

«Я — белая птица!» — твердила Дарьюшка слова Тимофея, испытывая приятный озноб, словно кто валял в нее ковш хмельной браги. Кровью било в виски, сладко ныло сердце.

Тимофей в этот момент летел к дому не чуя под собою ног. Нечто новое, необозримое, сильное заполнило его сердце.

У юности во все времена свои непреложные неизменные законы.

#### IV

Тесно стало Дарьюшке в отцовском богатом доме в Белой Елани. Отец — Елизар Елизарович Юсков, миллионщик, пайщик Енисейского акционерного общества промышленности и торговли, владел двумя паровыми мельницами, торговал скотом с Урянхаем, имел в Минусинске крупчатую мельницу, был в деле с золотопромышленником Ухоздвиговым. Братья Елизара — Игнат-урядник, Михайла, Андрей и Феоктист — слыли на деревне за богатых хозяев. Кержаки побаивались Елизара не менее Господа Бога: руки — что медвежьей лапы, если подвесит горяченькую — конь не устоит на ногах.

Сам старик Юсков, дед Дарьюшки, хитрющий федосеевец-рябиновец, содержал шорную мастерскую — изготавливал редкие наборные шлеи с малиновым звоном.

Скучно в отчем доме, как будто сами стены в отлинялых обоях тискают Дарьюшку в бревенчатых объятиях. Она почему-то верила, что после гимназии начнется иная жизнь — ее молодая сила и ум понадобятся обществу, и ей суждено будет свершить нечто значительное, когда не стыдно будет за

прожитую жизнь. А тут, дома, как сто лет назад, — тот же затхлый мир старообрядчества, те же иконы, тот же неписанный федосеевский устав, тот же дед Юсков со псалмами. Не было дома папаши — тяжелого, угрюмого, без молитв и любезностей с его полюбовницей Алевтиной Карповной и с доверенным человеком — казачьим офицером Григорием Потылицыным, который служил у Юскова «для весу и солидности предприятия» по ограблению инородцев в Урянхайском крае; не было в доме Дуни — сестры-близинки, которую выдали замуж за какого-то Урвана...

И вот встреча с Тимофеем Боровиковым...

Гроза и дождь, кипень юности и молодой олень...

Вспомнилась была бабки Ефимии. Бабка Ефимия все еще верит, что Лопарев не погиб на берегах Ишима; она его ждет денно и ночью из потустороннего мира. Он явится к ней, и она, Ефимия, обретет второе счастье — бессмертие с возлюбленным, которого будто бы зарезал ножом ее родной дядя Третьяк. Смешно думать так. А что, если блажь бабки Ефимии — не блажь, а пророчество о судьбе Дарьюшки? Явился же политссыльный Боровиков? Может, с ним, с Тимофеем, Дарьюшка откроет иной мир и обретет счастье?

Вспомнилась гимназические мечты...

Перечитывала недавнюю тетрадку — свежие записи:

«...Плакать, плакать, рыдать хочется! Этот большой каменный дом гимназии, где я чувствовала себя всегда чужой и непонятой, этот угрюмый Енисей и милый, милый Красноярск на его берегу, все, все прощай!

Я окончила гимназию.

— Я взрослая!..

Помню утро и солнечный свет,  
В этот день мне было семнадцать лет...  
Словно хмель горячил мою кровь,  
Хотелось петь и кричать про любовь...  
Так манила безвестная даль,  
Но порой мне было чего-то жаль...

Семнадцать!..

Я хочу ущипнуть себя, чтоб проснуться и опять увидеть себя девочкой в гимназическом фартуке и в том коричневом платье с белыми манжетами и белым воротничком, в котором я вошла в гимназию. Но где то платье? От чего я так упорно твердила подружкам, что я со дна Енисея достану золотое кольцо? Про какое золотое кольцо мечтала?

Ах, если бы можно было взять время за чуб и сказать ему: «Стой! Я переоденусь во взрослое платье».

Но время бежит и бежит, как река быстротечная, и с этой рекой несусь вперед я, и мне придется сменить платье на ходу, не останавливая ни одной секунды».

«...Подружки проводили меня на пристань, а тут и папаша подошел; заняли каюту первого класса.

— До свидания! До свидания! — кричали подружки с берега.

К пароходу вели арестантов, закованных в цепи. Некоторые арестанты, наверное, ссыльные, шли без цепей. Я слышала, как звенели кандалы по камням — такая вдруг стала тишина. Народ расступился перед конвоем; какая-то баба громко плакала:

— Несчастенькие!.. Дайте подать им, Христа ради!..

— Ат-т-странись, говорю! Ат-т-странись! — кричал на бабу солдат.

Арестантов пересчитывали возле трапа. Офицер шел вдоль строя и, тыкая рукой в перчатке каждого крайнего их пары, принимал их, чтоб доставить